

Оноре де Бальзак

Урсула Мируэ

Мадемуазель Софи Сюрвиль[1]

С истинным наслаждением, милая племянница, посвящаю я тебе эту книгу, сюжет и отделка которой удостоились твоей похвалы — а похвала юной девушки, не знакомой с жизнью света и верной всем тем благородным правилам, что внушены религией, дорогого стоит. С вами, девушками, шутки плохи, ибо вам потребны книги чистые, как ваша душа, а прочие книги вам читать не подобает, как не подобает вам и видеть Общество без прикрас. Тем больше оснований для гордости у автора, сумевшего вам понравиться. Дай Бог, чтобы привязанность ко мне не обманула тебя! Кто же вынесет моему детищу окончательный приговор? Будущее, которое ты, надеюсь, увидишь и до которого, возможно, не доживет твой дядя. Бальзак.

Часть первая

НАСЛЕДНИКИ В ТРЕВОГЕ

Всякий, кто въезжает в Немур[2] со стороны Парижа, пересекает Луэнский канал, берега которого служат этому прелестному городку естественной оградой, а горожанам — живописным местом для прогулок. К несчастью, после 1830 года дома начали расти уже и за мостом. Если так будет продолжаться и дальше, город в конце концов утратит свое неповторимое очарование. Однако в 1829 году обочины дороги еще не были застроены, и почтмейстеру, высокому толстяку лет шестидесяти, обосновавшемуся однажды утром на самой середине моста, открывался превосходный вид на то, что на языке его ремесла именуется «лентой». Сентябрь сверкал всеми своими красками, над полями и дорогой плыл горячий воздух, на небе, ярко-синем даже у самого горизонта, не было ни единого облачка — верный признак крайней разреженности воздуха. Солнце сильно слепило глаза, и Миноре-Левро — так звали почтмейстера — приходилось прикладывать руку козырьком ко лбу. Он нетерпеливо переводил взгляд с поросших отавой прелестных лугов, расстилавшихся справа от дороги, на лесистые холмы, тянувшиеся слева до самого Бурона. Он вслушивался в топот копыт своих собственных лошадей и в щелканье кнутов своих собственных кучеров — эхо, отражаясь от холмов, доносило ему обо всем, что происходило в долине Луэна. Кого, кроме почтмейстера, не умиротворило бы созерцание долины, где пасутся стада, словно сошедшие с полотен Пауля Поттера[3], неба, словно написанного Рафаэлем, и окаймленного деревьями канала, достойного кисти Хоббеми[4]? Тот, кто бывал в Немуре, знает, что природа там не менее прекрасна, чем искусство, призванное одухотворять ее: немурский пейзаж исполнен глубокого содержания и пробуждает мысль. Однако при виде Миноре-Левро художник забыл бы о пейзаже и бросился рисовать портрет этого буржуа: настолько своеобразен он был в своей заурядности. Представьте себе животное до мозга костей, и вы получите Калибана[5], а это не шутка. Там, где верх берет Форма,

Чувство исчезает. Почтмейстер, живое подтверждение этой аксиомы, принадлежал к числу тех существ, в которых буйство плоти мешает даже самому вдумчивому наблюдателю разглядеть хоть малейшее движение души. Синяя суконная фуражка с маленьким козырьком плотно облегал голову, выдающиеся размеры которой доказывали, что на свете есть еще много исключений, ускользнувших от мудрого взгляда Галля[6]. Седые, лоснящиеся волосы, выбивавшиеся из-под фуражки, свидетельствовали, что люди седеют отнюдь не только от горя или умственных усилий. Широкие оттопыренные уши были, словно шрамами, изрезаны венами, до того набухшими, что казалось, из них вот-вот брызнет кровь. Лицо у почтмейстера, много времени проводившего на солнце, было сизо-коричневое. Глубоко посаженные серые глаза, хитро смотревшие из-под черных кустистых бровей, напоминали глаза калмыков, явившихся во Францию в 1815 году; если они порой загорались, то лишь от одной-единственной мысли — мысли о деньгах. Кончик приплюснутого носа был, как ни странно, мясистым. Толстые губы под стать отвратительному двойному подбородку, оплывшие, давно не бритые щеки, короткая жирная шея, повязанная дрянным шейным платком, истертым чуть не до дыр, довершали сходство с теми исполненными тупой мощи атлантами, каких нередко создают скульпторы. Миноре-Левро походил на эти статуи с той лишь разницей, что они поддерживают здания, а его главной заботой было поддержание собственного благополучия. Таких атлантов без земного шара на свете немало. Торс этого человека был словно каменная глыба; казалось, на вас идет вздыбившийся бык. Могучие руки, большие и сильные, грубые и крепкие, отлично умели управляться с кнутом, вожжами и вилами; их побаивались все кучера. Гигантское брюхо великана покоилось на двух слоновьих ногах, каждая из которых не уступала толщиной талии взрослого мужчины. Такие люди редко выходят из себя, но гнев их страшен и грозит им апоплексическим ударом. Впрочем, этот свирепый и туполобый колосс не совершил ни одного из тех тяжких преступлений, которые, казалось, предвещало выражение его лица. Тому, кто вздрагивал от ужаса при его появлении, кучера говорили: «Да нет, он человек не злой».

Немурский «почтовый начальник», как звали его в родных краях, был одет в темно-зеленую бархатную охотничью куртку, тиковые полосатые панталоны и просторный желтый жилет из козьей шерсти, карман которого оттопыривала чудовищных размеров черная табакерка. У всех курносых огромные табакерки — это правило почти не знает исключений.

Сын Революции и свидетель Империи, Миноре-Левро отроду не вмешивался в политику; что же до его религиозных убеждений, то порог церкви он переступил один-единственный раз — когда женился; в частной жизни он руководствовался Гражданским кодексом: все, что закон не запрещал или не упоминал, почтмейстер считал допустимым. Читал он только местную газету да инструкции почтового ведомства. Он слыл неплохим земледельцем; впрочем, талант его ограничивался сферой сугубо практической. Таким образом, духовный мир Миноре-Левро ничуть не противоречил его физическому облику. По большей части почтмейстер молчал, а если и решался высказаться, то прежде непременно запускал в нос понюшку табаку — не для того, чтобы собраться с мыслями, а для того, чтобы подыскать слова. Будь он болтлив, он выглядел бы неудачником. Вспомните, что этот слон без хобота и разума носил имя Миноре-Левро, и вы согласитесь со Стерном[7], полагавшим, что в каждом имени скрыто предсказание характера человека либо насмешка над ним[8]. Несмотря на свою очевидную бездарность, благодаря Революции почтмейстер за тридцать шесть лет стал владельцем лугов, пахотных земель и лесов, приносящих ему ежегодно тридцать тысяч ливров дохода. Если Миноре, вложивший часть капитала в почтовые дворы Немура и Гатине [9], все еще не бросал службу, то не столько по привычке, сколько ради единственного сына, которому он хотел обеспечить блестящую будущность. Сын этот, выбившийся, как говорят крестьяне, «в господа», только что закончил факультет права; по возвращении домой ему предстояло принести присягу и пройти стаж, необходимый для вступления в судебное ведомство. Господин и госпожа Миноре-Левро — ибо всякому ясно, что если бы за спиной колосса не стояла женщина, ему бы никогда не удалось сколотить такое большое состояние, — предоставили сыну полную свободу: он мог сделаться нотариусом в Париже, королевским

прокурором или главным податным инспектором в любом департаменте, биржевым маклером или почтмейстером. Разве сыну человека, о котором от Монтаржи до Эссона все твердят: «У папаши Миноре денег куры не клюют!» — пристало хоть в чем-нибудь знать отказ, разве не вправе он рассчитывать на самую блистательную карьеру? Толки о богатстве Миноре разгорелись с новой силой четыре года назад, когда, продав свой постоянный двор, почтмейстер перенес почтовую станцию с Главной улицы к реке и выстроил на новом месте роскошный дом и конюшни. Строительство обошлось ему в двести тысяч франков, а если верить пересудам ближних и дальних соседей, — в два раза дороже. Немурской почтовой конторе требуется много лошадей, она обслуживает парижскую дорогу до Фонтенбло, а также дороги в Монтаржи и Монтро; перегоны повсюду большие, а песчаная дорога на Монтаржи позволяет брать деньги за мифическую третью лошадь[10], которую все оплачивают, но никто никогда не видал. Человек, сложенный так, как Миноре, владеющий таким состоянием и занимающий такую должность, вполне заслуживал прозвание «немурского начальника». Хотя он не верил ни в бога, ни в черта и был материалистом-практиком, равно как и практиком-земледельцем, практиком-эгоистом и практиком-скрягой, Миноре до сих пор наслаждался безоблачным счастьем, если, конечно, можно считать счастливым существование сугубо материальное. Взглянув на толстую складку кожи над верхним позвонком и мозжечком[11] этого человека, а особенно услышав его тонкий пронзительный голос, так не вяжущийся с его дородной фигурой, физиолог сразу понял бы, отчего этот высокий, тучный и грузный земледелец обожает своего единственного сына и отчего он так долго ждал рождения этого ребенка, не случайно получившего имя Дезире, что означает «долгожданный». Если правда, что любовь — свойство натур богато одаренных и готовых к большим свершениям, то люди, наделенные философским складом ума, поймут причины бессилия Миноре. К счастью, мальчик рос похожим на мать, которая, впрочем, баловала его ничуть не меньше отца. Никакой ребенок не смог бы устоять перед таким поклонением. Хорошо сознавая степень своего могущества, Дезире умел кланчить деньги у матери и запускать руку в отцовский кошелек, оставляя каждого из родителей в уверенности, что тот — единственная его опора. Попав в Париж, юный Миноре, занимавший в Немуре положение куда более высокое, чем наследный принц в столице отцовского королевства, продолжал удовлетворять все свои прихоти так же, как в родном городке, и тратил в год больше двенадцати тысяч франков. Однако за эти деньги он приобрел понятия, о которых и не подозревал в Немуре; он оставил свои провинциальные замашки, осознал всемогущество денег и понял, что судейское звание сулит большие возможности. За последний год, сведя дружбу с художниками, журналистами и их любовницами, он прокутил на десять тысяч франков больше обычного. Доверительное письмо сына, где тот просил позволения жениться, лишило почтмейстера покоя, но не одно это обстоятельство привело его на мост; на дорогу его послала мамаша Миноре-Левро; занятая приготовлением роскошного завтрака в честь приезда свежеепеченного правоведа, она велела мужу поджидать дилижанс на мосту, а если он так и не покажется, седлать коня и скакать навстречу. Единородный сын почтмейстера должен был прибыть в пять утра, меж тем пробило девять, а дилижанса все не было. Что могло вызвать такое опоздание? Неужели карета опрокинулась? Жив ли Дезире? А вдруг он сломал ногу?

Три кнута рассекают воздух, словно ружейные залпы, красные жилеты кучеров горят на солнце, слышно ржание десятка лошадей! Почтмейстер снимает фуражку и размахивает ею, чтобы привлечь внимание кучеров. Форейтор, возвращающийся с самой лучшей парой упряжных лошадей — серых в яблоках, — пришпоривает своего коня, обгоняет пять крупных лошадей из тех, которых запрягают в дилижансы, — вылитых Миноре в конском обличье — и тройку лошадей из тех, которых запрягают в берлины, и спешит предстать перед хозяином.

— Ты не видел Дюклершу[12]?

На больших дорогах почтовым каретам присваивают самые невероятные имена, тут и Кайярша[13], и Дюклерша (курсирующая между Немуром и Парижем), и Главная контора[14].

Всякое новое заведение именуется Конкуренцией. Во времена Леконтов почтовые кареты звались Графинями[15]. «Кайярша Графиню так и не догнала, зато Главная контора славно наступила ей на... хвост!» «Кайярша и Главная контора оставили с носом Французенок (компанию «Французские почтовые дворы»)». Если вы видите, что лошади мчатся во весь опор, а кучер отказывается пропустить стаканчик, спросите у кондуктора, в чем дело, и он ответит, держа нос по ветру и вглядываясь в даль: «Впереди Конкуренция!» — «А мы ее даже не видим! — добавляет кучер. — Негодяй! и поест пассажирам не дал!» — «Да откуда у него пассажиры?! — восклицает кондуктор. — Подстегни-ка Полиньяка!» Все скверные лошади именуются Полиньяками[16]. Так перебрасываются словами кучера и кондуктора на империалах дилижансов. Сколько во Франции ремесел, столько и жаргонов.

— Ты не видел Дюклершу? — спросил Миноре.

— Вы про господина Дезире? — перебил хозяина кучер. — Да вы небось нас слышали, наши кнуты вон как свищут, мы так и думали, что вы нас на дороге поджидаете.

— Почему дилижанс опаздывает на целых четыре часа?

— Между Эссоном и Понтьерри с заднего колеса соскочил обод. Но все, слава Богу, обошлось: на подъеме Кабироль заметил поломку.

В эту минуту почтмейстера окликнула женщина лет тридцати шести, одетая очень нарядно, — дело происходило в воскресенье, и колокола немурской церкви созывали всех жителей города к обедне.

— Ну вот, кузен, — сказала она. — Вы мне не верили, а дядюшка с Урсолой идут по Главной улице в церковь.

Хотя, согласно указаниям новейших трактатов, авторам следует почаще прибегать к местному колориту, мы не осмелимся воспроизвести тот ужасный поток брани, который эта новость, на первый взгляд столь заурядная, исторгла из пасти Миноре-Левро. Его тонкий фальцет перешел в свист, а сам он стал, по меткому народному словцу, «красный как рак».

— Это точно? — спросил он, немного придя в себя.

Лошади шли мимо почтмейстера, кучера здоровались с хозяином, но он, казалось, ничего не видел и не слышал. Словно забыв о приезде сына, он вместе с кузиной направился по Главной улице к церкви.

— А я давно это предсказывала, — продолжала спутница почтмейстера. — Я всегда говорила: когда доктор Миноре выживет из ума, эта девчонка, которая только и знает, что корчить из себя святую, заставит его молиться и приберет к рукам наше наследство — ведь кому любовь, тому и кошелек.

— Но, госпожа Массен... — тупо воззрился на нее Миноре-Левро.

— Ну конечно! — перебила его госпожа Массен, — вы как мой муж, он тоже все время твердит: неужели пятнадцатилетняя девчонка может задумать и выполнить такое дело? неужели она может заставить отречься от своих убеждений восьмидесятилетнему старику, который и в церкви-то был один-единственный раз — когда женился, который так ненавидит священников, что остался дома даже в день первого причастия этой самой девчонки?! Но если доктор Миноре ненавидит священников, почему, скажите на милость, он уже пятнадцать лет проводит все вечера в обществе аббата Шапрона? Всякий раз, как подходит очередь Урсолы покупать хлеб для освящения, старый лицемер выдает ей на это двадцать франков. А разве вы не помните, как Урсула, чтобы отблагодарить кюре, готовившего ее к первому причастию, потратила все свои деньги на подарок церкви и тут же

получила от крестного в два раза больше? Вы, мужчины, такие растяпы! А я, когда обо всем этом узнала, сразу сказала себе: «После драки кулаками не машут!» Раз богатый дядюшка поступает так с оборванкой, которую подобрал на улице, это неспроста.

— Но, кузина, — возразил почтмейстер, — может быть, старик просто провожает Урсулу. Погода хорошая, вот дядюшке и захотелось прогуляться.

— Кузен! у дядюшки в руках молитвенник, а лицо до того постное! Да что там говорить, сами увидите.

— Ловко же они притворялись, — отвечал толстяк Миноре. — Тетушка Буживаль уверяла меня, что доктор с аббатом ни слова не говорят о религии. К тому же немурский юре — честнейший человек в мире, он готов отдать бедняку последнюю рубашку и неспособен на подлость, а ведь лишит законных наследников того, что им причитается, это...

— Это все равно что украсть, — подсказала госпожа Массен.

— Хуже! — взревел Миноре, которого слова болтливой кузины вывели из себя.

— Я знаю, — продолжала госпожа Массен, — что аббат Шапрон, даром что священник, человек честный, однако ради бедняков он способен на все. Он потихоньку точил, точил дядюшку — вот дядюшка и стал святошей. Пока мы сидели сложа руки, он взял да и развратил доктора. Человека, который никогда ни во что не верил, человека, у которого были убеждения! Да! наша песенка спета. Мой муж совсем голову потерял.

Госпожа Массен чуть не бежала — ей хотелось поскорей догнать дядюшку Миноре и показать его почтмейстеру. К большому удивлению горожан, шедших в церковь, толстяк Миноре-Левро, несмотря на свой громадный живот, не отставал от кузины, чьи слова ранили его, словно стрелы.

Со стороны Гатине на окраине Немура высится холм, вдоль которого течет Луэн и проходит дорога на Монтаржи. У подножия его стоит старинная каменная церковь, принявшая свой нынешний вид в XIV веке, когда Немур принадлежал герцогам де Гизам[17]; время укрыло ее роскошным темным плащом. Для зданий, как и для людей, положение решает все. Этот храм, одиноко стоящий на чистенькой площади под сенью густых деревьев, производит грандиозное впечатление. Выйдя на площадь, «немурский начальник» успел увидеть, как его дядюшка вместе с девушкой по имени Урсула входит в церковь; у обоих в руках были молитвенники. На паперти старик снял шляпу, и волосы его, совсем белые, словно снежная шапка на вершине горы, блеснули в легком сумраке церковного входа.

— Ну, Миноре, что вы скажете об обращении вашего дядюшки? — воскликнул Кремьер, немурский сборщик налогов.

— Что ж тут скажешь? — отвечал почтмейстер, предлагая Кремьеру понюшку табаку.

— Отличный ответ, папаша Левро! Если прославленный литератор[18] прав и человек должен подумать о том, что сказать, прежде чем сказать, что думает, то вам и вправду нечего сказать, — съязвил подошедший к Миноре и Кремьеру молодой человек.

Этот шалопай по фамилии Гупиль, служивший старшим клерком у г-на Диониса Кремьера, немурского нотариуса, играл в Немуре роль Мефистофеля. Проматывая в Париже наследство, которое досталось ему по смерти отца, зажиточного фермера, мечтавшего, чтобы сын пошел по юридической части, Гупиль вел жизнь весьма беспутную, тем не менее, когда он впал в полную нищету и вернулся в родной город, нотариус Дионис взял его в свою контору. Увидев Гупиля, вы сразу поняли бы, почему он так спешил насладиться жизнью, — всякое удовольствие стоило ему денег, и немалых. Несмотря на малый рост, старший клерк в

двадцать семь лет имел могучую грудную клетку сорокалетнего мужчины. Тонкие и короткие ноги, плоская физиономия, мрачная, как небо в грозу, и лоб с большой залысиной лишь подчеркивали странность его фигуры. У Гупиля было лицо горбуна, чей горб не снаружи, а внутри[19]. Одна особенность злой и бледной физиономии клерка подтверждала существование этого невидимого горба: нос Гупиля, кривой и крючковатый, как у многих горбунов, делил его лицо наискось — справа налево. В уголках поджатых, как у жителей Сардинии[20], губ, пряталась ироническая усмешка. Сквозь редкие пряди прямых рыжеватых волос просвечивал череп. У Гупиля были длинные неуклюжие руки и толстые скрюченные пальцы с вечной грязью под ногтями. Все его одеяние — башмаки, которым самое место на свалке, выцветшие черные чулки из шелкового сдора, черные панталоны и сюртук, изношенные чуть не до дыр и страшно засаленные, жалкие жилеты, у которых от многих пуговиц осталась лишь суконная обтяжка, старый шейный платок вместо галстука — свидетельствовало о неприкрытой нищете, на которую обрекали его страсти. Зловещее впечатление, производимое клерком, довершали его козьи глаза с желтыми ободками вокруг зрачков, похотливые и трусливые разом. Жители Немура никого так не уважали и не боялись, как Гупиля. Высокомерие, развившееся в нем от сознания собственного уродства, язвительность, питаемая ощущением вседозволенности, были тем оружием, с помощью которого он мстил окружающим, вызывавшим его неизменную зависть. Он сочинял сатирические куплеты для карнавала, устраивал кошачьи концерты под окнами и служил городку живой газетой. Дионис, человек хитрый и лживый, а потому достаточно осторожный, держал Гупиля у себя на службе не только за острый ум и отменную осведомленность о делах местных жителей, но и из страха. При этом патрон так мало доверял своему помощнику, что, стараясь видеться с ним пореже, сам вел счета, не поселил клерка у себя в доме и не посвящал его ни в одно секретное или деликатное дело. Гупиль таил в душе обиду и, осыпая патрона льстивыми похвалами, внимательно следил за госпожой Дионис в надежде отомстить. Он схватывал все на лету и легко справлялся с работой.

— А тебе только бы посмеяться над нашим несчастьем, — отвечал потиравшему руки Гупилю почтмейстер.

Поскольку Гупиль потакал всем низменным страстям Дезире, тот уже пять лет как взял его себе в товарищи, и почтмейстер держался с клерком весьма бесцеремонно, не подозревая, что каждая новая обида лишь увеличивает и без того огромные запасы ненависти, таящиеся в сердце урода. Поняв, что нуждается в деньгах больше, чем кто бы то ни было, клерк, сознававший свое превосходство над всеми немурскими буржуа, мечтал разбогатеть, купив с помощью Дезире либо должность секретаря в мировом суде, либо контору одного из судебных исполнителей, либо заведение самого Диониса. Поэтому он терпеливо сносил грубости почтмейстера и презрение госпожи Миноре-Левро и пресмыкался перед Дезире, вот уже два года утешая брошенных им любовниц — этих Ариадн[21], павших жертвами окончания каникул. Таким образом, Гупиль подбирал крошки с пиршественного стола, который сам же и накрывал.

— Будь я наследником старикашки, я не стал бы делиться даже с самим Господом Богом, — гнусно захохотал клерк, обнажив редкие зубы, черные и страшные.

В эту минуту на площади показался секретарь мирового суда, Массен-Левро-младший, в сопровождении госпожи Кремьер, супруги немурского сборщика налогов. Массен, один из самых суровых людей в городке, лицом походил на татарина. У него были маленькие и кругленькие, как ягоды боярышника, глазки, низкий лоб, курчавые волосы, жирная кожа, большие плоские уши, тонкие, еле заметные губы и редкая бороденка. В манерах Массена сквозила безжалостная вежливость ростовщика, никогда не отступающего от своих принципов. Говорил он чуть слышно, как человек, потерявший голос. Наконец, чтобы довершить его портрет, скажем, что он заставлял жену и старшую дочь снимать копии с приговоров.

Госпожа Кремьер, полная женщина с веснушчатым лицом, мнила себя блондинкой и носила чересчур узкие платья; она дружила с госпожой Дионис и слыла образованной, поскольку читала романы. Эта супруга захудалого финансиста, воображавшая себя образцом элегантности и остроумия, ждала дядюшкиного наследства, чтобы начать «жить, как люди», украсить свою гостиную и принимать там местную буржуазию, а покамест муж не давал ей денег ни на лампы Карсея[22], ни на литографии и безделушки, которых было полно у жены нотариуса. Она бесконечно боялась Гупиля, который не пропускал ни одной ее «капсулинги» (так госпожа Кремьер произносила латинское выражение *lapsus linguae*[23]) и тут же разносил их по городу. Однажды госпожа Дионис сказала ей, что не знает, какой водой лучше полоскать рот.

— Возьмите водки, — отвечала госпожа Кремьер.

Итак, почти все родственники старого доктора Миноре собрались на площади, и до того очевидна была важность взволновавшего их события, что крестьяне и крестьянки в праздничных нарядах и с красными зонтиками в руках, столь живописно выглядящие в праздничные дни на фоне полей, не сводили глаз с наследников Миноре. В городках крупнее поселка, но меньше большого города те, кто не молится, толпятся во время обедни на площади перед церковью и ведут деловые разговоры. Немурская площадь становится по воскресеньям своеобразной биржей, куда стекаются крестьяне со всей округи. Именно здесь они уславливаются о ценах на урожай и рабочую силу, вступая в своего рода сговор против буржуа.

— И что бы ты сделал? — спросил немурский начальник у Гупиля.

— Я стал бы ему необходим как воздух. Вы с самого начала не сумели подобрать к нему ключи. Наследство нужно лелеять, как красавицу жену, а без этого недолго лишиться и того, и другой. Будь здесь жена моего патрона, она бы вам подтвердила справедливость моего сравнения, — добавил он.

— Но господин Бонгран совсем недавно уверял меня, что нам не о чем беспокоиться, — сказал секретарь мирового суда.

— О! эта фраза может означать самые разные вещи, — залился смехом Гупиль. — Хотел бы я слышать, каким тоном произнес ее пройдоха судья! Если бы я, как он, дневал и ночевал у вашего дядюшки и знал, что все потеряно, я бы тоже сказал: «Беспокоиться не о чем».

Последнюю фразу Гупиль произнес столь шутовским тоном и со столь многозначительной ухмылкой, что у наследников не осталось ни малейшего сомнения: мировой судья обвел своего секретаря вокруг пальца. Сборщик налогов, маленький толстяк, человек такой невзрачный, каким и должен быть сборщик налогов, и такой ничтожный, о каком только и может мечтать умная женщина, добил своего товарища по несчастью Массена, прошипев ему в ухо: «А что я вам говорил!»

Массен, как всякий двуличный человек, приписывавший другим собственную лживость, злобно покосился на мирового судью, который в эту минуту беседовал у дверей церкви со своим старинным клиентом маркизом дю Рувром.

— Если бы я знал... — сказал он.

— То вы бы помешали ему покрывать маркиза дю Рувра, которому грозит арест и которого он как раз сейчас потчует своими советами, — произнес Гупиль, подсказывая секретарю план мести. — Только смотрите, не вздумайте ссориться со своим патроном — он человек хитрый, наверняка имеет влияние на вашего дядюшку и еще может уговорить того не оставлять все состояние церкви.

— Ладно! — сказал Миноре-Левро, открывая свою огромную табакерку. — Мы от этого не померем.

— Но и не заживете припеваючи, — отвечал Гупиль, приводя в отчаяние обеих дам, гораздо более живо, чем их мужа, представлявших себе все сокровища, которых они лишатся, если не получат наследства, в мечтах уже многократно растраченного. — Но мы утопим эту мелкую неприятность в море шампанского, когда будем обмывать приезд Дезире, не так ли, папаша? — добавил он, хлопнув великана по брюху и спеша сам пригласить себя к столу на случай, если это забудут сделать хозяева.

Прежде чем пойти дальше, нам, вероятно, следует подумать о дотошных читателях, любящих вникать в каждую мелочь, и познакомить их с генеалогией трех семейств, связанных более или менее тесными узами родства с новообращенным старцем. Эти сложные родственные связи между жителями провинциальных городков наводят на весьма поучительные размышления.

Немур может похвастать всего тремя или четырьмя захудалыми дворянскими родами, среди которых блистает лишь род Портандюэров. Эти немногочисленные дворянские семейства знают с родовитыми владельцами окрестных замков и поместий, среди которых выделяются д'Эглемоны[24], владельцы прекрасного имения Сен-Ланж, и маркиз дю Рувр[25], чьи заложенные-перезаложенные земли мечтают прибрать к рукам многие буржуа. Дворяне в Немуре бедные. У госпожи де Портандюэр всего и есть, что ферма, приносящая четыре тысячи семьсот франков в год, да собственный дом в городе. Этому крошечному Сен-Жерменскому предместью[26] противостоит десяток богачей — бывших мельников, удалившихся от дел коммерсантов, одним словом, буржуазия в миниатюре, командующая мелкими торговцами, пролетариями и крестьянами. Буржуазия эта являет собой любопытное зрелище, которое можно наблюдать также в Швейцарии и некоторых других небольших государствах: несколько местных родов, возможно галльского происхождения, властвуют над краем[27], заполняют его, и оказывается, что почти все его обитатели в родстве меж собой. В царствование Людовика XI, когда буржуа обзавелись наконец вместо прозвищ настоящими фамилиями и иные горожане даже породнились с феодалами, третье сословие было представлено в Немуре четырьмя семействами — Миноре, Массены, Левро и Кремьеры. При Людовике XIII из этих четырех родов произошли Массены-Кремьеры, Левро-Массены, Массены-Миноре, Миноре-Миноре, Кремьеры-Левро, Левро-Миноре-Массены, Массены-Левро, Миноре-Массены, Массены-Массены, Кремьеры-Массены, не говоря уже о всевозможных уточнениях вроде «младший» или «сын», о всяческих Кремьерах-Франсуа, Левро-Жаках, Жанах-Миноре, способных свести с ума отца Ансельма[28], займись он генеалогией народа, которому, впрочем, генеалогия не нужна. Картинки этого домашнего калейдоскопа из четырех стеклышек настолько усложнялись рожденьями и свадьбами, что генеалогическое древо немурских буржуа поставило бы в тупик самих бенедиктинцев, с мелочной дотошностью распутывающих в Готском альманахе[29] лабиринты немецких брачных союзов. Долгое время Миноре владели кожевнями, Кремьеры — мельницами, Массены занимались торговлей, а Левро — земледелием. К счастью для края, эти четыре семейства пускали корни не вглубь, а вширь, и отростки их приживались на новых почвах: дети отправлялись искать счастья на стороне, поэтому в Мелене есть Миноре-ножовщики, в Монтаржи живут свои Левро, в Орлеане — Массены, а Кремьеры добились немалого достатка в Париже. Судьбы этих пчел, вылетевших из одного и того же улья, сложились по-разному. На богатых Массенов непременно работают Массены бедные, подобно тому как некоторые германские князья служат Австрии или Пруссии. В одном и том же департаменте живут Миноре-миллионер и Миноре-солдат, который охраняет его. Четыре семейства, связанные где кровным родством, где свойством, словно четыре челнока, сновали без устали, переплетая нити человеческих судеб и производя то штуку тонкого батиста, то кусок грубого рядна, то платья, то полотенца. Одна и та же кровь прилиwała к голове, ногам или сердцу, текла в жилах людей с умелыми руками, больными легкими или высоким челом

гения. Вожди клана хранили верность родному городку, где узы родства то ослабевали, то становились еще теснее по воле событий, запечатленных в этом причудливом именовании. Какую страну ни возьмите, вы увидите там те же кланы, хотя и носящие другие имена, — однако вы не найдете там поэзии феодальных времен, которую с таким талантом увековечил Вальтер Скотт. Посмотрим на дело шире, поговорим о Человечестве и его Истории. За исключением Капетингов[30], все знатные роды XI века, ныне угасшие, бесспорно способствовали появлению на свет сегодняшних Роганов, Монморанси, Боффремонов или Мортемаров, и капля их крови бесспорно будет течь в жилах последнего истинного дворянина. Иными словами, всякий буржуа — родня всем прочим буржуа, всякий аристократ — родня всем прочим аристократам. Как свидетельствует величественная страница библейского родословия, за тысячу лет потомки трех людей — Сима, Хама и Иафета, могут населить весь земной шар. Семья может стать нацией, нация же, к сожалению, может вновь превратиться просто-напросто в одну семью. Чтобы удостовериться в этом, достаточно вспомнить того мудреца, который в награду за изобретение шахматной игры попросил у персидского царя столько пшеницы, сколько уместится на шахматной доске, если положить на первую клетку одно пшеничное зерно, на вторую — два, на третью — четыре и так далее, кладя на каждую последующую клетку вдвое больше, чем на предыдущую, и доказал, что во всем царстве не сыщется столько пшеницы. Используйте этот расчет, занимаясь разысканиями о своих предках, и вы увидите, что с течением времени число их постоянно возрастало в геометрической прогрессии. Паутина дворянских родов в окружении не менее сложной паутины родов буржуазных, противостояние двух человеческих пород, одну из которых охраняют незыблемые установления, а другую — неустанное трудолюбие ремесленников и хитроумие торговцев, — вот причина революции 1789 года. Ныне две породы, объединившись, противостоят своим неимущим родичам[31]. Чем обернется это противостояние? Политическое будущее нашего государства даст ответ.

Семейство того буржуа, который при Людовике XV звался просто Миноре, было столь многочисленно, что один из пятерых детей, тот самый Миноре, чье появление в церкви так потрясло немурцев, отправился искать счастья в Париж и бывал в родном городе лишь от случая к случаю — например, когда получал свою часть наследства после смерти деда и бабки. Много выстрадав, как все юноши, наделенные железной волей и завоевывающие себе место в блестящем парижском свете, молодой Миноре сделал карьеру, о какой поначалу даже и не мечтал; ведь он посвятил себя медицине — области, где успех зависит не только от таланта, но и от удачи. Пользуясь поддержкой Дюпона де Немура[32], сдружившись благодаря счастливой случайности с аббатом Морелле[33], которого Вольтер прозвал «мор на елей», покровительствуемый энциклопедистами, доктор Миноре сделался верным сеидом великого врача Борде[34], друга Дидро. Д'Аламбер, Гельвеции, барон Гольбах, Гримм, перед которыми Миноре был просто мальчишкой, в конце концов вслед за Борде приняли в нем участие, и к 1777 году он имел неплохую практику, пользуясь деистов, энциклопедистов, сенсуалистов, материалистов — называйте как хотите богатых философов того времени. Почти не греша шарлатанством, доктор Миноре изобрел, однако же, знаменитый бальзам Лельевра[35] — чудодейственное средство, реклама которого венчала каждый номер издаваемого энциклопедистами еженедельника «Меркюр де Франс». Аптекарь Лельевр, человек ловкий, увидел возможность нажиться там, где Миноре, ученик Руэля[36] в химии, подобно тому как он был учеником Борде в медицине, видел лишь способ пополнить список узаконенных лекарственных средств; доходы аптекарь честно разделил с доктором. В таких условиях всякий стал бы материалистом. В 1778 году, в пору, когда над умами владычествовала «Новая Элоиза»[37] и находились люди, женившиеся по любви, доктор взял себе в супруги нежно любимую им девушку, дочь знаменитого клавесиниста Валентина Мируз; блестящая музыкантша, хрупкая и ранимая, она не пережила Революции. Миноре был близко знаком с Робеспьером, который его стараниями получил золотую медаль за рассуждение на тему[38]: «Отчего считается, что позорная казнь пятнает всю семью преступника? Вредно это мнение или полезно? И если оно более вредно, чем полезно, каким образом уменьшить нежелательные его последствия?» В архиве Королевской академии наук

и искусств города Меца, членом которой был Миноре, хранится, должно быть, рукопись этого рассуждения. Хотя дружеское расположение Робеспьера служило супруге доктора порукой безопасности, непреодолимый страх перед гильотиной усугубил ее аневризм — следствие чрезмерной чувствительности. Несмотря на все предосторожности доктора, боготворившего жену, Урсула повстречала на улице телегу, в которой везли на казнь множество осужденных, и среди них — госпожу Ролан[39]; зрелище это убило ее. Миноре, ни в чем не отказывавший Урсуле, от которой он был без ума, и удовлетворявший все ее прихоти, оказался после смерти жены почти нищим. Робеспьер назначил его главным врачом одной из парижских больниц.

Хотя в пору оживленных споров о месмеризме[40] имя Миноре приобрело известность и время от времени долетало до слуха его родственников, Революция произвела такие разрушения и порвала столько семейных связей, что в 1813 году в Немуре никто уже не помнил о существовании доктора Миноре, которого одна неожиданная встреча натолкнула на мысль вернуться, подобно зайцу, умирать в родную нору.

Кто, путешествуя по Франции, где глаз так скоро утомляется созерцанием однообразных равнин, не испытал пленительной радости, завидев с вершины холма или за поворотом дороги не бесплодные поля, но цветущую долину и речку, на берегу которой, словно улей в дупле старой ивы, приютился под скалой маленький городок? Слыша, как кучер погоняет лошадей, вы стряхиваете дремоту, но пейзаж, представший вашим глазам, прекрасен, словно греза; для путешественника это великолепное творение природы — то же, что для читателя блистательная страница книги. Именно такое впечатление производит Немур, внезапно открываясь взору того, кто едет из Бургундии. Путник видит город в окружении голых скал, серых, белых, черных, причудливой формы, — каких так много в лесу Фонтенбло; там и сям разбросаны одинокие деревья, четко вырисовывающиеся на фоне неба и сообщающие этой своеобразной полуразрушенной стене сельский вид. Здесь кончается лесистый холм, вдоль которого идет дорога от Немура до Бурона. В глубине этой бесформенной котловины вьется Луэн с его разливами и порогами. Эти прелестные пейзажи, окаймляющие дорогу на Монтаржи, настолько совершенны, что напоминают оперную декорацию. Однажды утром доктор Миноре, спешно возвращаясь от богатого бургундского больного в Париж, забыл сказать кучеру, по какой дороге ехать, и нежданно-негаданно очутился в Немуре; сквозь дрему он увидел места, где прошло его детство. В ту пору доктор потерял несколько старинных друзей. Фанатичный приверженец Энциклопедии был свидетелем обращения Лагарпа[41], он похоронил Лебрена-Пиндара[42] и Мари Жозефа Шенье[43], Морелле[44] и вдову Гельвеция[45]. На его глазах Жоффруа[46], преемник Фрерона, с успехом развенчивал Вольтера. Доктор мечтал удалиться на покой. Поэтому, когда почтовая карета остановилась в начале немурской Главной улицы, он счел своим долгом навести справки о родственниках. Миноре-Левро собственной персоной вышел к доктору, и тот узнал в почтмейстере родного сына своего старшего брата. Выяснилось, что племянник доктора женат на единственной дочери папаши Левро-Кремьера, двенадцать лет назад оставившего ему почтовую станцию и лучший в Немуре постоялый двор.

— И что же, племянник, — спросил доктор, — у меня есть и другие наследники?

— Моя тетка Миноре, ваша сестра, вышла за Массена-Массена.

— Да-да, того, что служил управляющим в Сен-Ланже.

— Она овдовела и умерла, а ее единственная дочь недавно вышла за Кремьера-Кремьера — славный парень, но пока без места.

— Прекрасно! она моя родная племянница. Брат-моряк умер холостым, а капитан Миноре погиб при Монте-Легино[47]. Значит, по отцовской линии больше никого нет. А что по материнской линии? Мать моя была урожденная Жан-Массен-Левро.

— Из рода Жан-Массен-Левро, — отвечал почтмейстер, — я знаю только одну Жан-Массен, ту, что вышла замуж за господина Кремьера-Левро-Диониса, поставщика фуража; его казнили во время Революции, а сама она вконец разорилась и умерла с горя. У них осталась дочь, она замужем за Левро-Миноре, фермером из Монтро; дела у них идут неплохо, а дочь их недавно вышла за Массена-Левро из Монтаржи — он сын тамошнего слесаря и служит клерком у нотариуса.

— Одним словом, наследников у меня хватает, — весело сказал доктор и попросил племянника пройтись вместе с ним по городу.

Берега Луэна, извилистой лентой пересекающего Немур, утопают в зелени, сады уступами спускаются к воде, из-за деревьев выглядывают чистенькие домики — когда глядишь на них, то кажется, что если счастливая жизнь возможна, то именно здесь. Когда доктор свернул с Главной улицы на улицу Буржуа, Миноре-Левро показал ему дом господина Левро-Левро, богатого торговца скобяным товаром, который жил в Париже и недавно в одночасье умер.

— Видите, дядюшка, какой продается отличный дом, и при нем прекрасный сад, с видом на реку.

— Давай зайдем, — предложил доктор, увидев в конце небольшого мощеного дворика дом, зажатый между двумя соседними домами, стены которых были скрыты деревьями и вьющимися растениями.

— Там внизу большой подвал, — сказал доктор, поднявшись на очень высокое крыльцо, украшенное бело-голубыми фаянсовыми вазами с цветущей геранью.

Дом, как почти все дома в провинции, был разделен на две части коридором, оканчивавшимся дверью в сад; справа была гостиная с четырьмя окнами: два выходили во двор, два в сад, однако Левро-Левро превратил одно из этих окон в дверь и пристроил к нему длинную кирпичную галерею — она вела из гостиной в уродливую беседку в китайском стиле, стоящую на берегу реки.

— Ну что ж, — сказал старый Миноре, — если покрыть эту галерею прочной крышей и настелить паркет, я смогу разместить здесь свою библиотеку, а это причудливое архитектурное творение превратить в свой кабинет.

По другую сторону коридора располагалась столовая, выходившая окнами в сад; стены ее были покрашены под лак, с зелеными и золотыми цветами на черном фоне; лестничная клетка отделяла столовую от кухни. За лестницей находилась маленькая буфетная, откуда вы попадали в кухню, окна которой, забранные железными решетками, выходили во двор. На втором этаже было две комнаты, а над ними — обшитые панелью мансарды, также пригодные для жилья. Наскоро осмотрев дом, со всех сторон увитый зеленью, и бросив взгляд на террасу с фаянсовыми вазами, венчавшую сад со стороны реки, доктор сказал:

— Левро-Левро, должно быть, вложил сюда немало денег!

— Еще бы! — отвечал Миноре-Левро, — денег-то у него было — хоть лопатой гребь. Дурень любил цветы! Как говорит моя жена: «Что он с этого имел?» Он, видите ли, выписал художника из Парижа, чтоб тот нарисовал ему в коридоре фрески из цветов. Вставил везде зеркала во весь рост. Приделал на потолке карнизы — шесть франков за фут. В столовой на полу наборный паркет — форменное безумие! Весь дом столько не стоит.

— Ну что ж, племянник, договорись о покупке и напиши мне; вот адрес; остальным займется мой нотариус. А кто живет напротив? — спросил он, выходя на улицу.

— Эмигранты[48]! — отвечал почтмейстер. — Дворянин по фамилии Портандюэр.

Когда купчая была подписана, прославленный доктор, вместо того чтобы поселиться в своем новом доме, велел племяннику сдать его внаем. «Причуду Левро» снял немурский нотариус, который в ту пору продал контору своему старшему клерку Дионису; два года спустя он умер, и дом остался без жильцов в тот самый момент, когда поблизости решалась судьба Наполеона[49]. Родные доктора, решившие было, что наследство у них в кармане, отчаялись увидеть в желании дядюшки вернуться в родной город более, чем минутную прихоть богача, и с горечью размышляли о привязанностях, которые удерживают его в Париже и, того и гляди, лишат их долгожданного богатства. Жена Миноре-Левро воспользовалась случаем написать доктору. Старик ответил, что как только будет заключен мир и дороги очистятся от солдат и станут безопасны, он переселится в Немур. В родные края он прибыл в сопровождении двух своих пациентов: подрядчика — строителя богаделен — и обойщика; они взялись отремонтировать и обставить дом. В услужение доктор по совету госпожи Миноре-Левро взял кухарку покойного нотариуса. Когда наследники уверились в том, что дядюшка Миноре в самом деле поселится в Немуре, их охватило жгучее, но в общем естественное любопытство; новость эта оттеснила на второй план даже политические события, разворачивавшиеся в ту пору в Гатине и Бри[50]. Богат ли дядюшка? Бережлив он или расточителен? Оставит он большое наследство или не оставит ничего? Есть ли у него пожизненная рента? Все это они в конце концов выяснили, но ценою множества хлопот и тайных разысканий. После смерти своей жены, Урсулы Мируэ, доктор, назначенный в 1805 году лейб-медиком Наполеона, заработал, должно быть, много денег, но никто не знал, сколько именно; жил он скромно, тратя деньги только на экипаж и на богато обставленную квартиру; он никогда не принимал гостей и почти всегда обедал в городе. Экономка его, взбешенная тем, что доктор не захотел взять ее с собой в Немур, сказала Зелии Левро, жене почтмейстера, что знает наверное: он получает четырнадцать тысяч франков дохода с государственной ренты. Выходило, что доктор, занимавший в течение двадцати лет прибыльные должности главного врача больницы, лейб-медика Наполеона и члена Института [51], накопил всего сто шестьдесят тысяч франков. Раз доктор откладывал не больше восьми тысяч в год, значит, у него были какие-то недешево обходившиеся пороки или добродетели, но ни домоправительнице, ни Зелии не удалось проникнуть в тайну его трат: Миноре, любимец всего квартала, был одним из самых добрых и щедрых людей в Париже, но, подобно Ларрею[52], держал свои благодеяния в глубокой тайне. Итак, наследники с нескрываемой радостью следили за тем, как прибывают в Немур роскошная мебель и обширная библиотека дядюшки, к тому времени уже ставшего офицером Почетного легиона и получившего от короля орден Святого Михаила[53] — возможно, в утешение за добровольную отставку, освободившую место для какого-нибудь фаворита. Однако, хотя подрядчик и маляры с обойщиками уже привели дом в полный порядок, доктор все не приезжал. Госпожа Миноре-Левро, наблюдавшая за работой подрядчика и обойщика с таким усердием, словно это был ее собственный дом, выяснила у словоохотливого молодого человека, присланного расставить книги, что доктор взял на воспитание сироту по имени Урсула. Новость эта как громом поразила обитателей Немура. Наконец в середине января 1815 года старик прибыл в родные края и тихо зажил в своем новом доме с десятимесячной девочкой, находившейся на попечении кормилицы.

— Урсула не может быть его дочерью, ведь ему семьдесят один год! — вскричали встревоженные наследники.

— Кто бы она ни была, — сказала госпожа Массен, — мы хлебнем с ней горького! (Так говорят в Немуре.)

Доктор довольно холодно принял свою внучатую племянницу с материнской стороны — ее муж только что купил должность секретаря в мировом суде, и она первой осмелилась заговорить с дядюшкой о своем стесненном положении. Массены были небогаты. Отец Массена, монтаржийский слесарь, в шестьдесят семь лет трудился, как в юности, чтобы расплатиться с кредиторами, и было ясно, что он ничего не оставит сыну. Отец госпожи

Массен, Левро-Миноре, живший в Монтро, недавно умер: солдаты сожгли его ферму, вытоптали поля, перерезали весь скот, и старик не вынес этого удара.

— Ничего мы от твоего дяди не дождемся, — сказал Массен жене, ожидавшей уже второго ребенка.

Доктор подарил им десять тысяч франков, велел не распространяться о его щедрости, и секретарь мирового суда, друг немурского нотариуса и судебного исполнителя, начал давать деньги в рост окрестным земледельцам, причем так преуспел в этом деле, что ко времени, о котором идет речь, скопил, по сведениям Гупиля, около восьмидесяти тысяч франков.

Что же до другой племянницы, то доктор благодаря своим парижским связям выхлопотал Кремьеру место сборщика податей и внес залог. Оставался Миноре-Левро; он ни в чем не нуждался, но Зелия, не в силах спокойно смотреть, как доктор одаривает своих племянниц, привела к нему сына, в ту пору десятилетнего мальчика, которого, сказала она, пора отправлять учиться в Париж, а обучение в коллеже стоит так дорого... Доктор Миноре, лечивший Фонтана[54], устроил внучатого племянника полупансионером в коллеж Людовика Великого: юного Миноре-Левро приняли в четвертый класс.

В первые же два месяца, в течение которых Кремьер, Массен и Миноре-Левро, люди в высшей степени заурядные, пытались обхаживать не столько дядюшку, сколько наследство, доктор вынес им приговор, обжалованию не подлежащий. Люди, руководствующиеся инстинктом, а не идеей, имеют тот недостаток, что их легко разгадать: действия, внушенные инстинктом, слишком естественны и слишком бросаются в глаза, чтобы их можно было не заметить, меж тем как понять создания ума может лишь человек, сам наделенный умом. Купив признательность своих наследников и таким образом, можно сказать, заткнув им рот, хитрый доктор, сославшись на дела, привычки и необходимость воспитывать маленькую Урсулу, перестал принимать их, хотя и не отказал им окончательно от дома. Обедал он в одиночестве, ложился и вставал поздно; он приехал в родные края, чтобы обрести здесь покой и уединение. Причуды старика показались вполне естественными, и наследники удовольствовались еженедельными визитами; они навещали доктора по воскресеньям между часом и четырьмя часами пополудни, хотя он и старался отучить их от этого обыкновения, говоря: «Приходите, только когда будете в чем-нибудь нуждаться».

Не отказываясь давать консультации в сложных случаях, особенно неимущим пациентам, доктор не захотел вести прием в маленькой немурской богадельне и объявил, что больше не станет заниматься своим ремеслом.

— Я и без того уморил достаточно людей, — шутил он, когда аббат Шапрон, зная его доброту, звал его к больным беднякам.

«Большой оригинал!» — так отзывались о докторе Миноре оскорбленные родственники; то была невинная месть дядюшке, пренебрегшему их обществом и нашедшему себе иных друзей, в которых наследники видели серьезных соперников. В сердцах обывателей, считавших себя ровней человеку с черной перевязью[55], затаилась зависть, к несчастью, принесшая впоследствии свои плоды.

По странной случайности, которую можно, пожалуй, объяснить поговоркой о том, что крайности сходятся, материалист доктор быстро сдружился с немурским кюре. Старик обожал триктрак — излюбленную игру служителей церкви — и нашел в аббате Шапроне достойного партнера. Итак, первым, что их связало, стала игра. К тому же Миноре охотно занимался благотворительностью, а немурский кюре был местным Фенелоном[56]. Оба были разносторонне образованны, и потому священник оказался единственным человеком в Немуре, способным понять безбожника. Спорящие должны говорить на одном языке. Какая радость отпускать язвительные замечания по адресу человека, не умеющего их понять? Врач

и священник были люди с тонким вкусом, они вращались в хорошем обществе и усвоили себе его правила, поэтому они могли вести ту безобидную войну, что так украшает беседу. Отвергая убеждения собеседника, они уважали его характер. Чего бы стоило общество, особенно во Франции, где люди жить не могут без борьбы мнений, не будь на свете подобного противоборства и подобной приязни? Неприязнь порождается столкновением характеров, а не борьбой идей. Итак, аббат Шапрон стал первым немурцем, с которым доктор свел дружбу. Этот священник, которому в ту пору исполнилось шестьдесят лет, сделался немурским кюре сразу после восстановления католического культа во Франции[57]. Храня верность своей пастве, он отказался стать епархиальным викарием. Даже люди неверующие были ему за это признательны, верующие же полюбили его еще больше. Почитаемый прихожанами, уважаемый всеми местными жителями, кюре помогал страждущим, каковы бы ни были их религиозные убеждения. Он довольствовался лишь самым необходимым, и дом его был холоден и убог, как жилище скупца. Скупость и милосердие с виду похожи, но милосердие копит богатства на небе, а скупость — на земле. Аббат Шапрон бранил служанку за лишние расходы суровее, чем Гобсек, если, конечно, знаменитый ростовщик когда-либо держал служанку. Добрейший пастырь нередко продавал серебряные пряжки со своих башмаков и штанов, если бедняки просили его о помощи в ту пору, когда кошелек его был совсем пуст. Увидев, что аббат выходит из церкви, подпоясанный веревкой, набожные горожанки спешили выкупить пряжки своего пастыря у немурского часовщика и ювелира и с ласковыми упреками возвращали ему их. Он никогда не покупал себе ни белья, ни верхнего платья и носил вещи до тех пор, пока они не превращались в лохмотья. Его латаное-перелатаное белье царапало кожу, словно власяница. Время от времени госпожа де Портандюэр или еще какая-нибудь добрая душа сговаривались с его экономкой и, пока он спал, заменяли старое белье и платье на новые, причем кюре замечал подмену далеко не сразу. Посуда у него была оловянная, приборы — из обыкновенной жести. Давая по праздникам обязательный обед для причта, он брал взаймы столовое серебро и скатерть у своего друга безбожника.

— В моей посуде его спасение, — говаривал в таких случаях доктор.

Свои добрые дела, рано или поздно делавшиеся известными всему городку, кюре творил с величайшим простодушием, и всегда находил для любого страждущего слово одобрения. Образ жизни кюре был тем более достохвален, что он обладал талантами и познаниями столь же обширными, сколь и разнообразными. Чуткость и изящество, неразлучные спутники простоты, придавали еще большее совершенство его красноречию, достойному высшего духовного лица. Манеры, характер и поведение аббата Шапрона сообщали его речам изысканную прелесть — достояние умов острых и бесхитростных одновременно. Он любил шутку и никогда не путал гостиную с церковной кафедрой. До появления в Немуре доктора Миноре аббат, не ропща, скрывал свои таланты, но, пожалуй, был благодарен доктору, нашедшему им применение. Когда аббат приехал в Немур, у него была неплохая библиотека и две тысячи ливров[58] годового дохода; в 1829 году все его богатство состояло из того, что приносила должность кюре, да и эти деньги он полностью раздавал бедным. Он был превосходным советчиком, и многие из тех, кто не ходили за утешением в церковь, шли к священнику домой, чтобы поговорить о щекотливом деле или пожаловаться на невзгоды. Чтобы довершить нравственный портрет кюре, приведем маленький случай из его жизни. Среди крестьян хотя и редко, но находились негодяи, которые, злоупотребляя добротой аббата Шапрона, делали вид, что они не в ладах с законом. Они обманывали жен; те, боясь, что их имущество опишут, а коров уведут, в свою очередь обманывали беднягу кюре, который осушал слезы невинных женщин с помощью необходимых семи или восьми сотен франков, после чего пройдохи-мужья покупали себе участки земли. Однажды набожные прихожане со главе с церковным старостой раскрыли аббату Шапрону глаза на эти проделки и попросили его впредь советоваться с ним, дабы не пасть жертвой алчности очередного мошенника, на что аббат отвечал: «Но ведь ради лишнего клочка земли эти люди могли совершить что-нибудь предосудительное; разве помешать злу не значит творить добро?» Быть может,

читателям будет небезынтересно узнать, как выглядел этот человек, замечательный тем, что знакомство с наукой и изящной словесностью не развратило ни сердца его, ни незаурядного ума. В свои шестьдесят лет аббат Шапрон был совершенно сед — так остро переживал он несчастья ближних, так много испытал во время революции. Дважды он был брошен в тюрьму за отказ от присяги[59] и дважды, по его словам, обращал к Господу свое «В руки Твои предаю...»[60]. Роста он был среднего, не толст и не худ. Морщинистое лицо его, бледное и изможденное, поражало безмятежностью и чистотой линий и, казалось, излучало свет. Чело существа целомудренного всегда окружено неким сиянием. Живые карие глаза одухотворяли это неправильное лицо с высоким лбом. Взгляд его, обличавший не только мягкость, но и душевную силу, проникал глубоко в сердце. Дуги густых седеющих бровей нависали над глазами, не внушая, однако, никакого страха. Во рту у аббата оставалось мало зубов, поэтому щеки его ввалились, однако это не лишало его лицо приятности: сами морщины, казалось, приветливо улыбались собеседнику. Хотя аббат и не страдал подагрой, ходил он с трудом и, оберегая больные ноги, зимой и летом не снимал опойковых башмаков. Считая, что духовному лицу не подобает надевать панталоны, он носил толстые шерстяные чулки, связанные его экономкой, и короткие суконные штаны. По городу он ходил не в сутане, а в коричневом сюртуке и даже в самую скверную погоду мужественно хранил верность треуголке. Этому красивому и благородному старцу, чье безмятежное лицо служило зеркалом чистой души, суждено было оказать столь значительное влияние на события, о которых мы поведем речь, и на их участников, что мы сочли своим долгом с самого начала объяснить, отчего он пользовался в городе всеобщим уважением.

Миноре выписывал три газеты: либеральную, правительственную и ультрароялистскую, а также несколько альманахов и научных журналов, комплекты которых громоздились в его библиотеке. Газеты, книги и их владелец-энциклопедист привлекли в дом Миноре господина де Жорди, бывшего капитана полка Королевской шведской гвардии, холостяка-вольтерьянца, жившего на одну тысячу шестьсот франков пенсии и пожизненной ренты. Поначалу он читал листки благодаря посредничеству юре, а затем счел своим долгом поблагодарить доктора лично. С первой же встречи старый капитан, бывший преподаватель Военной школы, пришелся по душе старому врачу, и тот поспешил отдать своему гостю визит. Господин де Жорди, худой и сухощавый человек небольшого роста, несмотря на чрезвычайную бледность, страдал полнокровием; самым замечательным в его облике был прекрасный высокий лоб — такой лоб и такие коротко стриженные волосы были у короля-солдата Карла XII[61]. Голубые глаза, казалось, говорившие: «Мы знали любовь», но смотрившие с глубокой печалью, сразу вызывали сочувствие, ибо ясно было, что владельца их гнетут тяжкие воспоминания, которые он, однако, хранил в таком секрете, что старым друзьям ни разу не довелось услышать от него ни одного намека на события прошлой жизни, ни одного из тех восклицаний, что вырываются у людей при новых прикосновениях к пережитым некогда трагедиям. Горестную тайну своего прошлого господин де Жорди скрывал под философической веселостью, но когда он оставался один, неспешность его движений — следствие не столько старости, сколько раздумий, — обличала тягостную мысль, неотвязно преследовавшую его; недаром аббат Шапрон прозвал его: «христианин сам того не зная»[62]. Господин де Жорди всегда носил синий суконный сюртук и синие же панталоны — пристрастие к синему цвету наряду с манерами, отличавшимися некоторой чопорностью, выдавало в нем многолетнюю привычку к армейской дисциплине. Голос его, мягкий и мелодичный, волновал душу. Сложен он был, как граф д'Артуа[63]; стройный стан и красивые руки позволяли судить о том, как хорош он был в молодости, и это окутывало тайну его жизни еще большим мраком. Всякий невольно спрашивал себя, какое несчастье могло обрушиться на этого человека, некогда блиставшего красотой, отвагой, изяществом, образованностью и великодушием. Господин де Жорди всегда содрогался, когда слышал имя Робеспьера. Он любил нюхать табак, но, странная вещь, бросил эту привычку, когда увидел, что она внушает отвращение маленькой Урсуле. С тех пор как капитан впервые увидел девочку, он не сводил с нее зачарованных глаз. Он души не чаял в Урсуле, обожал играть с ней, и это еще сильнее сблизило его с доктором, который так и не решился спросить у старого холостяка: «Верно, и у

вас когда-то были дети?»

Люди, подобные Жорди, добрые и терпеливые, живут с горькой тайной в сердце и ласковой и горестной улыбкой на устах, из гордости, из презрения, а может быть, и из мести унося с собой разгадку своей тайны; лишь Господу открывают они душу и лишь у него ищут утешения. Как и доктор, господин де Жорди приехал в Немур, чтобы спокойно умереть, и не знался ни с кем, кроме кюре, который всецело принадлежал своим прихожанам, да госпожи де Портандюэр, которая ложилась спать в девять вечера. Поэтому и он волей-неволей стал отходить ко сну очень рано, хотя ложе его было устлано терниями. Неудивительно, что и доктор, и капитан были рады встрече: оба они разбирались в людях, говорили на одном языке, охотно обменивались мыслями и любили беседовать допоздна. Проведя один вечер вместе, господин де Жорди, аббат Шапрон и доктор Миноре испытали такое наслаждение, что с этих пор священник и военный взяли за правило приходить к доктору каждый день после девяти вечера, когда маленькая Урсула уже спала и старый доктор был свободен. Так, втроем, засиживались они до полуночи, а то и до часу ночи.

Вскоре трио превратилось в квартет. Еще один человек, знавший жизнь, угадал, как отрадны вечера в доме доктора, и пожелал принять в них участие; судебная практика научила его той снисходительности, той мудрости, тонкости и наблюдательности, каким священника, врача и военного научили прихожане, болезни и науки. Прежде чем стать мировым судьей в Немуре, господин Бонгран десять лет был стряпчим в Мелене и, как водится в городках, где нет адвокатской конторы, сам выступал в суде. Овдовев в сорок пять лет и почувствовав, что еще полон сил и не может сидеть без дела, он стал хлопотать о месте мирового судьи в Немуре, освободившемся за несколько месяцев до приезда доктора. Хранитель печати всегда рад назначить на эту важную должность человека опытного, а главное, обеспеченного. Господин Бонгран скромно жил в Немуре на те полторы тысячи франков, что приносила ему должность, а прочие свои доходы тратил на сына, который изучал в Париже право, осваивая попутно судопроизводство в конторе знаменитого стряпчего Дервиля[64]. Папаша Бонгран сильно походил на старого командира дивизии в отставке, лицо его, бледное не так от природы, как от неустанных трудов, разочарований и неприятностей, изборожденное морщинами — следствием размышлений, а также постоянного напряжения, в котором пребывают люди, обязанные о многом молчать, озарялось подчас одной из тех улыбок, какие появляются лишь на лицах людей, то верующих во все, то не верующих ни во что, людей, привыкших ничему не удивляться и проникать в бездны сердец, пораженных корыстью.

Редкие волнистые волосы Бонграна, не столько седые, сколько выцветшие, прикрывали высокий лоб. Морщинистое пожелтевшее лицо цветом не отличалось от волос; короткий остренький нос придавал ему сходство с лисьей мордочкой. Изо рта у судьи, большого говоруна, то и дело вылетали брызги слюны, так что Гупиль язвительно замечал: «Его можно слушать только с зонтиком» или: «В мировом суде что ни день идет судный дождь». В очках судья казался изрядным пройдохой, но стоило ему снять их, и беспомощный взгляд его становился почти глупым. Человек жизнерадостный, пожалуй, даже веселый, он, однако, чересчур охотно строил из себя важную персону. Руки он почти всегда держал в карманах панталон и вынимал их оттуда лишь затем, чтобы поправить очки, причем движение это, в котором сквозила легкая насмешливость, неизменно служило предвестием какого-нибудь остроумного замечания или неотразимого довода.

Жестикуляция Бонграна, его говорливость и невинные претензии на значительность выдавали в нем провинциального стряпчего, но он искупал эти мелкие недостатки, не затрагивавшие глубинной сути его характера, благоприобретенным добродушием, которое мудрый моралист назвал бы снисходительностью существа высшего. Похожий на лису, он слыл человеком честным, но большим хитрецом. Меж тем вся его хитрость сводилась к проницательности. Но разве не зовут хитрецами людей, которые умеют предвидеть последствия тех или иных поступков и остерегаются подставленных им ловушек? Мировой судья любил вист; капитан и доктор составили ему компанию, а очень скоро эту игру освоил и

кюре.

Гостиная Миноре стала для маленького кружка оазисом. Немурский врач, не лишенный ни знаний, ни жизненного опыта и почитавший Миноре как одного из столпов медицины, также изредка бывал здесь, но он был слишком занят и, вынужденный рано ложиться и рано вставать, слишком уставал, чтобы посещать Миноре так же постоянно, как трое других его друзей. Дружба с четырьмя выдающимися обитателями Немура, единственными, кто обладал познаниями достаточно разносторонними, чтобы понять доктора, объясняет отвращение, которое он питал к своим наследникам: долг повелевал ему оставить им состояние, но не терпеть их общество. Оттого ли, что почтмейстер, секретарь мирового суда и сборщик налогов поняли это тонкое обстоятельство, оттого ли, что прямодушие дяди и его благодеяния успокоили их, но к его большому удовольствию, они прекратили свои визиты. Итак, через семь-восемь месяцев после того, как доктор поселился в Немуре, четыре любителя виста и триктрака составляли сплоченный замкнутый кружок, явившийся для каждого из его членов неким братством, дарованным на склоне лет, нечаянным и оттого еще более желанным. Эти избранные люди, эти родственные души считали Урсулу своей приемной дочерью, и каждый воспитывал ее сообразно своим вкусам: кюре радел о душе, мировой судья взял на себя обязанности попечителя, военный готовился стать наставником, что же до самого Миноре, то он был одновременно отцом, матерью и врачом.

Освоившись на новом месте, старик обзавелся привычками, и жизнь его вошла в размеренную колею, в какую она входит в любом провинциальном городке. Из-за Урсулы доктор никогда не принимал по утрам и никого не приглашал к обеду; друзья приходили около шести и оставались до полуночи. Тот, кто являлся первым, находил на столе в гостиной газеты и читал их до прихода остальных или же шел навстречу доктору, если тот был на прогулке. Пристрастие к однообразной и покойной жизни было у доктора не только следствием преклонных лет — оно объяснялось мудрым и глубоким расчетом светского человека: он не желал рисковать своим счастьем и оберегал его от тревожного любопытства наследников и пересудов провинциальных сплетников. Он ни в чем не хотел уступать общественному мнению — этому переменчивому и самовластному божеству, которое в ту пору уже готово было поработить всю нашу страну, причинив ей немало горя. Поэтому, как только Урсулу отняли от груди и она научилась ходить, доктор отказал кухарке, которую нашла для него племянница, госпожа Миноре-Левро, ибо узнал, что женщина эта доносит почтмейстерше обо всем, что происходит в его доме.

Кормилицей маленькой Урсулы была вдова бедного рабочего родом из Буживаля[65], помнившего только имя, данное ему при крещении; последний ребенок ее умер в полгода, и доктор, узнав честный и добрый нрав несчастной женщины, пожалел ее и взял в кормилицы. Антуанетта Патри, вдова Пьера из Буживаля, не имевшая средств к существованию и оставившая в области Брес родных, живших в полной нищете, привязалась к Урсуле, как привязываются все кормилицы к своим питомцам, если долго живут с ними бок о бок. Эта слепая материнская любовь подкреплялась преданностью хозяину. Узнав о намерениях доктора, тетушка Буживаль тайком выучилась стряпать, стала аккуратной, ловкой и приоровилась к привычкам старика. Она тщательно убирала дом и берегла мебель, словом, была неутомима. Мало того, что доктор не хотел никого посвящать в свою частную жизнь; у него были причины держать в тайне от наследников свои денежные дела. Поэтому через год после его переезда в Немур из прислуги в доме осталась одна лишь тетушка Буживаль, на чью скромность он мог полностью положиться, причем истинные мотивы такой умеренности он скрывал за всемогущими соображениями экономии. К великой радости наследников, он жил как скупец. Тетушка Буживаль, которой в пору, когда начались драматические события, составляющие содержание нашего рассказа, исполнилось сорок три года, своим трудолюбием, преданностью и бескорыстием добилась того, что стала незаменимой: на ней держалось все хозяйство, ей доктор и его воспитанница поверяли свои тайны. Все звали ее тетушкой Буживаль, ибо имя Антуанетта решительно не подходило ей: ведь имена и лица

подвластны законам гармонии.

Доктор был скуп не на шутку, ибо имел вполне определенную цель. С 1817 года он перестал выписывать две газеты из трех и отказался от подписки на научные журналы. В год он тратил, как было известно всему Немуру, не больше тысячи восьмисот франков. Как все старики, он почти не нуждался в белье, обуви и платье. Каждые полгода он ездил в Париж — без сомнения, для того, чтобы самолично получать проценты с ренты и выгодно помещать свои доходы. За пятнадцать лет он ни единым словом не обмолвился о своих денежных делах. Бонграну он стал доверять далеко не сразу и посвятил его в свои намерения лишь после революции 1830 года. Вот и все, что знали наследники доктора и прочие немурцы о его жизни. Что же до политических убеждений Миноре, то, платя за дом всего сто франков налога [66], он не имел никакого касательства к выборам и не участвовал ни в каких подписках, кто бы их ни объявлял: либералы или роялисты. Хотя его деизм и ненависть к «церковным крысам» были всем известны, он был так сдержан в изъятии своих чувств, что выставил за дверь посланца своего внучатого племянника Дезире Миноре-Левро — коммивояжера, предложившего ему проповеди кюре Мелье[67] и речи генерала Фуа[68]. Терпимость такого рода оказалась выше понимания немурских либералов.

Три семейства, ожидавшие от доктора наследства, Миноре-Левро и его жена, господин и госпожа Массен-Левро-младшие и господин и госпожа Кремьер-Кремьер, которых мы будем впредь именовать просто Миноре, Массен и Кремьер, поскольку мы, в отличие от жителей Гатине, и так ни с кем их не спутаем, — эти три семейства, слишком занятые, чтобы создать свой кружок, видались, как видаются обычно жители провинциальных городков. Почтмейстер давал большой обед в день рождения сына, устраивал бал на масленицу и в годовщину своей свадьбы; на торжества приглашались все добропорядочные немурские буржуа. Сборщик налогов также собирал у себя — дважды в год — родственников и друзей. Секретарь мирового суда был, как он сам говорил, слишком беден, чтобы позволить себе такие траты; жил он на Главной улице, в доме, первый этаж которого снимала его сестра, получившая стараниями доктора место на почте, и соблюдал строжайшую экономию. Тем не менее в течение года наследники или их жены встречались в городе, на прогулке, по утрам на рынке, на крылечках своих домов или, как в тот день, о котором мы ведем рассказ, на площади перед церковью, так что виделись они почти ежедневно. Меж тем в последние три года возраст доктора, его скупость и богатство сделали свое дело: в городе только и было разговоров — то напрямую, то обиняками — что о наследстве Миноре, и постепенно доктор и его родные сделались притчей во языцех. Вот уже полгода не проходило и недели без того, чтобы друзья или соседи наследников доктора Миноре не заговаривали с ними о «дне, когда глаза старикашки закроются, а сундуки раскроются», и в словах их звучала глухая зависть.

— Пускай Миноре доктор и со смертью накоротке, никто, кроме Господа, не вечен, — замечал обычно кто-нибудь из горожан.

— Да что вы, он нас всех переживет; у него здоровье покрепче нашего, — лицемерно отвечали наследники.

— В конце концов, не вы, так ваши дети все-таки получают наследство, если только эта маленькая Урсула...

— Не оставит же он ей все.

Урсула, как и предсказывала госпожа Массен, была главной соперницей наследников и потому предметом страстной ненависти, их дамокловым мечом, так что слова: «Что ж! поживем — увидим!» — любимая присказка госпожи Кремьер, не сулили девушке ничего хорошего.

Сборщик налогов и секретарь мирового суда, бедняки по сравнению с почтмейстером, часто

пытались подсчитать состояние доктора. Если, гуляя вдоль канала или по дороге, они встречали дядюшку, то обменивались мрачными взглядами.

— У него наверняка есть какой-нибудь эликсир долголетия, — говорил один.

— Он продал душу дьяволу, — отвечал другой.

— Ему следовало бы увеличить нашу долю: ведь толстяк Миноре ни в чем не нуждается.

— Зато у него есть сын, который обходится очень недешево!

— Во сколько вы оцениваете состояние доктора? — спрашивал секретарь у финансиста.

— Если каждый год откладывать по двенадцать тысяч франков, то за двенадцать лет наберется сто сорок четыре тысячи франков, а сложные проценты от этой суммы составляют по меньшей мере сто тысяч франков; но поскольку парижский нотариус наверняка посоветовал старику, как выгоднее поместить деньги, а до 1822 года он, вероятно, вкладывал их в государственную ренту [69] из восьми или семи с половиной процентов, то теперь у него должно быть около четырехсот тысяч франков, да еще четырнадцать тысяч годового дохода от пятипроцентной ренты, которая нынче идет по сто шестнадцать франков [70]. Умри он нынче, мы получили бы семьсот — восемьсот тысяч франков, не считая дома и утвари, — если, конечно, он не отпишет большую часть Урсуле.

— Что ж! сто тысяч Миноре, сто тысяч девчонке, и нам по триста тысяч — это было бы по справедливости.

— Да! отличное вышло бы дельце!

— Получи я такие деньги, — восклицал Массен, — я продал бы свою должность, купил хорошее поместье, постарался получить место судьи в Фонтенбло и сделался бы депутатом.

— А я бы купил контору биржевого маклера, — отвечал сборщик налогов.

— На наше несчастье, он держит при себе эту девчонку — она да кюре так здорово прибрали его к рукам, что нам к нему и не пробиться.

— Во всяком случае, церкви он ничего не оставит — уж в этом-то можно не сомневаться.

Теперь ясно, отчего наследники были потрясены, увидев, что дядюшка направляется в церковь. У всякого хватит ума понять происходящее, если оно затрагивает его денежные интересы. Деньги равно волнуют и крестьянина и дипломата; более того, там, где дело идет о корысти, самый глупый с виду может оказаться самым проворным. Поэтому ужасное умозаключение: «Если маленькая Урсула забрала над своим покровителем такую власть, что может вернуть его в лоно церкви, ей ничего не стоит выманить у него наследство», — как огнем жгло мозг даже самого тупого из наследников. Почтмейстер забыл о загадочном письме сына и бросился на площадь: ведь если доктор шел в церковь, чтобы молиться, это означало, что почтмейстер может не получить свои двести пятьдесят тысяч франков. Бесспорно, тревога наследников была вызвана сильнейшим и законнейшим из общественных чувств — заботой о благосостоянии семьи.

— Ну что, господин Миноре, — сказал мэр (бывший мельник, ставший роялистом, он происходил из рода Левро-Кремьеров), — когда старость придет, и черт в монастырь пойдет. Говорят, ваш дядюшка теперь за нас?

— Лучше поздно, чем никогда, кузен, — отвечал почтмейстер, стараясь скрыть досаду.

— Вот кто посмеется, когда нас надуют! Он, того и гляди, женит своего сына на этой

проклятой девке, дьявол ее раздери! — воскликнул Кремьер, сжимая кулаки и указывая в сторону мэра, поднимающегося на паперть.

— Чего это папаша Кремьер так разбушевался? — спросил немурский мясник, Левро-Левро — старший сын. — Разве он не доволен, что его дядюшка попадет в рай?

— Кто бы мог подумать! — воскликнул секретарь,

— Недаром говорится: «Не плюй в колодец...» — отвечал нотариус, который, издали заметив наследников, предоставил жене одной идти в церковь, а сам подошел к ним.

— Послушайте, господин Дионис, — сказал Кремьер, беря нотариуса под руку, — что вы нам посоветуете предпринять в подобных обстоятельствах?

— Я вам посоветую, — сказал нотариус, обращаясь ко всем наследникам, — ложиться и вставать не раньше и не позже обычного, есть суп, пока он не остыл, не забывать обувать башмаки и надевать шляпу, словом, жить как ни в чем не бывало.

— Звучит не слишком утешительно, — сказал Массен, бросив на него лукавый взгляд.

Несмотря на малый рост и полноту, несмотря на туповатую съезжившуюся физиономию, Кремьер-Дионис был изворотлив, как змея. Чтобы разбогатеть, он вступил в тайный сговор с Массеном, которому, без сомнения, подсказывал, кому из крестьян приходится туго и чьим участком земли легко завладеть. Таким образом, эта парочка выбирала себе дела, не пропуская ни одного выгодного, и делила меж собой доходы от этого предприятия; не в силах навсегда отнять у крестьян землю, они лишали их ее на время. Поэтому Дионис, тревожась не столько о Миноре-почтмейстере и Кремьере — сборщике налогов, сколько о своем друге секретаре, питал живой интерес к наследству доктора. Доля Массена должна была рано или поздно увеличить капитал, с помощью которого двое сообщников обделывали свои дела в родных краях.

— Мы постараемся выведать у господина Бонграна, что все это значит, — вполголоса сказал нотариус Массену и посоветовал пока ничего не предпринимать.

— Да что ж ты тут торчишь, Миноре? — послышался вдруг громкий крик, и невысокая худенькая женщина подбежала к наследникам, среди которых почтмейстер возвышался, как каланча. — Ты не знаешь, где Дезире, и точишь здесь лясы, когда тебе давно пора бы уже седлать коня! Здравствуйте, дамы и господа.

Эта бледная белокурая женщина, в белом с коричневыми цветами ситцевом платье, в вышитом чепце с кружевами и зеленой шали на сухих плечах, была хозяйкой почтового двора, наводившей страх на самых грубых кучеров, слуг и возчиков; она заведовала кассой, вела счета, и все в доме, если верить соседям, ходили у нее по струнке. Как истинная хозяйка дома, она не носила никаких украшений; по ее собственным словам, она в грош не ставила мишуру и побрякушки, интересуясь вещами более основательными, и даже в воскресный день не снимала черного передника, в карманах которого позвякивала связка ключей. От ее визгливого голоса звенело в ушах. Глаза почтмейстерши, несмотря на их нежно-голубой цвет, смотрели очень сурово; под стать им были тонкие поджатые губы и высокий, крутой, властный лоб. Она бросала вокруг быстрые взгляды, а говорила и жестикулировала еще быстрее. «Зелии приходится командовать за двоих, но ее хватило бы и на троих», — говорил Гупиль, от которого не укрылось расположение почтмейстерши к молодым щеголеватым кучерам, каковых сменилось на почтовом дворе уже три; после семи лет беспорочной службы Зелия устраивала судьбу каждого. Злой на язык клерк прозвал этих фаворитов Кучер I, Кучер II и Кучер III. Однако молодые люди имели в доме столь малое влияние и так беспрекословно подчинялись Зелии, что было ясно: она просто-напросто ценит их как хороших работников.

— Ну что ж! Зелия любит зело трудолюбивых! — отвечал на это клерк.

Впрочем, сплетня эта мало походила на правду. С тех пор как она родила сына и выкормила его грудью, — хотя совершенно непонятно было, как ей это удалось, — почтмейстерша не думала ни о чем, кроме денег, и отдавала все силы управлению своим обширным хозяйством. Стащить у Зелии охапку соломы или меру овса, найти у нее ошибку в самых запутанных счетах было невозможно, хотя писала она как курица лапой и из всей арифметики одолела лишь сложение и вычитание. Из дому она выходила только затем, чтобы проверить, в каком состоянии овес, отава и сено, а затем посылала слугу косить, а кучеров вязать снопы, предупреждая их наперед с точностью до сотни ливров, сколько нужно собрать с того или иного луга. Хотя она была душою громадного глупого тела, именуемого Миноре-Левро, и распоряжалась им, как хотела, у нее, как у всех укротителей диких зверей, бывали приступы ярости. Она всегда приходила в бешенство раньше мужа, и кучера отлично знали, что если Миноре обрушивает на них свой гнев, это значит, что он получил взбучку от жены и ее злость рикошетом падает на их головы. Впрочем, мамаша Миноре не только любила деньги, но и умела их добывать. Весь город был единодушен: «Без жены Миноре бы пропал».

— Знала бы ты, что тут происходит, сама забыла бы, на каком ты свете, — отвечал немурский начальник.

— Что еще такое?

— Урсула привела доктора в церковь.

Зрочки Зелии Левро расширились, она вся пожелтела от злости и со словами: «Пока сама не увижу, не поверю», — бросилась в церковь. Священник возносил дары и глаза всех прихожан были устремлены на него, так что мамаша Миноре могла беспрепятственно пробежать взглядом по всем рядам стульев и скамей, оглядеть приделы и отыскать Урсулу, а рядом с ней — старца с непокрытой головой.

Вспомните, как выглядели Барбе-Марбуа[71], Буасси д'Англа[72], Морелле, Гельвеций и Фридрих Великий[73], — и вы получите точное представление о внешнем облике доктора Миноре, который, подобно всем этим знаменитостям, сохранил, несмотря на преклонный возраст, весьма крепкое здоровье. Чеканные профили этих людей кажутся творением одного мастера: этих старцев отличает строгий, почти аскетический очерк лица, бесстрастная бледность, математически точный ум, худые, впалые щеки, лукавый взгляд, неулыбчивость, нечто аристократическое не столько в чувствах, сколько в привычках, не столько в характере, сколько в идеях. Лоб у них высокий, а макушка плоская, что выдает приверженность к материализму. Подобный облик и выражение лица вы найдете на портретах всех энциклопедистов, ораторов-жирондистов и других людей той эпохи, когда религиозные верования были чрезвычайной редкостью, — людей, которые именовали себя деистами, а были безбожниками. Всякий деист на поверку оказывается атеистом. Вот и у старого Миноре было точно такое же лицо, только изборожденное морщинами; некое простодушие придавали ему седые волосы, зачесанные назад, как у женщины, занятой своим туалетом, и падавшие белоснежными хлопьями на черный камзол; доктор упорно носил, как и во времена своей молодости, черные шелковые чулки, башмаки с золотыми пряжками, короткие штаны из плотной тафты, белый жилет с черной перевязью и черный кафтан, украшенный красной орденской ленточкой. На это столь запоминающееся лицо, холодную белизну которого смягчали желтоватые тона старости, падал из окна церкви яркий дневной свет. В ту минуту, когда почтмейстерша появилась в храме, доктор поднял к алтарю свои голубые глаза, умиленно смотревшие из-под розоватых век. Новые убеждения сообщили его лицу новое выражение. Очками он заложил молитвенник. Этот высокий сухощавый старец стоял, скрестив руки на груди, и, казалось, всем своим видом свидетельствовал о полном самообладании и несгибаемости своей веры; не сводя с алтаря смиренного взора, исполненного надежды и оттого помолодевшего, он не желал замечать жену племянника,

которая смотрела на него в упор, как бы упрекая его за возвращение к Богу.

Увидев, что все головы повернулись в ее сторону, Зелия поспешила выйти и возвратилась на площадь уже не так стремительно, как покинула ее; она рассчитывала на наследство доктора, а теперь выходило, что наследство может ускользнуть. У секретаря, сборщика налогов и их жен лица стали еще мрачнее прежнего: Гупиль не без удовольствия сыпал им соль на рану.

— Не на площади же и не на глазах у всего города обсуждать наши дела, — сказала почтмейстерша. — Пойдемте ко мне. Вы тоже не помешаете, господин Дионис, — добавила она, обращаясь к нотариусу,

Итак, весть о том, что Массены, Кремьеры и почтмейстер, возможно, лишатся наследства, вот-вот должна была разнестись по городу.

Наследники и нотариус уже собирались пересечь площадь и отправиться на почтовый двор, когда послышался оглушительный грохот — это дилижанс мчался к почтовой станции, расположенной в начале Главной улицы, неподалеку от церкви.

— Гляди-ка! я вроде тебя, Миноре, тоже забыла про Дезире, — сказала Зелия. — Пойдем встретим его; он без пяти минут адвокат, а это дело и его касается.

Прибытие дилижанса — всегда развлечение, но когда дилижанс прибывает с опозданием, он вызывает особый интерес, поэтому жадная до происшествий толпа бросилась к Дюклерше.

— Дезире приехал! — возопили все хором.

Дезире был тираном немурцев, но, несмотря на это, их любимцем, так что приезд его всегда приводил горожан в большое волнение. Молодежь любила его за щедрость и охотно участвовала в придуманных им забавах, которые, впрочем, были отнюдь не безобидны, так что многие семейства облегченно вздохнули, когда он уехал учиться в Париж. Дезире Миноре был весь в мать: щуплый, бледный, с белокурыми волосами и голубыми глазами; он улыбнулся толпе из кареты и проворно соскочил на землю, чтобы поцеловать Зелию. Скажем несколько слов о его внешнем виде — этого будет довольно, чтобы понять, сколь лестна была для почтмейстерши встреча с сыном.

На студенте были хромовые сапоги, белые английские панталоны со штрипками из лакированной кожи, красивый дорогой галстук с еще более дорогой булавкой, отличный, оригинального покроя жилет, из кармана которого свешивалась цепочка от плоских часов, наконец, короткий скюртук синего сукна и серая шляпа; впрочем, золотые пуговицы на жилете и перстень, надетый поверх лиловатой шевровой перчатки, выдавали низкое происхождение Дезире. В руке он держал трость с резным золотым набалдашником.

— Ты потеряешь часы, — сказала Дезире мать, целуя его.

— Это нарочно, — отвечал студент, подставляя отцу лоб для поцелуя.

— Ну что, кузен, вы без пяти минут адвокат? — спросил Массен.

— Принесу присягу сразу, как вернусь, — отвечал Дезире, кивая горожанам, дружески приветствовавшим его.

— То-то мы посмеемся, — сказал Гупиль, беря его за руку.

— А, вот и ты, старая обезьяна, — сказал в ответ Дезире.

— Думаешь, раз ты сдал экзамены, не найдется никого, кто даст тебе сдачи? — спросил

клерк, оскорбленный столь вольным обращением на виду у всего города.

— Как? он говорит, что приехал с дачи? — удивилась госпожа Кремьер.

— Вы знаете мой багаж, Кабироль! — крикнул Дезире старому кондуктору с лиловатой прыщавой физиономией. — Велите отнести вещи к нам.

— У тебя лошади все в мыле, — выбрала Зелия Кабироля, — ты что, рехнулся? Разве можно их так загонять? Скотина ты, точь-в-точь как они!

— Но господин Дезире хотел приехать поскорее, чтобы вы не беспокоились...

Зелия, однако, твердила свое:

— Раз ничего не случилось — зачем рисковать лошадьми?

Пока Дезире здоровался со старыми друзьями, выслушивал приветствия и радостные возгласы молодежи, пока рассказывал о дороге и о происшествии, послужившем причиной опоздания, прошло немало времени, и орава наследников и их друзей вновь показалась на площади, когда обедня уже кончилась. Всемогущему случаю было угодно, чтобы Дезире увидел выходящую из церкви Урсулу. Молодой Миноре застыл, пораженный красотой девушки. Родичи его также были принуждены остановиться.

Урсула шла под руку со своим крестным, держа в правой руке молитвенник, а в левой зонтик с тем врожденным изяществом, с каким грациозные женщины выполняют самые трудные из милых обязанностей своей женской жизни. Если в Божьем мире все имеет свое значение, то позволительно сказать, что движения девушки выражали божественную простоту. Она была в белом муслиновом платье свободного покроя, отделанном голубыми бантами. Пелерина с широкой голубой каймой и бантами того же цвета не могла скрыть красоту ее стана. Голубой цвет — любимый цвет блондинок — подчеркивал матовую белизну прелестной шейки. Длинный голубой пояс обвивал гибкую тонкую талию — одно из самых пленительных украшений женщины. На Урсуле была скромная шляпка из рисовой соломы, обшитая голубой лентой, концы которой, завязанные под подбородком, оттеняли не только ослепительную белизну шляпки, но и прекрасный цвет лица девушки, белокожей, как все блондинки. Мягкие белокурые волосы Урсулы, которая, разумеется, причесывалась сама, были разделены прямым пробором и заплетены в две толстые косы, уложенные поверх ушей и блестящие на солнце. Серые глаза, нежные и гордые разом, гармонировали с красиво вылепленным лбом. Легкий, как облачко, румянец оживлял лицо девушки, правильное, но не пошлое, ибо природа в виде исключения даровала ей красоту не только безупречную, но и своеобразную. О благородстве ее натуры свидетельствовало восхитительное согласие между чертами лица, движениями и всем обликом, делавшим ее прекрасной моделью для статуи Веры или Скромности. Хотя Урсула была крепкого здоровья, это не бросалось в глаза и не лишало ее облик изысканности. Под светлыми перчатками угадывались прелестные ручки. Стройные тонкие ножки были обуты в хорошенькие кожаные ботинки бронзового цвета, украшенные коричневой шелковой бахромой. Висевшие на голубом поясе круглые часики и голубой кошелек с золотыми кистями привлекли внимание всех женщин.

— Он подарил ей новые часы! — воскликнула госпожа Кремьер, сжав локоть мужа.

— Как, это Урсула? — вскричал Дезире. — Я ее не узнал.

— Ну, дорогой дядюшка, вы нынче всех удивили! — сказал почтмейстер, указывая рукой на немурцев, выстроившихся по обе стороны улицы, идущей от церкви. — Все пришли на вас поглядеть.

— Кто же вас обратил — аббат Шапрон или Урсула? — спросил Массен, с иезуитской

угодливостью кланяясь доктору и его воспитаннице.

— Урсула, — сухо ответил старик, не останавливаясь и показывая всем своим видом, что расспросы ему докучают.

Когда накануне вечером, играя в вист с Урсулой, немурским врачом и Бонграном, старый доктор объявил, что завтра пойдет в церковь, мировой судья сказал в ответ: «Ваши наследники лишатся сна!» Впрочем, мудрый и проницательный Миноре и без этого разгадал бы мысли своих родственников — ему достаточно было увидеть их лица. Внезапное появление Зелии в церкви, ее взгляд, который доктор перехватил, глаза наследников при виде Урсулы, наконец то, что все они собрались на площади в этот час, — все свидетельствовало о вновь разгоревшейся ненависти и тревоге за наследство.

— Вы, мадемуазель, просто чудотворница, — сказала госпожа Кремьер с раболепным поклоном. — Вам ничего не стоит сотворить чудо.

— Чудеса творит Господь, — отвечала Урсула.

— Да что ж Господь?! — воскликнул Миноре-Левро. — Мой тесть говаривал, что Господь служит и нашим, и вашим.

— Он рассуждал, как барышник, — сухо ответил доктор.

— Ну, — обратился Миноре к жене и сыну, — вы что же, не хотите поздороваться с дядюшкой?

— Не могу я спокойно смотреть на эту недотрогу, — воскликнула Зелия и увела сына домой.

— Лучше бы вам, дядюшка, — сказала госпожа Массен, — надевать в церковь черную бархатную шапочку; уж очень там сыро.

— Ладно, племянница, — ответил доктор, взглянув на спутников госпожи Массен, — чем скорее меня не станет, тем скорее на вашей улице наступит праздник.

Он ни на секунду не задержался и так быстро шел вперед, увлекая за собой Урсулу, что наследники наконец оставили его в покое.

— Отчего вы так неласковы с ними? Это нехорошо, — сказала Урсула, шаловливо теребя крестного за руку.

— Как бы я ни относился к религии, я всегда буду ненавидеть лицемеров. Я всем им делал добро и не просил благодарности, а они даже цветов тебе ни разу не прислали в день твоего рождения, хотя знают, что это единственный праздник, который я отмечаю.

Вдалеке медленно возвращалась из церкви госпожа де Портандюэр; она, казалось, была совсем убита горем. Госпожа де Портандюэр принадлежала к числу старых дам, чей наряд всегда хранит отпечаток прошлого столетия. Они носят темно-лиловые платья с прямыми рукавами, какие встретишь только на портретах госпожи Лебрен, черные кружевные накидки и вышедшие из моды шляпки, гармонирующие с их неспешной величавой поступью; подобно инвалидам, по привычке пытающимся шевелить ампутированной рукой, они ходят так, словно под юбкой у них фижмы; их длинные бледные и увядшие лица с тоскливыми глазами не лишены некоего печального очарования, несмотря на плоские накладки из волос; старые кружева, обрамляющие эти лица, уныло висят вдоль щек, и все же эти обломки прошлого поражают бесконечным достоинством манер и взгляда. Покрасневшие, окруженные множеством морщинок глаза старой дамы ясно свидетельствовали, что во время обедни она плакала. Она шла, как потерянная, и один раз обернулась, словно поджидая кого-то.

— Госпожа де Портандюэр обернулась! — Это было событие ничуть не менее поразительное, чем обращение доктора Миноре.

— Кого это поджидает госпожа де Портандюэр? — спросила госпожа Массен, подходя к наследникам, еще не пришедшим в себя после разговора со старым доктором.

— Она ищет кюре, — ответил нотариус Дионис, и тут же хлопнул себя по лбу, как человек, внезапно что-то вспомнивший. — Вы все мне нужны; я знаю, как спасти наследство! Пойдем позавтракаем на радостях у госпожи Миноре.

Всякий может вообразить себе, с какой готовностью последовали наследники за нотариусом. Гупиль, ведя под руку старого товарища, с отвратительной ухмылкой шепнул ему на ухо: «Тут есть красоточки!»

— А мне что за дело! — пожал плечами юный Миноре-Левро, — я без ума от Флорины[74], божественнейшего создания в мире.

— Ты — и какая-то Флорина! — отвечал Гупиль. — Я слишком люблю тебя, чтобы позволить подобным особам водить тебя за нос.

— Флорина — любовница знаменитого Натана, и страсть моя бесполезна, потому что она наотрез отказалась выйти за меня.

— И неразумным девам случается принимать разумные решения!

— Если бы ты хоть раз увидел ее, ты не стал бы говорить о ней в таком тоне, — мечтательно протянул Дезире.

— Если бы я увидел, что ты губишь свою будущность ради минутной прихоти, — сказал Гупиль с жаром, которому, пожалуй, поверил бы даже Бонгран, — я свернул бы шею этой кукле, как Варней — Эми Робсар в «Кенилворте»[75]. Тебе нужно жениться на девице д'Эглемон или дю Рувр и стать депутатом. Твое будущее — карта, на которую поставлено мое, и я не позволю тебе делать глупости.

— Я достаточно богат, чтобы удовольствоваться просто счастьем, — сказал Дезире.

Но тут послышался голос Зелии.

— Вы что это там задумали? — окликнула она двух друзей, остановившихся посреди просторного двора.

Доктор меж тем свернул в улицу Буржуа и с проворством юноши едва ли не бегом бросился к своему дому, где недавно произошло странное событие, поразившее немурцев; нам необходимо сказать о нем несколько слов, иначе ни новость, которую нотариус намеревался сообщить наследникам, ни все наше повествование в целом не будут понятны читателю.

Тесть доктора Миноре, знаменитый клавиесинный мастер и один из талантливейших французских органистов Валентин Мируэ, умер в 1785 году; у него остался побочный сын Жозеф, прижитый им под старость, признанный им и носивший его фамилию, — впрочем, страшный повеса. Перед смертью старик не смог повидать сына: певец и композитор Жозеф Мируэ, дебютировав в Итальянской опере под вымышленной фамилией, бежал с некоей девицей в Германию. Старый мастер перед смертью завещал своему зятю позаботиться о юноше, в самом деле очень талантливым, добавив, что он не женился на его матери лишь оттого, что не хотел ущемить интересы дочери. Доктор пообещал выделить бедному малому половину наследства. После того как Эрар[76] приобрел большую часть имущества, оставшегося от старого мастера, доктор потихоньку принялся за поиски своего побочного шурина, Жозефа Мируэ, но однажды ненароком узнал от Гримма[77], что тот завербовался в

прусскую армию, дезертировал и теперь скрывается под чужим именем. Одаренный от природы пленительным голосом, статной фигурой, красивым лицом и в придачу ко всему этому талантом композитора, вдохновением и вкусом, Жозеф Мируэ в течение полутора десятков лет вел ту жизнь богемы, которую так прекрасно описал берлинец Гофман[78].

В результате к сорока годам он впал в такую нищету, что в 1806 году воспользовался случаем вновь стать французским подданным. После этого он обосновался в Гамбурге и женился на дочери тамошнего добропорядочного буржуа, обожавшей музыку и решившейся посвятить свою жизнь композитору, который все еще подавал большие надежды. Однако после долгих мытарств Жозеф Мируэ не смог свыкнуться с достатком; богатство вскружило ему голову, и он в несколько лет пустил на ветер все состояние жены, с которой, впрочем, жил в добром согласии. Вновь наступила нищета. Можно себе представить, какие страшные лишения терпела чета Мируэ, если Жозеф решил завербоваться музыкантом в один из французских полков. Волею случая в 1813 году полковой лекарь обратил внимание на фамилию Мируэ и сообщил о местонахождении музыканта доктору Миноре, которому был многим обязан. Ответ не заставил себя ждать. В 1814 году, накануне капитуляции Парижа, доктор приютил у себя Жозефа Мируэ и его жену, которая вскоре умерла в родах, дав жизнь девочке, нареченной, по настоянию доктора, Урсулой. Музыкант ненадолго пережил жену и скончался, сломленный тяготами и лишениями. Перед смертью несчастный поручил свою дочь заботам доктора, ставшего ей крестным отцом, несмотря на свое отвращение к тому, что он называл церковным кривлянием. Для доктора, потерявшего всех своих детей из-за преждевременных или слишком тяжелых родов жены, либо в младенчестве, то была последняя попытка стать отцом. Когда у женщины хрупкой, нервной, слабой первая беременность оканчивается выкидышем, все последующие нередко протекают так же тяжело и имеют такой же печальный исход, как у Урсулы Миноре; никакие заботы и советы ее многоопытного мужа не могли ей помочь. Бедняга не раз упрекал себя за то, что они с женой так упорно стремились иметь детей. Последний их ребенок, зачатый после двухлетнего перерыва, умер в 1792 году; если правы физиологи, утверждающие, что, согласно непостижимым законам природы, ребенок наследует кровь отца и нервную систему матери, то причиной смерти дитяти было нервное истощение госпожи Миноре. Лишенный радостей отцовства — чувства, развитого у него сильнее всех прочих, — доктор искал утешения в благотворительности. Меж тем во время своего супружества, омраченного столь горькими невзгодами, он мечтал именно о дочке, о светловолосой малышке, прекрасном цветке, вносящем в дом радость, — поэтому он с восторгом принял дитя, оставленное ему Жозефом Мируэ, и перенес на сироту всю свою нерастраченную любовь. В течение двух лет доктор, словно Катон, воспитывающий Помпея, входил в самые мелкие подробности жизни Урсулы, не позволяя кормилице ни поднимать, ни укладывать девочку без его помощи; даже кормления проходили в его присутствии. Весь свой опыт, все свои знания доктор отдавал ребенку. Испытав все тревоги, все мучительные переходы от страха к надежде, все труды и радости материнства, он с радостью заметил в дочери белокурой немки и музыканта-француза сочетание крепкого здоровья с глубокой чувствительностью. С блаженством, ведомым лишь матерям, старик следил за тем, как меняются ее светлые волосы, как легкий пушок превращается в шелк, а затем в мягкие локоны, такие нежные на ощупь, если нежно их погладить. Он часто целовал ее голые ножки с розовыми пальчиками, похожими на лепестки, — кожа их была до того тонка, что можно было увидеть, как под ней пульсирует кровь. Он был без ума от малышки. Он часами слушал ее лепет, когда она училась говорить; часами любовался ею, когда она с радостным смехом останавливала на окружающих предметах задумчивый взгляд своих прекрасных голубых глаз, казавшийся предвестием мысли; вместе с Жорди он пытался разгадать причины того, что другие именуют капризами, — причины самых незначительных поступков девочки, переживавшей ту восхитительную пору, когда ребенок — и цветок, и плод, когда ум его смутен, желания неистовы, а тяга к движению бесконечна. Красота Урсулы и ее кротость внушали доктору такую страстную любовь, что ради своей крестницы он желал бы переменить законы природы: он говаривал старому Жорди, что когда у девочки резались зубки, он сам ощущал мучительную зубную боль. Любовь стариков к детям не знает меры —

они не любят, а боготворят. Ради этих крошечных существ они отказываются от своих привычек, ради них решаются вспомнить все забытое. Свою опытность, снисходительность, терпение — сокровища, скопленные в течение долгих трудных лет, — все отдают они юным созданиям, с чьей помощью сами молодеют. Ум у них занимает место инстинкта, а неутомимая их мудрость стоит материнской интуиции. Памятуя о провидческой чуткости матерей, старики заменяют ее состраданием, и с годами все больше потакают своим питомцам. Неторопливость их движений заменяет материнскую нежность. Если мать — рабыня своей любви, то старики, не знающие страстей и бескорыстные в своем чувстве, предаются детям всецело. Наконец, у старых и малых жизнь равно проста. Поэтому дети чаще всего ладят со стариками. Старый капитан, старый кюре и старый врач не могли нарадоваться на ласковую и кокетливую девочку и всегда были готовы приласкать ее в ответ и поиграть с ней. Резвость Урсулы не только не раздражала, но, напротив, пленяла их, и они исполняли все ее желания, не упуская при этом ни одного случая расширить ее познания. Так девочка и росла в окружении стариков, каждый из которых заботился о ней с материнской чуткостью и дальновидностью. Благодаря столь мудрому воспитанию[79] душа Урсулы расцветала в подобающей ей обстановке. Это редкое растение возшло на особой почве, впитало нужные ему соки и выросло под лучами живительного солнца.

Однажды — Урсуле в ту пору исполнилось шесть лет — доктор и кюре сидели под окном китайского павильона.

— В какой вере будете вы воспитывать девочку? — спросил аббат Шапрон.

— В вашей, — ответил Миноре.

Подобно Вольмару[80] из «Новой Элоизы», он не счел себя вправе лишать Урсулу преимуществ, даруемых католической религией. Кюре в ответ пожал ему руку.

— Да, кюре, всякий раз, когда она заговорит со мной о Боге, я буду отсылать ее к ее любимому «Сапрону», — сказал Миноре, подражая детскому лепету Урсулы. — Я хочу проверить, является ли религиозное чувство врожденным. Поэтому я не стал ни способствовать, ни препятствовать стремлениям этой юной души, но в сердце своем я уже назвал вас ее духовным отцом.

— Надеюсь, это зачтется вам на небесах, — ответил аббат Шапрон, тихонько поглаживая одной рукой другую, а затем простер обе их вверх, словно творя короткую молитву.

Так, с шести лет сирота Урсула обрела духовного наставника в лице кюре; что же касается Жорди, то он был ее наставником и прежде.

Капитан, преподававший некогда в одной из старинных военных школ, имел вкус к грамматическим штудиям, интересовался различиями европейских языков и исследовал вопросы, связанные с созданием языка универсального. Этот ученый муж, терпеливый, как все старые учителя, почел за счастье выучить Урсулу читать и писать по-французски, а также научить ее счету. В обширной библиотеке доктора нашлись книги, доступные ребенку, поучительные и занимательные разом. Капитан и кюре позволили юному уму Урсулы впитывать знания с той же непринужденностью и свободой, какие доктор предоставлял ее телу. Урсула училась, играя. Религия не позволяла ей задумываться сверх меры. Вверенная божественной власти природы, очищенной тремя осторожными наставниками от всякой скверны, Урсула ставила чувства выше долга и повиновалась более голосу совести, нежели законам общества. Благородство ее чувств и поступков было произвольным: рассудок лишь подкреплял сердечный порыв. Она творила добро ради собственного удовольствия, еще не ведая, что его следует творить по обязанности. Таково следствие христианского воспитания. Подобные убеждения, непригодные для мужчин, пристали женщине, доброму гению и совести семьи, тайному источнику прелести домашнего очага, царице дома. Трое

стариков действовали сходно. Не отступая перед невинной любознательностью ребенка, они объясняли Урсуле мир и способы его познания, не говоря ничего, кроме правды. Если, рассматривая траву, цветок, звезду, она задумывалась о Боге, преподаватель и врач отвечали, что об этом ей может рассказать только священник. Таким образом, ни один из наставников не вторгнулся в чужую сферу. Крестный отец заботился о жизненных благах и материальных нуждах, наукам девочка училась у Жорди, о морали, метафизике и божественной премудрости с ней беседовал кюре. В отличие от многих богатых домов, в доме Минора не было неосторожных слуг, способных испортить даже самого умного и воспитанного ребенка. Тетушка Буживаль, получившая на этот счет самые строгие наставления и слишком простодушная и недалекая, чтобы вмешиваться в обучение, не препятствовала трем мудрецам в их трудах. Итак, Урсула, счастливое создание, росла под опекой трех добрых гениев, чью задачу, впрочем, облегчала природная одаренность девочки. Благодаря мужественной нежности наставников, их серьезности, смягченной улыбками, разумной свободе, которую они предоставляли своей воспитаннице, постоянной заботе о ее душе и теле, Урсула в девять лет была прелестным, идеальным ребенком. К несчастью, вскоре родительская триада распалась. На следующий год капитан Жорди умер, решив самую трудную часть задачи и оставив доктора и кюре трудиться над дальнейшим. На столь хорошо взрыхленной почве цветы вырастают сами собой. Старый дворянин каждый год откладывал по тысяче франков и оставил маленькой Урсуле на память о себе десять тысяч франков. В трогательном завещании он просил свою любимицу тратить те четыреста или пятьсот франков ренты, которые будет приносить ежегодно этот небольшой капитал, только на наряды. Когда мировой судья пришел в дом друга, чтобы наложить печати, то нашел в кабинете, куда Жорди никому не позволял входить, множество старых, наполовину сломанных игрушек, которые бедный капитан благоговейно хранил и которые господину Бонграну, согласно воле покойного, предстояло сжечь. В ту пору Урсула готовилась к первому причастию. Аббат Шапрон целый год занимался с девушкой, чьи ум и сердце, столь развитые, но столь осмотрительно сдерживавшие друг друга, требовали особенной духовной пищи. Это приобщение к высоким материям оставило такой глубокий след в сердце девушки, вступившей в ту пору жизни, когда душа обретает веру, что она сделалась благочестива и склонна к мистике; характер ее был неподвластен обстоятельствам, а сердце презирало невзгоды. Тогда-то и началась между неверующей старостью и набожной юностью подспудная борьба, долгое время скрытая от юного существа, послужившего ее орудием, — борьба, развязка которой ошеломила весь город и навлекла на Урсулу ненависть наследников. Первую половину 1824 года Урсула проводила почти каждое утро в доме священника. Старый доктор разгадал намерение кюре. Священник желал сделать Урсулу неопровержимым доказательством и с ее помощью переубедить безбожника. Девочка любит крестного, как родного отца, думал аббат Шапрон, он поверит ее простодушию, пленится трогательным воздействием религии на душу ребенка, чья любовь походит на те южные деревья, что круглый год усыпаны цветами и плодами, круглый год зелены и благоуханны. Красота жизни убедительнее самого логичного рассуждения. Никто не в силах устоять перед очарованием некоторых образов. Так и доктор, сам не зная отчего, смахнул с глаз слезы, когда увидел, как его возлюбленное дитя отправляется в церковь в белом креповом платье с белыми лентами и в белых атласных башмачках; пышные ее волосы, рассыпавшиеся по плечам, стягивала белая лента с большим бантом, корсаж был обшит рюшем, украшенным атласными лентами, в чистых глазах светилась надежда; взрослая и счастливая, Урсула спешила на свое первое свидание; она еще сильнее любила крестного с тех пор, как душа ее воспарила к Богу. Когда доктор заметил, что мысль о вечности животворит эту душу, до сих пор блуждавшую в потемках младенчества, подобно тому как солнце животворит землю после холодной ночи, то, снова, сам не зная отчего, подсадовал, что остается дома один. Сидя на крыльце, он долго смотрел на калитку, за которой скрылась его крестница, сказав ему на прощанье: «Крестный, отчего ты не идешь со мной? Неужели ты не хочешь разделить со мною мою радость?» Душу старого энциклопедиста раздирали сомнения, но гордость его была еще не сломлена. Тем не менее он пошел навстречу причастникам и различил среди них свою Урсулу, сияющую от восторга под покрывалом. Она бросила на него счастливый

взгляд, который разбередил в неприступном уголке его сердца мысль о Боге. Но старый деист твердо стоял на своем; он сказал себе: «Кривлянье! Если даже у мира есть создатель, неужто этому творцу бесконечности есть дело до подобных глупостей!» Он усмехнулся и пошел своим путем; он гулял по холмам вдоль дороги в Гатине, а из города доносился громкий и радостный перезвон колоколов.

Стук костей невыносим для тех, кто не умеет играть в триктрак — одну из самых сложных игр в мире. Чтобы не докучать Урсуле, которая из-за своей чрезвычайной хрупкости и впечатлительности тяготилась и стуком, и непонятными речами игроков, старый Жорди, кюре и доктор брались за кости, только когда девочка уже спала или уходила на прогулку. Однако нередко случалось, что они не успевали закончить партию до ее возвращения; тогда она с неподражаемым изяществом покорно усаживалась у окна с шитьем. Ей был противен триктрак, поначалу кажущийся большинству умных людей столь утомительным и недоступным, что те, кто не сумел преодолеть отвращение и привыкнуть к этой игре с юности, как правило, не способны ей научиться. Меж тем в день своего первого причастия Урсула, вернувшись из церкви домой, достала доску и кости, положила их перед старым доктором, проводившим этот вечер в одиночестве, и спросила:

— Ну, чей ход?

— Урсула, — отвечал доктор, — разве не грешно тебе смеяться над крестным в день первого причастия?

— Я вовсе не смеюсь, — сказал девочка, усаживаясь за стол, — вы всегда стараетесь доставить мне удовольствие, и мой долг — отвечать вам тем же. Когда господин Шапрон бывал мной доволен, он учил меня играть в триктрак, и дал мне столько уроков, что я могу вас обыграть... Теперь я уже не буду мешать вам. Чтобы не лишать вас радости, я одолела все трудности, и звук триктрака начал мне нравиться.

Урсула выиграла. Кюре застал старика и девочку за доской и стал свидетелем ее победы. На следующее утро Миноре, который до тех пор не хотел учить свою воспитанницу музыке, отправился в Париж, купил там фортепьяно, нашел в Фонтенбло учительницу и покорился необходимости выслушивать бесконечные гаммы. Одно из френологических предсказаний [81] покойного Жорди сбылось: девочка стала превосходной музыкантшей. Опекун, гордый своей крестницей, уговорился в Париже со старым немцем по имени Шмукке [82], опытным преподавателем музыки, что тот будет раз в неделю приезжать в Немур, и не жалел денег на обучение Урсулы этому искусству, которое прежде считал совершенно бесполезным. Безбожники не любят музыку — этот небесный язык, усовершенствованный католической религией, которая заимствовала названия нот из одного церковного гимна: ведь семь нот — это первые слоги первых семи стихов гимна на рождение святого Иоанна Крестителя [83]. Впечатление, произведенное на старика первым причастием Урсулы, было сильным, но кратким. Радость и покой, которые вера и молитва вселяли в юную душу, также оставляли его равнодушным. Совесть доктора была чиста, и он не знал тревог. Он полагал, что, творя добрые дела без надежды на небесное вознаграждение, поступает более великодушно, чем правоверные католики, которые, как он утверждал, торгуются с Богом.

— Но, — возражал аббат Шапрон, — согласитесь, что если бы все люди заключали подобные сделки, общество избавилось бы от пороков; мир не знал бы горя. Благодетельствовать так, как вы, может только большой философ; вы пришли к своим взглядам путем рассуждений, вы — исключение из правила, меж тем благодетельствовать, как мы, способен всякий христианин. Вы совершаете усилие, а мы слушаемся велений сердца.

— Иными словами, кюре, я мыслю, а вы чувствуете, вот и вся разница.

Тем временем Урсуле исполнилось двенадцать лет; и, так как чуткость и сметливость,

свойственные ее полу, были у нее особенно развиты благодаря превосходному воспитанию, а ум, и без того острый, обретал опору в религиозном чувстве, самом тонком из всех, она ясно поняла, что ее крестный не верит ни в загробную жизнь, ни в бессмертие души, ни в Провидение, ни в Бога. Вынужденный отвечать на вопросы невинного создания, доктор не мог дольше таить свою роковую тайну. Простодушное огорчение Урсулы поначалу вызвало у него улыбку, но, видя, что грусть ее не проходит, он понял, что грусть эта — следствие глубокой любви. Страстные привязанности страшатся всякого разногласия, даже разногласия, не имеющего отношения к жизни сердца. Порой доводы воспитанницы, высказанные голосом мягким и нежным, проникнутые чувством пылким и чистым, ласкали слух доктора. Однако верующие и безбожники говорят на разных языках и не могут понять друг друга. Славя Господа, Урсула обижала своего крестного, как избалованный ребенок обижает иной раз свою мать. Кюре мягко пожурил Урсулу, сказав ей, что Господь сам берет на себя труд смирять гордые умы. Девушка в ответ напомнила аббату Шапрону о Давиде, победившем Голиафа. Эти споры о религии, эти огорчения ребенка, желавшего обратить крестного в свою веру, были единственным, что омрачало жизнь маленького семейства, скрытую от любопытных взоров немурцев, — жизнь счастливую и насыщенную. Урсула росла, развивалась и наконец стала той скромной и набожной девушкой, которая, выходя из церкви, пленила Дезире.

Часы, дни, месяцы текли тихо и покойно; Урсула разводила цветы в саду, играла на фортепьяно и с помощью тетушки Буживаль окружала заботой своего опекуна. Впрочем, год назад некоторые перемены в поведении Урсулы[84] встревожили доктора; конечно, источник этих перемен был так хорошо известен заранее, что беспокоиться следовало лишь о том, как справится с ними организм девушки. Однако мудрый наблюдатель и опытный врач боялся, как бы перемены эти не нарушили духовного покоя Урсулы. Он стал по-матерински внимательно следить за своей приемной дочерью, однако не увидел поблизости никого, кто мог бы внушить ей любовь, и успокоился.

Меж тем за месяц до описываемого нами дня духовную жизнь самого доктора потрясло одно из тех событий, которые не оставляют камня на камне от наших убеждений; впрочем, прежде чем рассказать о нем, следует коротко остановиться на некоторых эпизодах врачебной карьеры Миноре, тем более что это придаст нашей истории дополнительный интерес.

В конце XVIII столетия Месмер[85] произвел в науке еще больший раскол, чем Глюк в искусстве[86]. Открыв феномен магнетизма, Месмер приехал во Францию, куда с незапамятных времен являются все изобретатели, желающие, чтобы их открытия получили права гражданства во всем мире. Благодаря своему ясному языку Франция — своего рода всемирный глашатай.

— Если гомеопатию признают в Париже, она спасена, — сказал недавно Ганнеман[87].

— Отправляйтесь во Францию, — посоветовал господин Меттерних[88] Галлю, — если там посмеются над вашими шишками, вы прославитесь.

Итак, у Месмера появились пылкие сторонники и непримиримые противники, сражавшиеся меж собой так же яростно, как пиччиннисты с глюкистами. Ученая Франция всколыхнулась и принялась обсуждать новое учение. Еще до окончания дискуссии медицинский факультет постановил[89] раз и навсегда, что Месмер с его чаном, проводами и теориями — шарлатан. Впрочем, этот немец имел несчастье сам погубить свое замечательное изобретение, выказав необузданное корыстолюбие[90]. Месмер потерпел неудачу из-за недостоверности своих выкладок, из-за незнания роли, которую играют в природе невесомые флюиды, в ту пору остававшиеся вовсе неизвестными науке, из-за неспособности объять разные стороны своего многоликого учения. Магнетизм может иметь самые различные применения; в руках Месмера он был, сравнительно с тем, на что способен, все равно что теория сравнительно с ее практическими следствиями. Изобретателю не хватило гения, но это ничуть не оправдывает

человеческий разум и французов XVIII столетия, которые, как это ни прискорбно, обошлись с учением, возникшим одновременно с человеческим обществом, учением, известным египтянам и халдеям, грекам и индусам, так же, как обошлись в XVI столетии с провозвестником истины Галилеем; хуже того, магнетизм принял на себя двойной удар: на него ополчились и правоверные католики, и философы-материалисты. Магнетизм, искусство, которому был привержен Иисус и которым волею небес овладели апостолы, оказался равно чужд как соратникам Жан-Жака и Вольтера, Локка[91] и Кондильяка[92], так и церкви. Ни энциклопедисты, ни духовенство не признали этого дара, — древнего, но выглядевшего столь новым. Церковь замалчивала чудеса на могиле дьякона Париса[93], ученые, несмотря на драгоценные сочинения советника Карре де Монжерона[94], не проявляли к ним никакого интереса, а ведь чудеса эти впервые указали человечеству на необходимость исследовать флюиды, позволяющие внутренним силам организма противостоять боли, идущей извне. Но для того чтобы произвести подобные исследования, пришлось бы признать существование неосязаемых, невидимых, невесомых флюидов, а тогдашняя наука считала все это признаками пустоты. Меж тем для современной философии пустоты не существует. Десяти футов пустоты достаточно, чтобы потрясти основы мироздания! Особенно тесен мир в представлении материалистов: здесь все взаимосвязано, все взаимозависимо, все подстроено нарочно. «Легче вообразить, что мир был создан случайно, чем что он был сотворен Богом. Возникновение его объясняется множеством обстоятельств и их случайных совпадений. Дайте мне все буквы, составляющие текст «Энеиды», время и место — и, складывая буквы, взятые наугад, я рано или поздно создам «Энеиду»[95]. Эти несчастные, готовые обожествить что угодно, лишь бы не признать существование Бога, не верили и в бесконечную делимость материи, вытекающую из существования невесомых флюидов. Локк и Кондильяк на полстолетия задержали развитие естественных наук, ныне стремительно движущихся вперед благодаря учению о единстве живой природы, которым мы обязаны великому Жозефу Сент-Илеру[96]. Некоторые стойкие и беспристрастные люди, добросовестно изучившие факты, хранили верность доктрине Месмера, признававшего наличие у человека всепроникающей силы, приводимой в действие волей и дающей власть над всем живым, силы целительной, вмешивающейся в поединок между болезнью и желанием выздороветь. Изучением сомнамбулизма, о котором Месмер имел лишь самые смутные представления, мы обязаны господам Пюисегюру[97] и Делезу[98]; однако революция прервала их исследования, и последнее слово осталось за учеными мужами и зубоскалами. Впрочем, горстка упрямец, и среди них несколько врачей, хранила верность новому учению. Эти инакомыслящие до самой смерти подвергались преследованиям своих собратьев. Почтенный цех парижских врачей начал против месмеристов настоящий крестовый поход, и был настолько жесток в своей ненависти, насколько позволяла тогдашняя терпимость на вольтерьянский лад[99]. Правоверные врачи отказывались сотрудничать с врачами, исповедовавшими Месмерову ересь. В 1820 году эти еретики все еще подвергались негласной проскрипции. Несчастья и бури Революции не погасили эту научную вражду. Только священники, судьи и врачи умеют ненавидеть так сильно. Люди в мантии не ведают жалости. Не оттого ли, что борьба идей беспощаднее всех прочих? Доктор Бувар[100], друг юности Миноре, был одним из тех, кого Месмер обратил в свою веру, и до конца дней оставался предан учению, навлекшему на него лютую ненависть парижского медицинского факультета. Миноре, один из самых рьяных поборников Энциклопедии и самых грозных противников Делона[101], гонитель Месмера, человек, чье слово имело в этом споре огромный вес, навсегда поссорился со своим товарищем и, более того, стал его преследовать. Мысль о Буваре была едва ли не единственной, которая могла вызвать у Миноре раскаяние и омрачить его спокойную старость. С тех пор как доктор переселился в Немур, учение о невесомых флюидах — так следовало бы именовать магнетизм, по природе своей тесно связанный со светом и электричеством, — стремительно развивалось, несмотря на постоянное глумление парижских умников. Френология и физиогномика — учения Галля и Лафатера, похожие, как близнецы, и связанные одно с другим, как причина и следствие, — открыли не одному физиологу следы существования неуловимых флюидов — источника человеческой воли, определяющего страсти и привычки, форму черепа и черты лица.

Магнетические явления, чудеса сомнамбулизма, пророческие видения, позволяющие проникнуть в тайну мира духовного, множились с каждым днем. Странная история фермера Мартена[102], который поведал королю о своих беседах с ангелами, бесспорно имевших место; известия о сношениях Сведенборга с умершими, столь серьезно обоснованные немецкими авторами; рассказы Вальтера Скотта о сбывшихся пророчествах; удивительные прозрения некоторых ведунов, владеющих секретами хиромантии, карточных гаданий[103] и составления гороскопов; случаи каталепсии и возвращения к жизни с помощью неких болезненных ощущений — все эти явления, по меньшей мере любопытные и проистекавшие из одного и того же источника, рассеивали множество сомнений и увлекали самых равнодушных на путь опытных исследований. Миноре ничего не знал об этом брожении умов, столь сильном на севере Европы и столь слабым во Франции, где, однако, также случались происшествия, которые поверхностные наблюдатели именуют чудесами и которые исчезают в водовороте парижской жизни, как камень в море.

В начале того года, когда Урсуле исполнилось пятнадцать лет, покой гонителя месмеристов смутило следующее письмо:

«Старый товарищ!

Всякая дружба, даже утраченная, дает права, не теряющие силу за давностью лет. Я знаю, что вы еще живы, и лучше, чем нашу вражду, помню счастливые дни в берлоге на улице Святого Юлиана Христарадника. Перед тем как покинуть этот мир, я непременно хочу доказать вам, что магнетизм рано или поздно будет признан одной из главных наук — если, конечно, науке не суждено быть единой и неделимой. Я располагаю неопровержимыми доказательствами, способными истребить ваше неверие. Быть может, вашему любопытству я буду обязан счастьем еще раз пожать вашу руку, как пожимал ее до появления Месмера. Всегда ваш

Бувар ».

Взвившись, словно лев от укуса слепня, противник месмеризма без промедления выехал в Париж и оставил свою карточку у старика Буvara, жившего на улице Феру, возле собора Святого Сульпиция. Бувар прислал ему в гостиницу записку: «Завтра в девять, на улице Сент-Оноре, против церкви Успения Богоматери». Миноре, к которому возвратилась молодость, не мог заснуть. Он отправился к знакомым врачам, чтобы выяснить, не перевернулся ли мир, не прекратила ли свое существование Медицинская школа и на месте ли четыре факультета[104]. Старые знакомые успокоили его, заверив, что древний дух сопротивления не угас, но академики сменили оружие и, прибегая вместо травли к насмешкам, ставят явления магнетизма на одну доску с трюками Комуса[105], Конта[106] и Боско[107], с фиглярством, фокусами и так называемой занимательной физикой. Эти речи не помешали старому Миноре пойти на свидание со старым Буваром. После сорока четырех лет вражды противники встретились на улице Сент-Оноре. Французы — люди слишком легкомысленные, чтобы быть способными на долгую ненависть. К тому же в столице Франции политическая, литературная и научная деятельность столь обширна и многообразна, что всякий может отыскать себе здесь поприще и царить на нем в свое удовольствие. Ненависть отнимает много сил, и тот, кто не ищет примирения, непременно обзаводится единомышленниками. Поэтому о своей розни помнят лишь целые сословия. Робеспьер и Дантон обнялись бы по прошествии сорока четырех лет, что же до наших врачей, то ни один из них не подал другому руки, Бувар первым нарушил молчание:

— Ты выглядишь великолепно!

— Да, я чувствую себя неплохо, а как ты? — ответил Миноре, раз уж лед был сломан.

— Как видишь.

— Неужели магнетизм не помогает избежать смерти? — беззлобно пошутил Миноре.

— Нет, порой он ее даже приближает.

— Так ты не богат? — спросил Миноре.

— С какой стати?

— А я вот богат!

— Меня интересуют не твои деньги, а твои убеждения. Пойдем, — сказал Бувар.

— Упрямец! — воскликнул Миноре.

Месмерист повел скептика по довольно темной лестнице; со всевозможными предосторожностями они поднялись на пятый этаж.

В эту пору в Париже заявил о себе необыкновенный человек[108], которому Господь даровал необъятное могущество и магнетические способности во всем их многообразии. Как некогда спаситель рода человеческого, великий незнакомец, здравствующий и поныне, мгновенно и окончательно излечивал на расстоянии самые тяжкие, самые застарелые недуги; более того, он в мгновение ока смирял самую непокорную волю и превращал обычных людей в сомнамбул. Лицо незнакомца, который утверждает, что подчиняется одному лишь Господу и, подобно Сведенборгу, общается с ангелами, являет собой сгусток энергии и выражает безграничную, львиную мощь. Причудливые, неправильные черты этого лица страшны и грозны; голос, исходящий из недр существа незнакомца, словно пропитан магнетическими флюидами; он проникает в слушающего через все поры. Излечив тысячи больных и не получив признания в обществе, незнакомец удалился от света и добровольно обрек себя на безвестность и полное одиночество. Его всемогущая длань, которая возвращала умирающих дочерей матерям, отцов рыдающим детям, обожаемых любовниц упоенным страстью любовникам, которая исцеляла больных, приговоренных врачами к смерти, и облегчала последние часы жизни тем, кого уже невозможно было спасти, длань, благодаря которой в синагогах, католических храмах и протестантских кирхах служители разных культов, сплоченные одним чудом, служили благодарственные молебны единому Богу, — эта верховная длань, излучавшая свет жизни, который слепил закрытые глаза сомнамбул, не поднялась бы ныне даже для того, чтобы возвратить королеве наследного принца. Укрывшись воспоминаниями о своих благодеяниях, словно светозарным саваном, он покинул дольний мир ради мира горнего. Но на заре своего царствования, едва ли не удивляясь собственному всесилию, человек этот, столь же бескорыстный, сколь и могущественный, позволял иным любознательным людям быть свидетелями его чудес. Вести о его славе, которая некогда была огромной и, быть может, завтра вновь сделается таковой, достигли ушей престарелого доктора Буvara. Гонимый месмерист узрел самые блистательные свершения той науки, которую берег в своем сердце, как сокровище. Несчастья Буvara тронули сердце великого незнакомца и расположили его к старцу. Поэтому, поднимаясь по лестнице, Бувар слушал шутки своего давнего противника с лукавой улыбкой. На все колкости он отвечал только одно: «Посмотрим! Посмотрим!» и легонько покачивал головой, как человек, уверенный в своей правоте.

Квартира, куда попали двое врачей, была более чем скромной. Бувар ненадолго зашел в спальню, смежную с гостиной, оставив Миноре в одиночестве и тем усилив его недоверие. Однако очень скоро Бувар вернулся и пригласил старого друга в соседнюю комнату, где их ожидали таинственный последователь Сведенборга и сидевшая в кресле женщина. Она не шелохнулась и, кажется, даже не заметила вошедших.

— А где же чаны? — с улыбкой спросил Миноре.

— Нам не нужно ничего, кроме Господней воли, — серьезно ответил последователь Сведенборга. На вид ему было лет пятьдесят.

Мужчины сели, и незнакомец начал беседу. К великому удивлению старого Миноре, хозяин дома заговорил о погоде. Затем он расспросил гостя о его научных взглядах; очевидно было, что он тянет время, чтобы получше узнать доктора.

— Вы пришли сюда из чистого любопытства, сударь, — произнес он, наконец. — Я не имею привычки торговать силой, которая, по моему убеждению, дана мне от Бога; воспользуйся я ею в целях дурных или легкомысленных, я, вероятно, лишился бы ее. Однако, по словам господина Бувара, дело идет о том, чтобы просветить добросовестного ученого и убедить его отказаться от взглядов, противоположных нашим, — поэтому я удовлетворю ваше любопытство. Женщина, которую вы видите, — он указал на незнакомку, сидевшую в кресле, — спит сомнамбулическим сном. Судя по рассказам и поведению всех сомнамбул, состояние это служит для них источником блаженства, ибо внутреннее их существо, освободившись от всех препон, какие ставит перед ним видимая природа, пребывает в мире, который мы ошибочно именуем невидимым. Зрение и слух в этом состоянии гораздо острее, чем при так называемом бодрствовании, и, быть может, обходятся без помощи глаз и ушей, являющихся всего лишь ножами для светоносных мечей, что зовутся зрением и слухом! Для человека, спящего сомнамбулическим сном, не существует ни расстояний, ни препятствий; он преодолевает их с помощью жизненной силы, для которой наше тело — сосуд, точка опоры, оболочка. Для этих недавно открытых явлений еще не придуманы названия, ибо слова «невесомый», «неосязаемый», «невидимый» неприложимы к тем флюидам, о существовании которых свидетельствует магнетизм. Свет обладает весом, ибо он рождает тепло, а при нагревании тела расширяются; что же до осязания, то электричество более чем осязуемо. Мы осудили явления вместо того, чтобы осудить несовершенство наших орудий познания.

— Она спит! — сказал Миноре, внимательно осмотрев женщину, принадлежавшую, как ему показалась, к низкому сословию.

— Ее тело сейчас как бы не существует, — ответил последователь Сведенборга. — Невежды принимают это состояние за сон. Но с ее помощью вы убедитесь, что есть мир невещественный, и в этом мире дух не признает над собой власти материи. Я отправлю ее туда, куда вы пожелаете. Она расскажет вам, что происходит в любой точке земного шара, безразлично — в двадцати лье отсюда или в Китае.

— Отправьте ее для начала ко мне домой, в Немур, — попросил Миноре.

— Все будет происходить без моего участия, — отвечал загадочный незнакомец. — Дайте мне руку, и вы станете одновременно действующим лицом и зрителем, следствием и причиной.

Миноре протянул незнакомцу руку, и тот взял ее; мгновение он держал ее в своей руке, как бы сосредоточиваясь; другой рукой он схватил за руку женщину и знаком показал старому скептику, что ему следует сесть подле этой пророчицы без треножника. По безмятежному лицу ясновидицы пробежала легкая дрожь, когда последователь Сведенборга вложил руку доктора в ее руку, однако, как ни чудесны оказались последствия этого жеста, все происходило крайне просто.

— Повинуйтесь этому господину, — сказал незнакомец, возложив руку на голову женщины, которая, казалось, черпала у него свет и жизнь, — и помните: все, что вы сделаете для него, доставит удовольствие мне. Теперь вы можете говорить с ней, — сказал он Миноре.

— Ступайте в Немур, на улицу Буржуа, ко мне домой, — сказал доктор.

— Не торопите ее, не отнимайте у нее руки, пока не убедитесь, что она прибыла на место, —

сказал Бувар своему старому другу.

— Я вижу реку, — слабым голосом произнесла женщина; хотя глаза ее были закрыты, она, казалось, с величайшим вниманием вглядывалась в самое себя. — Я вижу красивый сад...

— Почему вы начинаете с реки и сада?

— Потому что они там.

— Кто?

— Юная особа и кормилица, о которых вы думаете.

— Как выглядит сад?

— Если подняться по маленькой лесенке с берега реки, справа видна длинная кирпичная галерея, там внутри стоят книги, а в конце — каморочница[109], разукрашенная деревянными колокольчиками и пасхальными яичками. Слева — стена, увитая зеленью: диким виноградом, виргинским жасмином. В центре — небольшие солнечные часы. Кругом много горшков с цветами. Ваша воспитанница рассматривает цветы, показывает их кормилице, делает в земле ямки и бросает туда семена... Кормилица подметает дорожки... Хотя эта девушка чиста, как ангел, в ее груди дремлет росток любви, нежный, как утренняя дымка.

— К кому? — спросил доктор, поскольку все предшествующее вполне мог рассказать человек, не имеющий ничего общего с сомнамбулами; доктор по-прежнему считал, что имеет дело с мошенниками.

— Вы об этом ничего не знаете, хотя недавно, когда она стала взрослой, очень тревожились, — сказала спящая с улыбкой. — Сердце ее пробудилось вслед за естеством...

— И это говорит женщина из простонародья? — вскричал старый доктор.

— В этом состоянии все они изъясняются отменно чисто, — ответил Бувар.

— Но в кого же влюблена Урсула?

— Урсула не знает, что влюблена, — женщина легонько покачала головой, — она слишком целомудренна, чтобы испытывать желание или что-либо подобное, но она занята своим избранником, она думает о нем и упрекает себя за это, но сколько ни гонит эти мысли, они возвращаются вновь и вновь... Она сидит за фортепьяно...

— Но кто же он?

— Сын дамы, живущей напротив..

— Госпожи де Портандюэр?

— Вы говорите Портандюэр, — повторила сомнамбула, — пусть будет так. Но не тревожьтесь, он теперь в отъезде.

— Они говорили друг с другом? — спросил доктор.

— Ни разу. Они смотрели друг на друга. Он ее очаровал. Он в самом деле хорош собой, у него доброе сердце. Она видела его из окна, потом они виделись в церкви; но юноша уже забыл о ней.

— Как его зовут?

— О, чтобы сказать вам имя, я должна его прочесть или услышать. Его зовут Савиньен, она только что произнесла его имя; ей кажется, что оно звучит восхитительно; она уже нашла в календаре день его ангела и поставила рядом маленькую точку красными чернилами... — ребячество! Она будет любить по-настоящему, и любовь ее будет столь же чиста, сколь и сильна; такая девушка, если полюбит, то на всю жизнь; любовь переполнит ее душу и проникнет так глубоко, что не оставит места для других чувств

— Откуда вы это знаете?

— Я прочла это в ее сердце. Она умеет переносить страдания; это неудивительно: ведь ее отец и мать много страдали!

Последняя фраза ошеломила доктора, который до сих пор был скорее удивлен, нежели поколеблен в своих убеждениях. Нелишне будет отметить, что после каждой фразы женщина замолкала минут на десять — пятнадцать, все сильнее и сильнее напрягая внимание. Можно было увидеть, как она видит! Лицо ее менялось причудливым образом: оно выражало внутреннюю сосредоточенность, черты его то светлели, то содрогались под действием силы, которую Миноре прежде встречал лишь у умирающих, обретавших в последние мгновения жизни дар пророчества. Несколько раз сомнамбула повторила жесты Урсулы.

— Расспросите ее, расспросите, — сказал таинственный незнакомец доктору, — вы увидите, что она знает тайны, которых вы никому не раскрывали.

— Любит меня Урсула? — спросил доктор.

— Почти так же сильно, как Господа, — отвечала ясновидица с улыбкой. — Поэтому ее так огорчает ваше безбожие. Вы не верите в Бога — но разве это мешает ему существовать! Слово его владычествует во вселенной! Ваше неверие — единственное, что омрачает жизнь бедной девочки. Послушайте! она принялась за гаммы; она хочет играть еще лучше, она недовольна собой. Вот что она думает: «Как бы мне хотелось иметь красивый голос и научиться хорошо петь; тогда в следующий свой приезд домой он обязательно услышал бы мое пение».

Доктор Миноре вынул лист бумаги и записал точное время.

— Можете вы мне сказать, какие семена она посеяла?

— Резеду, душистый горошек, бальзамин...

— А в последний горшок?

— Живокость.

— Где хранятся мои деньги?

— У вашего нотариуса, но вы регулярно вкладываете доходы в казну, чтобы не лишиться процентов.

— Верно; но где я храню деньги на текущие расходы у себя в Немуре?

— В большой книге в красном переплете; на ней написано «Пандекты Юстиниана»; деньги лежат во втором томе, между последней и предпоследней страницами; книга стоит над застекленным буфетом, там целая полка таких фолиантов. Нужный том находится с краю, около двери в гостиную. Смотрите-ка: третий том стоит перед вторым. Только это не серебро, это...

— Тысячефранковые банковские билеты? — спросил доктор.

— Я плохо вижу, они сложены. Нет, там два билета по пятьсот франков.

— Вы их видите?

— Да.

— Как они выглядят?

— Один очень старый, пожелтевший, другой беленький, почти совсем новый.

Конец беседы сразил Миноре. Он тупо уставился на Буvara, но Бувар и последователь Сведенборга, привыкшие к изумлению маловеров, беседовали вполголоса, не выказывая ни удивления, ни интереса; Миноре попросил у них позволения удалиться и вернуться после обеда. Противник Месмерова учения хотел отдохнуть, оправиться от глубочайшего ужаса, прежде чем снова ощутить на себе действие этой великой силы и подвергнуть ее окончательному испытанию, задав ясновидице такие вопросы, ответы на которые рассеяли бы его последние сомнения.

— Приходите в девять вечера, — сказал незнакомец, — я вернусь сюда ради вас.

Доктор Миноре был настолько потрясен, что вышел не попрощавшись; за ним последовал Бувар, крича вдогонку: «Ну что? Ну что?»

— Мне кажется, что я схожу с ума, — ответил Миноре, остановившись у ворот. — Если эта колдунья говорит правду об Урсуле, а того, что она мне открыла, не знает в целом свете никто, кроме Урсулы, тогда, выходит, ты прав. Мне хотелось бы на крыльях перелететь в Немур, чтобы проверить, правдив ли ее рассказ. Но я найму карету и уеду в десять вечера. О! я теряю голову.

— А что случилось бы с тобой, если бы твой давний знакомый, многие годы страдавший неизлечимой болезнью, на твоих глазах был исцелен в несколько секунд?! А если бы ты увидел, как по воле этого великого магнетизера с человека, покрытого лишаями, ручьями льется пот[110], а разбитая параличом куртизанка вновь начинает ходить?

— Пообедаем вместе, Бувар, я не хочу расставаться с тобой. Мне нужно окончательное, неопровержимое доказательство.

— Согласен, — отвечал месмерист.

Примирившиеся противники отправились обедать в Па-ле-Руаяль. В конце оживленной беседы, с помощью которой Миноре пытался заглушить лихорадочную работу мысли, Бувар сказал ему: «Если ты признаешь за этой женщиной способность уничтожать или преодолевать пространство, если ты веришь, что, находясь возле церкви Успения Богородицы, она видит и слышит все, что делается и говорится в Немуре, ты обязан признать и другие проявления магнетизма, столь же невероятные с точки зрения скептика. Так потребуй же от нее доказательство, которое убедит тебя окончательно; все прочие сведения мы могли раздобыть сами, но мы не можем знать заранее, например, что будет происходить сегодня в девять вечера у тебя дома, в комнате твоей воспитанницы; запомни или запиши все, что расскажет тебе сомнамбула, и поскорее возвращайся в Немур. Маленькая Урсула, о существовании которой я, кстати, даже не подозревал, не может быть нашей сообщницей, и если окажется, что она говорила и делала то, что у тебя записано, — тогда смиришься, гордый сикамбр![111]»

Друзья вернулись в ту же комнату; сомнамбула по-прежнему сидела в кресле и не узнала доктора Миноре. Когда последователь Сведенборга, не дотрагиваясь до нее, простер руку над ее головой, глаза ее медленно закрылись и она вновь пришла в то состояние, в каком

находилась до обеда. Когда руки женщины и доктора соединились, доктор попросил ее рассказать, что происходит сейчас в Немуре, у него дома.

— Что делает Урсула? — спросил он

— Она разделась, накрутила волосы на папильотки и стоит на коленях перед распятием из слоновой кости, висящим на красном бархате.

— Что она говорит?

— Она молится на ночь, вверяет себя Господу, просит избавить ее душу от дурных помыслов; она прислушивается к голосу своей совести и вспоминает, не погрешила ли за прошедший день против велений долга и церкви. Словом, она выискивает в себе недостатки, бедный ангелочек! — глаза сомнамбулы наполнились слезами. — Она не совершила ничего греховного, но упрекает себя в том, что слишком много думала о господине Савиньене. Она отвлекается, пытаясь угадать, что господин Савиньен делает в Париже, а потом молит Бога даровать ему счастье. Под конец она молится вслух — за вас.

— Можете вы повторить ее молитву?

— Да.

Миноре взял карандаш и под диктовку сомнамбулы записал следующую молитву, сочиненную скорее всего аббатом Шапроном:

«Господи, если ты доволен своей рабой, которая поклоняется тебе и молит тебя с любовью и рвением, которая старается чтить твои святые заповеди, которая с радостью умерла бы, подобно Сыну твоему, во славу имени твоего и желала бы жить под сенью твоею — Господи, ты, что читаешь в сердцах, окажи мне милость и раскрой глаза моего крестного, направь его на путь спасения, осени своею благодатью, дабы на закате жизни он уверовал в тебя; сохрани его от всякого зла и дозвожь мне пострадать за него! Милосердная святая Урсула, моя заступница, и ты, богоматерь, царица небесная, и вы, архангелы и святые в раю, услышьте меня, помогите мне и смилуйтесь над нами».

Сомнамбула так верно воспроизвела простодушный и благочестивый порыв девочки, что у доктора Миноре навернулись на глаза слезы.

— Говорит она еще что-нибудь? — спросил Миноре.

— Да.

— Что именно?

— «Милый мой крестный! с кем же он играет в триктрак там, в Париже?» Она задувает свечу, опускает голову на подушку и засыпает. Уже заснула. Такая хорошенькая в ночном чепчике.

Миноре откланялся, пожал на прощанье руку Бувару, быстро спустился по лестнице, бросился к стоянке городских кабриолетов, располагавшейся возле гостиницы (ныне ее уже не существует), на том месте, где теперь проложили Алжирскую улицу, и отыскал возницу, который согласился немедленно отправиться в Фонтенбло. Условившись о цене, старик, забывший о своих преклонных годах, тотчас двинулся в путь. В Эссоне они нагнали немурский дилижанс, доктор, как и было уговорено, пересел в него, и около пяти утра был уже дома. Он лег спать и проспал до девяти — так сильно он устал; все его прежние представления о физиологии, природе и метафизике были разбиты в пух и прах.

Уверенный, что с тех пор, как он вернулся, никто не переступал порога его дома, он сразу по пробуждении с замиранием сердца приступил к проверке. Он сам не помнил, в каком порядке

стоят у него тома «Пандектов» и чем отличаются один от другого вложенные туда банковские билеты. Сомнамбула оказалась права. Доктор позвонил; явилась тетушка Буживаль.

— Скажите Урсуле, что я хочу поговорить с ней, — сказал он.

Урсула, войдя в библиотеку, бросилась к крестному и обняла его; доктор усадил ее к себе на колени, и прекрасные золотистые кудри девочки смешались с седыми волосами старца.

— Вы что-то хотели сказать мне, крестный?

— Да, но поклянись мне своим спасением отвечать на все вопросы честно, без утайки.

Урсула покраснела до корней волос

— О! я не стану спрашивать у тебя ничего такого, о чем бы ты не могла мне рассказать, — добавил он, заметив в прекрасных, чистых глазах Урсулы смятение первой любви.

— Говорите, крестный.

— Чем ты окончила вчерашнюю вечернюю молитву и в котором часу это было?

— В четверть или в полдесятого.

— Хорошо; можешь ты повторить последние слова этой молитвы?

Надеясь, что ей удастся поколебать безбожника, девочка опустилась на колени и молитвенно сложила руки; лицо ее озарилось внутренним светом, она взглянула на старика и сказала: «Вчера я просила Господа о том же, о чем просила сегодня утром и о чем буду просить до тех пор, пока он не исполнит мою просьбу».

Она начала молиться, и голос ее звучал теперь с новой силой, но, к ее изумлению, крестный не дал ей договорить и сам докончил ее молитву.

— Спасибо, Урсула! — сказал он, снова сажая ее к себе на колени. — Теперь скажи: уже в постели, перед тем как заснуть, не подумала ли ты: «Милый крестный! С кем же он играет в триктрак там, в Париже?»

Урсула вскочила, словно при звуке трубы архангела, возвещающей начало Страшного суда; вскрикнув, она впилась в старика круглыми от ужаса глазами.

— Кто вы, крестный? Откуда у вас такое могущество? — спросила она; зная, что доктор не верит в Бога, она решила, что он вступил в сговор с посланцем ада.

— Что ты посеяла вчера в саду?

— Резеду, душистый горошек, бальзамины.

— А в последний горшок живокость?

Девочка упала на колени.

— Не пугайте меня, крестный; признайтесь — вы были здесь?

— Разве я не всегда с тобой? — спросил доктор шутливо, чтобы не смущать разум невинного ребенка. — Поднимемся к тебе.

Он дал ей руку, и они вместе поднялись на второй этаж.

— Друг мой, у вас дрожат ноги, — сказала Урсула.

— Да, я пережил большое потрясение.

— Так вы теперь верите в Бога? — воскликнула девочка с простодушной радостью, и на глазах у нее показались слезы.

Старик обвел взглядом комнату Урсулы, которую он обставил просто, но изящно. Пол был устлан недорогим зеленым ковром, на котором не было ни пылинки; стены оклеены серо-голубыми обоями в мелкий цветочек, на окнах, выходящих во двор, висели ситцевые занавески с розовой каймой, между двумя оконными проемами, под высоким зеркалом на позолоченной деревянной консоли стояла голубая ваза сервского фарфора; напротив камина помещался небольшой комод с прелестным набором маркетри; крышка его была из алеппского мрамора. Кровать под балдахином, обитая старым кретоном и под покрывалом из такого же кретоном с розовым подбоем, была сделана по моде XVIII столетия: четыре небольшие колонны с каннелюрами, возвышавшиеся по углам, завершались капителями в виде пучка перьев. Камин, облицованный мрамором, украшавшие его канделябры и зеркало в раме, расписанной гризайлью, отличались единством манеры и цветовой гаммы. На камине красовались старинные часы — настоящий черепаховый дворец, инкрустированный арабесками из слоновой кости. Большой шкаф, створки которого были украшены пейзажами, выложенными из разных пород дерева — здесь попадались даже зеленоватые оттенки, каких ныне уже не встретишь, — предназначался, без сомнения, для белья и платьев девочки. Комната благоухала неземными ароматами. Царивший в ней порядок свидетельствовал о том, что ее обительница наделена аккуратностью и чувством гармонии, которое заметил бы даже такой грубый человек, как Миноре-Левро. Особенно бросалось в глаза, что Урсуле дороги окружающие ее вещи и что она любит свою комнату, где, можно сказать, прошло ее детство и отрочество. Подойдя к окну, опекун убедился, что из комнаты его воспитанницы в самом деле можно увидеть, что происходит в доме госпожи де Портандюэр. Ночью он долго думал о том, как следует ему держать себя с Урсулой теперь, когда он оказался посвящен в тайну ее первой любви. Прямые расспросы уронили бы его в глазах девушки. Одобрил бы он ее чувство или осудил бы его — в любом случае он поставил бы себя в ложное положение. Поэтому он решил вначале понаблюдать за молодыми людьми и лишь затем попытаться, буде в том появится нужда, побороть эту склонность прежде, чем она сделается неодолимой. Только старый человек мог принять столь мудрое решение. Изнемогая под тяжестью истин, открывшихся ему во время магнетического сеанса, доктор ходил по комнате Урсулы из угла в угол, всматриваясь в разные мелочи; ему необходимо было взглянуть на календарь, висевший сбоку на камине.

«Эти мерзкие канделябры слишком тяжелы для твоих прелестных лапок», — сказал он, взяв в руки мраморные, с медной отделкой, подсвечники и прикинув их вес. Затем он посмотрел на календарь, снял его с камина и сказал: «Эта штука тоже довольно безобразна. К чему в твоей уютной комнатке этот почтарский календарь?»

— О, не забирайте его, крестный! — взмолилась Урсула.

— Нет, я завтра подарю тебе другой.

Старик ушел, унося с собой вещественное доказательство, заперся в своем кабинете, нашел 19 октября — день Святого Савиньена — и увидел рядом с этой датой маленькую красную точку, о которой говорила сомнамбула; такая же точка стояла рядом с днем Святого Дени — патрона доктора, и днем Святого Иоанна — патрона кюре. Эту точку величиной с булавочную головку спящая женщина разглядела, презрев расстояния и преграды. До самого вечера старик размышлял о событиях, свидетелем которых стал, — для него они значили гораздо больше, чем для любого другого человека. Приходилось смириться с очевидностью. Душа Миноре уподобилась разрушенной крепости — ведь существование его покоилось прежде на

двух столпах: неверии и отрицании магнетизма. Доказав, что, хотя органы чувств подчиняются физическим законам, возможности их в некотором роде беспредельны, магнетизм разрушил — так, во всяком случае, казалось доктору Миноре — вескую аргументацию Спинозы[112]: конечное и бесконечное, две субстанции, которые этот великий мыслитель полагал взаимоисключающими, слились воедино. Как ни безоглядно верил доктор в делимость и подвижность материи, он не мог признать за ней свойств едва ли не божественных. Наконец, он был слишком стар, чтобы связать эти явления в систему, сопоставить их с такими феноменами, как сны, видения, озарения. Вся премудрость доктора, жиздившаяся на положениях школы Локка и Кондильяка, рассыпалась в прах. Убедившись в том, что его кумиры — дутые величины, безбожник усомнился в справедливости своих убеждений. И так, все преимущества в этой борьбе юной католички со старым вольтерьянцем оказались на стороне Урсулы. Над развалинами крепости воссиял свет. Из-под обломков донесли слова молитвы! Тем не менее упрямый старец гнал сомнения прочь. Уязвленный в самое сердце, он, однако, не желал смириться и по-прежнему боролся с Богом. Все же дух его дрогнул. Доктор был уже не тот, что прежде, он впал в задумчивость и принялся читать «Мысли» Паскаля и величественную «Историю протестантских ересей» Боссюэ, книги Бональда и Блаженного Августина; захотелось ему заглянуть и в сочинения Сведенборга и покойного Сен-Мартена[113], о которых говорил ему таинственный незнакомец. Здание, воздвигнутое доктором на основе материализма, трещало по всем швам, достаточно было лишь небольшого толчка, чтобы оно рухнуло, и когда сердце бывшего атеиста созрело для Господа, он пал на небесную пажить, как падает спелое зерно. Не раз, играя в триктрак с аббатом Шапроном и Урсулой, он задавал вопросы, удивлявшие кюре, — ведь старый священник знал убеждения доктора и еще не подозревал о совершившейся в его душе работе, посредством которой Господь наставлял этот прекрасный ум на путь истинный.

— Верите ли вы в привидения? — спросил безбожник у пастыря, прервав игру.

— Кардано[114], великий философ XVI столетия, утверждал, что они существуют.

— То, что говорят ученые, мне известно, я только что перечел Плотина[115]. Я спрашиваю вас как католика, я хочу знать, верите ли вы сами, что покойник может явиться живым людям.

— Но ведь Иисус явился апостолам после смерти, — отвечал кюре. — Церковь обязана верить в явления нашего Спасителя. Что же до чудес, то у нас нет в них недостатка, — продолжал аббат Шапрон с улыбкой. — Хотите, я расскажу вам об одном, совсем недавнем? Оно случилось в прошлом столетии.

— Неужто?

— Да, блаженный Альфонс Мария де Лигуори[116], находясь вдали от Рима, узнал о кончине папы в ту самую минуту, когда Святой отец испустил дух, и тому есть много свидетелей. На епископа снизошла благодать, он услышал последние слова папы и повторил их в присутствии нескольких очевидцев. Гонец с известием о кончине Климента XIV[117] прибыл лишь тридцать часов спустя...

— Иезуит! — улыбнулся старый Миноре. — Я не прошу у вас доказательств, я прошу вас сказать, верите ли в это вы сами.

— Я полагаю, что привидения во многом зависят от тех, кому они являются, — сказал кюре, продолжая подтрунивать над безбожником.

— Друг мой, не бойтесь меня, ответьте откровенно: вы в это верите?

— Я верю в то, что могущество Господне безгранично.

— Если я вернусь в лоно церкви, то, когда умру, попрошу у Господа позволения явиться вам,
— засмеялся доктор.

— Точно о том же уговорился Кардано с одним своим другом.

— Урсула, — сказал Миноре, — если тебе будет грозить опасность, позови меня — и я приду.

— Вы пересказали в двух словах трогательную элегию Андре Шенье «Неера»[118], — отвечал кюре. — Величие поэтов в том и состоит, что они умеют запечатлеть события и чувства в вечно живых образах.

— Зачем вы говорите о смерти, дорогой крестный? — жалобно сказала Урсула. — Мы, христиане, не умираем, могила — колыбель нашей души.

— Однако, — сказал доктор, улыбаясь, — рано или поздно каждому приходит черед покинуть этот мир, и когда меня не станет, ты будешь на удивление богатой.

— Когда вас не станет, мой добрый друг, единственным моим утешением будет служение вам.

— Мне, мертвому?

— Да. Все добрые дела, которые будут мне по силам, я совершу ради вас — ради того, чтобы искупить ваши грехи. Я буду денно и нощно молить Бога, чтобы он в бесконечном милосердии своем не карал вечными муками кратковременные заблуждения и поместил подле себя, среди блаженных душ, вашу душу — такую прекрасную и чистую.

Ответ этот, исполненный ангельского простодушия и произнесенный без тени сомнения, одолел заблуждение, и Дени Миноре прозрел, подобно апостолу Павлу. Луч света, озаривший его душу, ослепил его и, вкупе с нежной заботой о его загробном существовании, исторг у него слезы. Внезапно снизошедшая благодать была подобна электрической искре. Кюре молитвенно сложил руки и поднялся, охваченный волнением. Девочка, пораженная своей победой, заплакала. Старец встал, словно услышав чей-то зов, посмотрел вдаль, словно там загоралась новая заря, потом преклонил колена на кресло, сложил руки для молитвы и с видом глубокого смирения опустил очи долу. Затем он поднял голову и взволнованно произнес:

— Господи! только этому непорочному созданию под силу вымолить мне прощение и вернуть меня к Тебе! Прости раскаявшемуся грешнику, которого приводит пред очи твои это благороднее дитя!

Мысленно он обратил к Богу молитву, прося теперь, когда на него снизошла благодать божья, довершить начатое и вслед за душою просветить его ум, а затем повернулся к кюре и протянул ему руку со словами:

— Дорогой пастырь, я теперь как дитя малое; отныне я ваш и вверяю вам свою душу.

Урсула, плача от радости, осыпала руку крестного поцелуями. Старик посадил девочку к себе на колени и шутливо заметил, что теперь ее следует называть его крестною. Вконец растроганный кюре в порыве религиозного воодушевления пропел «Veni creator»[119], и гимн этот стал вечерней молитвой трех коленапреклоненных христиан.

— Что случилось? — в изумлении спросила тетушка Буживаль.

— Крестный наконец-то уверовал в Бога, — отвечала Урсула.

— Ах, право слово, так-то лучше, ему этого одного и не хватало для полного совершенства, — воскликнула старая служанка, с простодушной серьезностью осенив себя крестным знаменем.

— Дорогой доктор, — сказал добрый священник, — скоро вы осознаете величие религии и необходимость соблюдать ее обряды, поймете, что ее философия в своей человечности гораздо более возвышенна, чем идеи самых дерзких мечтателей.

Кюре, радовавшийся как дитя, тотчас дал согласие дважды в неделю учить старика катехизису. Так что обращение доктора Миноре, которое немурцы приписывали влиянию Урсулы и корыстолюбию священника, произошло само собой. Четырнадцать лет кюре остерегался бередить душевные раны своего друга, хотя искренне скорбел о его участи, ныне же старый Миноре сам обратился к священнику за помощью, как обращается больной к хирургу. С тех пор Урсула и ее крестный вместе читали вечернюю молитву. С каждым днем старец все яснее ощущал, как на его смятенную душу нисходит покой. С тех пор как он, по его словам, возложил ответственность за все необъяснимое на Бога, ничто более не тревожило его ум. Возлюбленная его крестница видела в этом верное доказательство приближения к Господу. Во время обедни, с рассказа о которой мы начали наше повествование, он прочел молитвы и постиг их смысл, ибо уже в первой духовной беседе возвысился до понимания божественной идеи причащения всех верующих. Престарелый неопит понял вечное символическое значение этой небесной пищи, необходимой всякому, кто проник в ее глубинный светозарный смысл. Если после обедни он едва ли не бегом бросился домой, то лишь оттого, что ему хотелось поскорее поблагодарить свою дорогую крестницу за то, что она, как прекрасно говорили в старину, вернула его в лоно церкви. Поэтому дома он усадил ее к себе на колени и благоговейно поцеловал в лоб в ту самую минуту, когда его родственники и наследники осыпали девушку грубой бранью и делились друг с другом подлыми подозрениями на ее счет. Поспешный уход старика с площади, его мнимое презрение к ближним, его резкие ответы родственникам — все это наследники приписывали ненависти, которую якобы разжигала в его душе Урсула.

Пока крестница играла своему крестному вариации на тему «Последней мысли» Вебера[120], в столовой почтмейстера созревал самый настоящий заговор, которому суждено было вывести на сцену одного из главных героев начинающейся драмы. Завтрак, шумный, как все провинциальные завтраки, и оживленный присутствием на столе превосходных вин, которые прибывают в Немур водным путем либо из Бургундии, либо из Турени, продолжался более двух часов. В честь приезда Дезире Зелия выписала устрицы, морскую рыбу и другие деликатесы. Столовая, посреди которой ломился от еды круглый стол, походила на залу в трактире. Располагалась она в просторном флигеле, который Зелия, любительница хозяйственных построек, возвела между широким двором и фруктовым садом, где у нее был также разбит и огород. Зелия ценила чистоту и прочность, не гонясь за красотой. Пример Левро-Левро подействовал на немурцев устрашающе. Поэтому почтмейстерша велела подрядчику строить «без глупостей». Столовая у нее была оклеена глянцевыми обоями, стулья и буфеты были из орехового дерева, а все украшения сводились к изразцовой печи, стенным часам и барометру[121]. Сервиз был самый заурядный, без росписи, зато приборы — серебряные, а столовое белье сверкало чистотой. Когда Зелия, державшая из прислуги одну только кухарку и сновавшая туда-сюда, как пузырек в бутылке шампанского, подала кофе, когда будущий адвокат Дезире был посвящен в утреннее происшествие и его возможные последствия, Зелия заперла дверь и слово было дано Дионису. По внезапно наступившему молчанию и по взглядам наследников, впившихся глазами в уверенное лицо нотариуса, нетрудно было понять, какую власть над семьями забирают такого рода люди.

— Дети мои, — сказал он, — ваш дядюшка родился в 1746 году, сейчас ему восемьдесят три года; между тем старики нередко выживают из ума, и эта...

— Змея подколотная, — воскликнула госпожа Массен.

— Мерзавка! — крикнула Зелия.

— Давайте будем называть ее по имени, — возразил Дионис.

— Имя ей — воровка, — сказала госпожа Кремьер.

— Очень хорошенькая воровка, — вставил Дезире Миноре.

— Эта маленькая Урсула, — продолжал Дионис, — обворожила его. Все вы — мои клиенты, и, действуя в ваших интересах, я уже давно навел справки; вот что мне удалось выяснить об этой юной...

— Хищнице! — воскликнул сборщик налогов.

— Похитительнице наследства! — сказал секретарь мирового суда.

— Спокойнее, друзья мои, — сказал нотариус, — не то я возьму шляпу и откланяюсь.

— Ладно, старина, — сказал Миноре, подавая ему стаканчик, — выпейте рома... он напрямиком из Рима. И вперед! — плачу двойные прогоны.

— Урсула, конечно, законная дочь Жозефа Мируэ, но отец ее — побочный сын Валентина Мируэ, тестя вашего дяди. Следовательно, Урсула приходится доктору Дени Миноре побочной племянницей. А раз она побочная племянница, то завещание, которое составит в ее пользу доктор, может быть опротестовано, и если он откажет ей свое состояние, вы сможете подать на нее в суд; процесс для вас очень невыгоден, поскольку Урсула может утверждать, что вовсе не состоит с доктором в родстве, однако беззащитную девушку такой процесс испугает, и вы сможете добиться полюбовного соглашения.

— Закон о побочных детях так строг, — вставил свежее испеченный правовед, сгоравший от желания блеснуть своими познаниями, — что, по постановлению кассационного суда от 7 июля 1817 года, побочный ребенок не вправе требовать от своего побочного родителя даже пропитания. Из чего следует, что понятие родства применительно к незаконнорожденному ребенку трактуется законом очень широко. Закон преследует даже законных потомков незаконнорожденных детей, ибо исходит из того, что, получая наследство, внуки выступают посредниками своих незаконнорожденных отцов. Это следует из статей 757, 908 и 911 Гражданского кодекса, рассмотренных совокупно. Поэтому Парижский королевский суд 26 декабря прошлого года ограничил право завещателей отказывать имущество законным детям их побочных сыновей; меж тем завещатели эти — не родители, а всего лишь дедушки своим побочным внукам, и, следовательно, являются по отношению к ним такими же посторонними лицами, как доктор по отношению к Урсуле.

— Все это, — возразил Гупиль, — касается, по-моему, только прав побочных внуков на имущество их дедов и вовсе не касается дядьев, которые, на мой взгляд, не связаны никакими узами родства с законными детьми своих побочных шуринов. Урсула не родственница доктору Миноре. Я вспоминаю решение Кольмарского королевского суда, принятое в 1825 году, как раз когда я кончал курс права; суд постановил тогда, что если побочный ребенок умер, его потомки не могут считаться посредниками в отношении наследства. А ведь отца Урсулы нет в живых.

Доводы Гупиля произвели то, что в отчетах о заседаниях Палаты журналисты именуют глубоким потрясением.

— И что это означает? — воскликнул Дионис. — Только одно: что суду еще никогда не доводилось решать дело о завещании, написанном дядей в пользу побочной племянницы, но стоит ему заняться таким делом, и строгость французского законодательства о побочных

детях сослужит нам добрую службу — тем более что судьи нынче — люди богобоязненные. Поэтому я ручаюсь, что Урсула очень скоро согласится на выгодное для вас полюбовное соглашение, особенно если пригрозить ей кассационным судом.

Ощутив себя владельцами кучи золота, наследники заулыбались, зашевелились, замахали руками и не заметили, что Гупиль неодобрительно качает головой. Однако стоило Дионису произнести страшное слово «Но!..» — и встревоженные наследники замолчали, как по команде. Словно марионетки, послушные воле дергающего за нитки комедианта, все они обернулись и впились глазами в нотариуса.

— Но никакой закон не может помешать вашему дядюшке удочерить Урсулу или жениться на ней, — продолжал Дионис. — Удочерение вы можете опротестовать и, я думаю, выиграете дело: королевский суд не любит шутить с удочерениями и примет вашу сторону. Конечно, доктор — кавалер ордена Святого Михаила, офицер Почетного легиона и бывший лейб-медик, но все это ему не поможет. Другое дело женитьба, которую к тому же нетрудно утаить от чужих глаз. Старикан достаточно хитер, чтобы уехать в Париж, прожить там год и обвенчаться, указав в брачном контракте, что за невестой получен миллион приданого. Итак, единственное, чего вам следует опасаться, — это женитьбы доктора.

Тут нотариус сделал паузу.

— Есть и другая опасность, — снова вмешался Гупиль с видом знатока, — доктор может отказать все свое состояние третьему лицу, например папаше Бонграну, подписав фидеикомисс[122] в пользу мадемуазель Урсулы Мируэ.

— Если вы будете докучать дядюшке, — перебил Дионис своего первого клерка, — если вы не будете отменно ласковы с его Урсулой, то он женится либо прибегнет к фидеикомиссу, о котором толкует Гупиль; не думаю, впрочем, что он на это пойдет: фидеикомисс — штука опасная. Что до женитьбы, то ее легко предотвратить. Стоит только Дезире самую малость приударить за девчонкой, и она уже, конечно, предпочтет старику очаровательного юношу, гордость всего Немура.

— Матушка, — шепнул Зелии ее сын, прельщенный столько же суммой приданого, сколько и красотой Урсулы, — если я женюсь на ней, все деньги будут наши.

— Ты что, спятил? Ты, у которого будет пятьдесят тысяч ливров годового дохода, ты, который должен стать депутатом! Пока я жива, я не дам тебе связаться с кем попало и загубить свою карьеру! Семьсот тысяч франков?.. Было б о чем говорить. Единственная дочь господина мэра будет иметь пятьдесят тысяч в год, а он ко мне уже подъезжал насчет свадьбы...

Слова матери, впервые в жизни говорившей с ним резко, лишили Дезире всякой надежды на брак с прекрасной Эстер[123] — он знал, что ни ему, ни отцу не под силу нарушить волю Зелии, читавшуюся в ее страшных голубых глазах.

— Но скажите-ка, господин Дионис, — воскликнул Кремьер, которого жена толкала локтем в бок, — а если доктор примет все за чистую монету и выдаст свою воспитанницу за Дезире, дав ей в приданое все свое состояние, — тогда прощай наше наследство?! А ведь у дядюшки, если он проживет еще пять лет, будет целый миллион.

— Никогда, — закричала Зелия, — никогда и ни за что я не потерплю, чтобы Дезире женился на дочери ублюдка, на девчонке, взятой в дом из милости, подобранной на улице! Черт подери! После смерти дяди мой сын будет главой рода Миноре, а Миноре принадлежат к пятисотлетней буржуазии. Это стоит дворянства. Будьте покойны: Дезире женится только после того, как мы выясним, какая карьера светит ему в Палате депутатов.

Эта надменная речь встретила поддержку Гупиля, который сказал: «С двадцатью четырьмя

тысячами ливров дохода Дезире делается либо председателем Королевского суда, либо главным прокурором; а там, глядишь, и пэром; неравный брак его погубит».

Тут наследники так загалдели, что Миноре пришлось стукнуть кулаком по столу, чтобы они замолчали и нотариус смог продолжать.

— Дядюшка ваш человек честный и порядочный, — сказал Дионис. — Он мнит себя бессмертным и, как все ученые, умрет, не оставив завещания. Итак, самое важное сейчас, по-моему, вынудить доктора поместить капитал так, чтобы он не уплыл от вас после его смерти. Такая возможность имеется. Молодой Портандюэр сидит в Сент-Пелажи — у него сто с чем-то тысяч франков долга. Старуха мать знает, что он в тюрьме, плачет горючими слезами и сегодня ждет к обеду аббата Шапрона — конечно, для того, чтобы поделиться с ним своей бедой. Так вот, сегодня вечером я попытаюсь уговорить вашего дядюшку продать консолидированную пятипроцентную ренту[124], которая сейчас идет по сто восемнадцать франков, и одолжить госпоже де Портандюэр под залог ее дома и Бордьерской фермы сумму, необходимую для спасения блудного сына. В том, что я ходатайствую за этого юного шалопаю Портандюэра, нет ничего подозрительного: если дело выгорит, я могу заработать на совершении купчих, на закладных и прочих документах. Я постараюсь войти в доверие к доктору и убедить его приобрести на оставшиеся деньги земли — у меня есть на примете прекрасные участки. Состоянием, вложенным в земли или отданным займы под залог недвижимого имущества, не так-то легко распорядиться. Между желанием обратить его в деньги и осуществлением этого желания можно воздвигнуть множество препятствий.

Пораженные справедливостью этих умозаключений, достойных господина Жосса[125], наследники одобрительно перешептывались.

— Итак, — сказал нотариус в заключение, — живите дружно, старайтесь, чтобы дядюшка ваш не уехал из Немура, — он привык к здешней жизни, а вам это на руку: удобнее приглядывать за ним. А подыскав девчонке любовника, вы сможете не бояться женитьбы...

— А если она все-таки выйдет замуж? — спросил Гупиль, в чьей голове родился честолюбивый замысел.

— Ничего страшного — по крайней мере вы точно оцените свои убытки, узнав, какое приданое даст за Урсулой старикан, — отвечал нотариус. — Но если вы напустите на нее Дезире, можно будет потянуть время до смерти старика. Не всяк жених, кто присватался.

— Доктор ведь может прожить еще долго, — сказал Гупиль, — не проще ли выдать девчонку за какого-нибудь толкового парня, который за сто тысяч франков избавит вас от нее и поселится с ней где-нибудь в Сансе, Монтаржи или Орлеане?

Дионис, Массен, Зелия и Гупиль — самые сообразительные из всех собравшихся — многозначительно переглянулись.

— Пусти козла в огород, — шепнула Зелия Массену.

— Кто его сюда звал? — спросил в ответ секретарь.

— Неплохо придумано, — вскричал Дезире, — но ведь ты же не умеешь вести себя прилично, ты не сможешь понравиться старику и его воспитаннице!

— Да у тебя, парень, губа не дура, — сказал почтмейстер, до которого наконец дошло, куда метит Гупиль.

Эта грубая шутка имела бешеный успех. Но старший клерк обвел насмешников таким зловещим взглядом, что они тотчас замолчали.

— Нынче нотариусы пекутся только о себе, — сказала Зелия на ухо Массену. — А вдруг Дионису выгоднее покажется выправлять бумаги Урсуле?

— Я в нем уверен, — ответил секретарь, с хитрецей взглянув на кузину. Он хотел добавить: «Потому что он у меня в руках!» — но сдержался. — Я совершенно согласен с Дионисом, — сказал он вслух.

— И я тоже, — воскликнула Зелия, хотя она и начала догадываться о тайном сговоре нотариуса и секретаря.

— Как моя жена, так и я, — заключил почтмейстер, потягивая вино, хотя физиономия его от всего съеденного и выпитого за завтраком и так уже налилась кровью.

— И прекрасно, — сказал сборщик налогов.

— В таком случае после обеда я иду к доктору! — спросил Дионис.

— Выходит, — сказала госпожа Кремьер госпоже Массен, — мы должны, как прежде, навещать дядюшку по воскресеньям и делать все, как сказал господин Дионис.

— Да, и сносить такое обхождение, как сегодня! — закричала Зелия. — В конце концов, у нас добрых сорок тысяч дохода, и мы ничем не хуже его, а он не желает отдавать нам визиты! Может, я не умею выписывать рецепты, но свое дело я знаю, будьте покойны!

Госпожа Массен была задета.

— А я вот не получаю в год сорока тысяч ливров и мне вовсе не улыбается терять десять тысяч, — сказала она.

— Мы его племянницы и будем за ним ухаживать, — вставила госпожа Кремьер, — мы все выясним, а вы, кузина, когда-нибудь скажете нам за это спасибо.

— Не обижайте Урсулу, старикан Жорди оставил ей свои сбережения! — сказал нотариус, погрозив им пальцем.

— Пойду разряжусь в пух и прах! — воскликнул Дезире.

— Вы ничем не уступаете Дерошу[126], самому ловкому парижскому стряпчему, — сказал своему патрону Гупиль, когда они покинули дом почтмейстера.

— А они все норовят поменьше нам заплатить! — с горькой усмешкой ответил нотариус.

Наследники шли следом; раскрасневшиеся после трапезы, они поравнялись с церковью как раз когда кончилась вечерня. Как и предсказывал нотариус, аббат Шапрон вел под руку госпожу де Портандюэр.

— Она и к вечерне его притащила, — воскликнула госпожа Массен, указывая госпоже Кремьер на Урсулу и ее крестного, выходявших из церкви.

— Давайте подойдем к ним, — сказала госпожа Кремьер.

После совещания у почтмейстера наследников будто подменили. Не понимая, в чем причина этой деланной любезности, доктор Миноре любопытства ради позволил Урсуле поговорить с родственницами; натужно улыбаясь, обе дамы принялись лебезить перед девушкой.

— Позвольте ли вы, дядюшка, навестить вас сегодня вечером? — спросила госпожа Кремьер. — Мы боимся вас стеснить, но наши сыновья уже так давно не свидетельствовали вам своего почтения, а дочери уже подросли и хотят познакомиться с милой Урсулой.

— Урсула вполне оправдывает свое имя, — отвечал доктор, — она дикарка[127].

— А мы ее приручим, — сказала госпожа Массен. — Кстати, дядюшка, — добавила она, ибо, будучи женщиной практичной, решила скрыть свои истинные намерения за соображением экономии, — мы слышали, что у вашей дорогой крестницы замечательные способности к музыке, и мечтаем послушать, как она играет. Мы с госпожой Кремьер подумываем о том, чтобы пригласить ее учителя к нашим девочкам; ведь если у него будет семь-восемь учениц, он, пожалуй, станет брать дешевле, и мы сможем позволить себе эту роскошь...

— Ничего не имею против, — отвечал старик, — тем более что я собираюсь выписать для Урсулы еще и учителя пения.

— Так до вечера, дядюшка, мы придем с вашим внучатым племянником Дезире, он теперь адвокат.

— До вечера, — отвечал Миноре, любопытствовавший узнать намерения этих мелких душонок.

Обе племянницы доктора с преувеличенной любезностью подали Урсуле руки и распрощались с ней.

— О, крестный, вы, должно быть, читаете мои мысли, — воскликнула Урсула, бросив на старика благодарный взгляд.

— У тебя неплохой голос, — отвечал он. — Я хочу пригласить к тебе еще учителей рисования и итальянского. Женщина, — продолжал доктор, открыв калитку и пристально взглянув на Урсулу, — должна получить такое воспитание, чтобы быть на высоте, какую бы партию она ни сделала.

Урсула залилась краской: опекун ее, казалось, намекал на юношу, о котором мечтала она сама. Чувствуя, что она вот-вот признается доктору в том, что питает невольную склонность к Савиньену и желает совершенствовать свои таланты лишь для того, чтобы понравиться ему, девушка прошла в глубь сада и села на скамейку; на фоне зелени издали она казалась бело-голубым цветком. Доктор подошел к скамейке.

— Видите, крестный, ваши племянницы очень добры ко мне; они были так любезны, — сказала Урсула, чтобы перевести разговор.

— Бедная девочка, — воскликнул старик.

Он взял Урсулу под руку и, похлопывая ее по ладошке, повел на берег реки, где никто не мог услышать их разговор.

— Почему вы говорите: «бедная девочка»?

— Неужели ты не видишь, что они боятся тебя?!

— Но отчего?

— Наследники всполошились из-за моего обращения, они, конечно, приписали его твоему влиянию и вообразили, что я лишу их наследства, чтобы побольше оставить тебе.

— Но ведь это неправда, верно?.. — простодушно воскликнула Урсула, взглянув на крестного.

— О божественная утеха моей старости! — сказал старик и, прижав к груди свою воспитанницу, расцеловал ее в обе щеки. — Ради нее, а не ради себя, Господи, молил я Тебя

нынче, чтобы Ты сохранил мне жизнь до тех пор, пока я не отыщу ей достойного спутника жизни. Ты увидишь, ангел мой, какую комедию разыграют здесь сегодня Миноре, Кремьеры и Массены. Ты хочешь украсить и продлить мою жизнь, а им нужно только одно: чтобы я поскорее умер.

— Господь не велит нам ненавидеть, но если это правда, тогда... тогда я их презираю... — отвечала Урсула.

— Обедать! — закричала с крыльца мамаша Буживаль.

Урсула и ее опекун заканчивали десерт, когда в прелестной столовой, украшенной китайскими лаковыми миниатюрами, разорившими Левро-Левро, появился мировой судья; доктор в знак особого расположения угостил его кофе, который он собственноручно готовил в серебряной кофеварке, так называемой кофеварке Шапталя, смешивая три сорта[128]: мокко, бурбонский и мартиникский.

— Ну что? — сказал Бонгран, поправив очки и лукаво взглянув на доктора. — Весь город бурлит, родственники ваши, увидев вас в церкви, потеряли покой. Только и слышно, что вы оставите состояние церковникам и беднякам. Да, взбудоражили вы своих наследников, нечего сказать. Я видел всю компанию на площади — они суетились, точно муравьи, у которых отняли их яйца.

— Что я тебе говорил, Урсула? — вскричал старик. — Мне больно огорчать тебя, дитя мое, но разве не должен я научить тебя разбираться в людях и предостеречь против ненависти, которую ты вовсе не заслужила!

— Я как раз хотел сказать вам об этом несколько слов, — подхватил Бонгран, воспользовавшийся случаем поговорить со старым другом о будущем Урсулы.

Мировой судья еще не успел снять шляпу, а доктор, чтобы не простудиться, покрыл седую голову черной бархатной шапочкой, и оба, прохаживаясь по саду над рекой, принялись обсуждать важный вопрос: как закрепить за Урсулой состояние, которое хотел бы оставить ей доктор. Мировой судья не хуже Диониса знал, что завещание доктора в пользу Урсулы может быть опротестовано; вопрос о наследстве Миноре волновал весь Немур, и городские юристы уже не раз обсуждали его.

Сам Бонгран прекрасно знал, что Урсула Мируэ не связана с доктором Миноре никакими родственными отношениями, но он знал также, что Гражданский кодекс охраняет семью от незаконных наследников. Конечно, его создатели предусмотрели лишь возможную слабость отцов и матерей к их незаконным детям, не подумав о том, что найдутся дядюшки и тетушки, которые перенесут любовь к побочному ребенку на его потомство. Но то был просто пробел в кодексе.

— Во всякой другой стране, — сказал Бонгран доктору, растолковав ему те параграфы закона, о которых Гупиль, Дионис и Дезире только что поведали наследникам, — Урсуле нечего было бы бояться; она законная дочь своих родителей, а неправомерность ее отца распространяется только на наследство Валентина Мируэ, вашего тестя; однако наши судейские, к несчастью, чересчур умны и дотошны, они вникают не только в букву, но в самый дух законов. Адвокаты заведут речь о нравственности и докажут, что если законодатели в простоте душевной забыли предусмотреть конкретный случай, то это ничего не значит; важно, что они сформулировали общее правило. Процесс будет длинным и разорительным. Зелия доведет дело до кассационного суда, а кто знает, буду ли я в то время еще жив.

— Процесс — это не самое страшное! — воскликнул доктор. — Я уже слышу речи в суде, посвященные «пределам неправомерности побочных детей в отношении наследства», да и вообще хороший адвокат на то и хороший, что может выиграть безнадежный процесс.

— Однако, — возразил Бонгран, — я не поручусь, что судейские не станут толковать закон расширительно, дабы взять под свою охрану брак — вечную основу общества[129].

Не раскрывая своих намерений, старик отверг фидеикомисс. А когда Бонгран предложил доктору жениться на Урсуле, чтобы узаконить передачу состояния, тот воскликнул:

— Бедная девочка! Я ведь могу прожить еще лет пятнадцать — что же с ней станет?

— Как же в таком случае вы намерены поступить? — спросил Бонгран.

— Я подумаю; там видно будет, — отвечал старый доктор, явно затрудняясь принять какое бы то ни было решение.

В эту минуту Урсула пришла сказать двум друзьям, что нотариус Дионис просит дозволения видеть доктора.

— А вот и Дионис. Так скоро?! — воскликнул Миноре, переглянувшись с Бонграном. — Хорошо, — сказал он Урсуле, — пусть войдет.

— Ставлю свои очки против спички, что он держит руку ваших наследников; он сегодня завтракал с ними у почтмейстера; наверняка они что-то затевают.

Урсула привела нотариуса в сад. После обмена приветствиями и несколькими незначущими фразами, Дионис изъявил желание поговорить с доктором наедине. Урсула и Бонгран ушли в гостиную.

«Я подумаю! Там видно будет!» — Бонгран мысленно повторял последние слова доктора. Так говорят все ученые, а смерть наступает их внезапно, и дорогие им существа остаются без средств!

Замечательно недоверие, с каким деловые люди относятся к людям выдающегося ума: отдавая им должное в большом, они отказывают им в малом. Впрочем, быть может, такое недоверие даже лестно? Видя, что ученые возносятся к вершинам человеческого духа, деловые люди не верят в их способность входить в те мелочи, на которых, будь то проценты в финансах или микроскопические существа в естествознании, в конечном счете зиждутся капиталы и миры. Деловые люди ошибаются: человеку, умеющему чувствовать и мыслить, доступно все. Скрытность доктора задела Бонгран, но, тревожась об Урсуле, которой, как он полагал, грозит опасность, он решил защитить ее от наследников. Мировой судья был в отчаянии от того, что не может присутствовать при беседе старого доктора с Дионисом.

«Как ни невинна Урсула, — подумал он, взглянув на воспитанницу доктора, — в иных вещах молодые девушки сами себе юристы и моралисты. Рискнем!»

— Миноре-Левро, — обратился он к Урсуле, поправив очки, — могут просить вашей руки для своего сына.

Бедная девочка побледнела: она была слишком хорошо воспитана, слишком целомудрена и щепетильна, чтобы подслушивать, однако, после некоторого колебания, решила, что вправе подойти поближе к крестному и нотариусу: ведь если она будет им мешать, крестный даст ей это понять. Жалюзи на застекленной двери китайского павильона, где располагался кабинет доктора, были открыты, и Урсула решила самолично закрыть их. Она извинилась перед мировым судьей за то, что оставляет его одного в гостиной; Бонгран отвечал с улыбкой: «Ступайте, ступайте!» Урсула вышла на крыльцо китайского павильона и задержалась там на несколько минут; она не спеша опускала жалюзи, любясь закатом. Доктор и нотариус тем временем медленно приближались к павильону, и Урсула услышала ответ крестного: «Мои наследники были бы в восторге, пояись у меня недвижимость и закладные; они воображают,

что только в этом случае смогут спать спокойно; я вижу их насквозь — кстати, может, они-то и прислали вас ко мне? Учтите, сударь, что мое решение неизменно. Наследники получают капитал, которым я обладал, когда переехал сюда, пусть примут это к сведению и дадут мне покой. Если хоть один из них посягнет на то, что я считаю своим долгом оставить этому ребенку, я восстану из мертвых и покараю их. Так что пусть те, кто желает вызволить господина Савиньена де Портандюэра из тюрьмы, не рассчитывают на меня. Я свою ренту не продам.

Последние слова доктора причинили Урсуле первую в ее жизни боль; она прислонилась лбом к жалюзи и ухватилась за них рукой, чтобы не упасть.

— Боже мой! что случилось? На ней лица нет. Такое сильное волнение после обеда может стоить ей жизни! — вскричал старый доктор и подхватил Урсулу, которая, казалось, вот-вот лишится чувств.

— Прощайте, сударь, оставьте нас, — сказал доктор нотариусу.

Он донес свою воспитанницу до огромного кресла в стиле Людовика XV, стоявшего в его кабинете, потом схватил в своей аптечке пузырек с эфиром и дал Урсуле понюхать.

— Замените меня, друг мой, — сказал он перепуганному Бонграну, — я хочу поговорить с Урсулой.

Мировой судья проводил нотариуса до ворот и спросил как можно равнодушнее: «Что произошло с Урсулой?»

— Не знаю, — отвечал Дионис. — Она стояла на крыльце и слушала наш разговор, а когда ее дядя отказался одолжить сумму, необходимую для того, чтобы освободить молодого Портандюэра из тюрьмы, куда он попал за долги, потому что у него, в отличие от господина дю Рувра, нет такого советчика, как господин Бонгран, она побледнела, пошатнулась... Уж не влюблена ли она в него? Неужели между ними...

— В пятнадцать-то лет? — перебил Диониса Бонгран.

— Она родилась в феврале 1814 года, значит, через четыре месяца ей будет шестнадцать.

— Но она никогда не видела соседа, — ответил мировой судья. — Нет, это приступ.

— Сердечный приступ, — съязвил нотариус.

Он был в восторге от своего открытия, которое делало невозможным брак *in extremis*[130] — предмет опасений наследников, боявшихся, что доктор женится, дабы лишить их денег; напротив, все надежды Бонграна, давно мечтавшего женить на Урсуле своего сына, рассыпались в прах.

— Если бедная девочка любит этого юношу, она будет глубоко несчастна: госпожа де Портандюэр — бретонка, помешанная на благородном происхождении, — сказал мировой судья, немного помолчав.

— К счастью... — ответил нотариус и, спохватившись, что едва не проболтался, добавил: — Для чести Портандюэров.

Отдадим должное мужеству и порядочности мирового судьи: по пути от калитки к дому он, хотя и не без душевной боли, простился с надеждой назвать Урсулу своей дочерью. Он ждал, пока сын его получит должность помощника прокурора, чтобы выделить ему ренту, дающую шесть тысяч ливров годового дохода. Если бы доктор дал за Урсулой сто тысяч франков приданого, то дети зажили бы на славу, — думал Бонгран. Эжен — честный мальчик и

недурен собой. Быть может, запоздало упрекнул себя судья, он чересчур расхваливал своего Эжена и тем пробудил недоверие старого Миноре.

«Мы возьмем свое, посватав дочь мэра, — думал Бонгран. — Хотя Урсула, даже без всякого приданого, в тысячу раз лучше, чем мадемуазель Левро-Кремьер с ее миллионом. Придется теперь ломать голову, как выдать Урсулу за молодого Портандюэра, если, конечно, она и вправду его любит».

Закрыв двери в сад и в библиотеку, доктор подвел свою воспитанницу к окну, выходившему на реку.

— Что ты делаешь, бессердечное дитя? — сказал он. — Твоя жизнь — это моя жизнь. Что станет со мной без твоей улыбки?

— Савиньен в тюрьме, — ответила Урсула, и из глаз ее полились потоки слез. Она зарыдала в голос.

Старый доктор с тревогой вслушивался в биение пульса девочки. «Она спасена», — решил он наконец и пошел за стетоскопом. «Увы, она так же чувствительна, как моя бедная жена», — подумал он. Он приложил стетоскоп к груди Урсулы и стал слушать. «Неплохо!» — сказал он про себя, а вслух произнес, поглядев на Урсулу:

— Я не знал, душа моя, что ты успела полюбить его так сильно. Расскажи-ка мне как на духу обо всем, что между вами произошло.

— Я не люблю его, крестный, мы не обменялись ни единым словом. Но знать, что этот бедный юноша в тюрьме, а вы, такой добрый, наотрез отказываете ему в помощи!..

— Урсула, ангел мой, если ты его не любишь, зачем ты отметила день святого Савиньена красной точкой, как и день святого Дени? Будь умницей, расскажи мне все без утайки.

Урсула покраснела, на мгновение перестала плакать; некоторое время оба — и девушка, и ее опекун — молчали.

— Неужели ты боишься твоего отца, друга, матери, врача, крестного, который за последние несколько дней полюбил тебя еще сильнее, чем прежде?

— Хорошо, крестный, — решила Урсула, — я вам все расскажу. В мае господин Савиньен приехал повидать мать. Прежде я не обращала на него никакого внимания. Когда он уезжал в Париж, я была ребенком и не видела, клянусь вам, никакой разницы между молодыми людьми и людьми постарше, такими, как вы, разве что вас, крестный, я любила и не подозревала, что можно любить кого бы то ни было еще сильнее. Господин Савиньен приехал в почтовой карете накануне именин своей матери, и мы об этом ничего не знали. В семь утра, помолившись, я открыла окно, чтобы проветрить свою комнату, и увидела, что в комнате господина Савиньена окна тоже открыты, а сам он сидит в халате и бреется, движения у него такие изящные... одним словом, он показался мне очень милым. Он причесал свои черные усы, бородку, и я увидела, какая у него белая, гладкая шея... Если сказать вам всю правду... я поняла, как сильно эта кожа, это лицо и прекрасные черные волосы отличаются от ваших — ведь я не раз видела, как бреетесь вы. И тут какие-то волны хлынули мне в сердце, в грудь, ударили в голову, да с такой силой, что мне пришлось сесть. Я вся дрожала, ноги у меня подкашивались. Но мне так хотелось еще раз увидеть его, что я встала на цыпочки, и тут он увидел меня и в шутку послал мне воздушный поцелуй, и...

— И?..

— И я спряталась, и мне было стыдно, но очень приятно, хотя я и не могла бы объяснить,

почему я стыжусь своего счастья. Это чувство, вспыхнувшее в моей душе и преисполнившее ее какого-то непонятого могущества, посещало меня каждый раз, когда я видела юное лицо господина Савиньена. Я очень сильно волновалась, но мне было так приятно. По дороге в церковь я не смогла удержаться и взглянула на господина Савиньена: он вел под руку свою мать; его походка, костюм — все, вплоть до стука его сапог по мостовой, казалось мне таким красивым. Любой пустяк, к примеру рука в тонкой перчатке, просто завораживал меня. Но я собралась с силами и во время обедни совсем не думала о господине Савиньене. А когда служба кончилась, я немного задержалась в церкви, чтобы госпожа де Портандюэр успела выйти, и шла домой позади них. Не могу вам даже передать, как занимали меня все эти мелкие уловки. А когда я вошла к нам во двор и обернулась, чтобы закрыть калитку...

— А тетушка Буживаль? — спросил доктор.

— О, я отослала ее на кухню, — простодушно ответила Урсула. — И само собой вышло так, что я увидела господина Савиньена — он стоял и смотрел на меня. О, крестный, я почувствовала такую гордость, когда заметила в его глазах удивление и восхищение, что сделала бы все что угодно, лишь бы доставить ему случай посмотреть на меня. Мне показалось, что теперь главное для меня — стараться ему понравиться. Его взгляд — самая сладостная награда за все мои добрые дела. С тех пор я невольно все время думаю о нем. Вечером господин Савиньен уехал, больше я его не видела, и улица Буржуа опустела для меня — сам того не зная, он как будто увез с собой мое сердце,

— И все? — спросил доктор.

— Все, — отвечала Урсула со вздохом, в котором сожаление о том, что ей больше не о чем рассказать, смешалось с нынешним горем.

— Дорогая моя девочка, — сказал доктор, усаживая Урсулу к себе на колени, — ты становишься взрослой, тебе скоро исполнится шестнадцать. Позади у тебя безмятежное детство, впереди — тревоги любви, которая принесет тебе не только радости, потому что твоя нервная система чрезвычайно чувствительна. То, что с тобой происходит, — это любовь, — сказал старик с глубокой печалью, — любовь в ее святой наивности, любовь, какой она должна быть, — невольная, внезапная, нагрянувшая, как вор, который забирает все... да, все! Я это предвидел. Я внимательно наблюдал за женщинами и знаю, что если многие из них влюбляются лишь в терпеливых вздыхателей, выказывающих чудеса преданности, если многие снисходят до своих поклонников и уступают им лишь после долгой борьбы, то есть среди них и другие, которых влечение, объяснимое сегодня с помощью магнетических флюидов, мгновенно отдаст во власть любви. Нынче я могу тебе в этом признаться: как только я увидел прелестную женщину, которую звали так же, как тебя, я понял, что буду любить ее одну и хранить ей верность, хотя ничего не знал ни о ее характере, ни о том, подходим ли мы друг другу. Быть может, любовь делает нас провидцами? Как знать — ведь немало браков, заключенных, кажется, на небесах, позднее распались, оставляя в сердцах глубокую ненависть, безграничное отвращение. Бывает, что чувственная страсть приковывает двоих друг к другу, хотя взгляды их расходятся; но не все с этим мирятся: для иных людей духовное, пожалуй, важнее плотского. Бывает и иначе: мужчина и женщина схожи характерами, но несходны душами. И то и другое служит причиной множества несчастий; мудрый закон недаром предоставляет родителям право избирать супругов для своих детей — ведь юная девушка нередко становится жертвой одного из этих двух наваждений. Поэтому я тебя не браню. Твои ощущения, твои чувства, рожденные еще неведомым тебе источником и завладевшие твоим сердцем и умом, счастье, которое ты испытываешь, думая о Савиньене, все это естественно. Но, ненаглядное дитя мое, как объяснял тебе аббат Шапрон, Общество требует, чтобы мы приносили ему в жертву многие естественные склонности. У мужчины и женщины — разные предназначения. Я мог выбрать Урсулу Мируэ и признаться ей в любви, но юная девушка, домогающаяся любви своего избранника, погрешит против добродетели: женщинам, в отличие от нас, мужчин, не

позволено открыто добиваться исполнения их желаний. У всех представительниц твоего пола, а у тебя и подавно, целомудрие стоит на страже сердечных тайн. По тому, с каким трудом решилась ты поведать мне о своих первых тревогах, я вижу, что ты скорее снесла бы самые жестокие пытки, чем призналась Савиньену...

— О да, — сказала Урсула.

— Но, дитя мое, твой долг сделать больше: твой долг смирить порывы твоего сердца, забыть их.

— Почему?

— Потому, ангел мой, что твой долг — любить только того мужчину, который станет твоим мужем, а господин Савиньен де Портандюэр, даже если бы он полюбил тебя...

— Я об этом пока не думала.

— Послушай меня. Даже если бы он полюбил тебя, даже если бы его мать попросила у меня твоей руки, я подверг бы его долгим и трудным испытаниям, прежде чем дать согласие на ваш брак. Своим поведением господин виконт вызвал недоверие всех порядочных семейств и воздвиг между собой и богатыми наследницами преграды, которые нелегко будет преодолеть.

Слезы в глазах Урсулы высохли, и лицо ее осветила ангельская улыбка.

— Не было бы счастья, да несчастье помогло! — сказала она.

Доктору нечего было возразить на этот простодушный возглас.

— Что он натворил, крестный? — спросила Урсула.

— За два года жизни в Париже, ангел мой, он наделал долгов на сто двадцать тысяч франков! Он имел глупость попасть в Сент-Пелажи — оплошность, постыдная для молодого человека в нынешние времена. Мот, способный ввергнуть мать в нищету и горе, сведет свою жену в могилу, как твой бедный отец свел в могилу твою мать.

— Как вы думаете, может он исправиться? — спросила Урсула.

— Если мать выкупит его, ему придется терпеть лишения, а я не знаю для дворянина лучшего лекарства, чем бедность.

Эти слова заставили Урсулу задуматься, она вытерла слезы и сказала крестному:

— Если вы можете, спасите его, это даст вам право наставлять его, журить...

— А тогда, — продолжал доктор, передразнивая Урсулу, — он сможет приходить к нам, его матушка тоже, мы будем видеться с ними, и...

— Я забочусь сейчас только о нем... — сказала Урсула, зардевшись.

— Забудь о нем, бедное дитя мое, это безумие! — серьезно отвечал доктор. — Ни за что на свете госпожа де Портандюэр, урожденная Кергаруэт, пусть даже она живет на триста ливров в год, не согласится женить виконта Савиньена де Портандюэра, внучатого племянника графа де Портандюэра, командующего королевским флотом, и сына виконта де Портандюэра, капитана корабля, на какой-то Урсуле Мируэ, дочери нищего полкового музыканта, который — увы, настало время сказать тебе об этом — был незаконнорожденным сыном органиста, моего тестя.

— О крестный! вы правы: мы равны лишь перед Богом. Отныне я буду поминать его лишь в молитвах, — произнесла Урсула сквозь слезы. — Отдайте ему все, что вы хотели отдать мне. Что нужно бедной девушке вроде меня? А он — он в тюрьме!

— Займись лучше благотворительностью во имя Господа — быть может, он придет нам на помощь.

Несколько мгновений оба молчали. Когда Урсула, не смеявшая взглянуть на своего крестного, подняла глаза, она была потрясена до глубины души: по его морщинистым щекам текли слезы. Когда плачут дети — это естественно, но когда плачут старики — это ужасно.

— Что с вами? Боже мой! — воскликнула Урсула, бросаясь к ногам доктора и покрывая поцелуями его руки. — Неужели вы не верите мне?

— Я мечтал исполнять все твои желания, а вынужден причинить тебе первую в твоей жизни боль! Я страдаю не меньше тебя. Я плакал, только когда умирали мои дети и когда умерла Урсула. Послушай, я сделаю все, что ты захочешь!

Сквозь слезы Урсула бросила на крестного взгляд, сверкнувший, как луч солнца. Она улыбнулась.

— Пойдем в гостиную, и постарайся поменьше думать обо всем этом, девочка моя, — сказал доктор, выходя из кабинета.

Бессильный против божественной улыбки своего дитяти, он боялся, что вот-вот подаст Урсуле ложную надежду.

Тем временем в холодной маленькой гостиной дома напротив аббат Шапрон выслушивал печальную исповедь госпожи де Портандюэр. В руке старая дворянка держала письма, нанесшие ей последний удар, — их только что прочел кюре. Сидя в глубоком кресле подле квадратного стола с остатками десерта, старая дворянка смотрела на кюре, который, устроившись в глубоком кресле по другую сторону стола, поглаживал подбородок, как это делают капельдинеры, математики и священники, размышляя над трудноразрешимой задачей.

Стены маленькой гостиной Портандюэров, два окна которой выходили на улицу, были обшиты деревом и покрашены в серый цвет; от сырости нижние панели покрылись теми трещинами, какие появляются на прогнившем дереве, не рассыпающемся лишь благодаря слою краски. На рыжем плиточном полу, натертом единственной служанкой старой дамы, перед креслами и стульями лежали плетеные коврики; на одном из них покоились сейчас ноги аббата. Занавески из старой бледно-зеленой камки с зелеными цветами были задернуты, жалюзи опущены. В комнате царил полумрак, лишь на столе стояли две свечи. В простенке между окнами висел, разумеется, портрет адмирала де Портандюэра, соперника таких героев, как Сюффрен, Кергаруэт, Гишен и Симез[131], выполненный Латуром. На стене напротив камина висели портреты виконта де Портандюэра и матери хозяйки, происходившей из рода Кергаруэт-Плоэгат. Таким образом, Савиньену двоюродным дедом приходился вице-адмирал де Кергаруэт, а кузеном — граф де Портандюэр, внук адмирала; оба были очень богаты. Вице-адмирал де Кергаруэт жил в Париже, а граф де Портандюэр — в своем родовом замке в Дофине. Граф де Портандюэр, кузен Савиньена, представлял старшую ветвь, а сам Савиньен был последним отпрыском младшей ветви Портандюэров. Графу было уже за сорок, он выгодно женился и имел троих детей. Унаследовав несколько крупных состояний, он, по слухам, так разбогател, что годовой его доход приблизился к шестидесяти тысячам ливров. Депутат от Изерского округа, он проводил зимы в Париже, в особняке Портандюэров, который выкупил на деньги, полученные по закону Виллеля[132] о возмещении убытков. Вице-адмирал де Кергаруэт недавно женился на своей племяннице [133], мадемуазель де Фонтен, единственно для того, чтобы оставить ей свое состояние.

Итак, у виконта были могущественные родственники, но легкомысленное поведение лишило его их покровительства. Савиньен был молод и хорош собой, он мог бы поступить во флот, где с его именем и благодаря поддержке адмирала и депутата в двадцать три года уже командовал бы кораблем, но госпожа де Портандюэр не желала, чтобы ее единственный сын вступил в военную службу; он рос в Немуре, учился у викария аббата Шапрона, и старая дама льстила себя надеждой, что сможет не разлучаться с ним до самой смерти. Она подыскала сыну приличную партию — девицу д'Эглемон[134], за которой давали двенадцать тысяч годового дохода; имя Портандюэров и Бордьерская ферма позволяли рассчитывать на успех сватовства. Но обстоятельства помешали осуществить этот мудрый, хотя и скромный план, который во втором поколении мог поправить дела семейства. Д'Эглемоны разорились, а их старшая дочь Элен исчезла при таинственных обстоятельствах. Скучная жизнь на улице Буржуа, бесцельная, бесславная и бездеятельная, которую Савиньен терпел только ради матери, настолько утомила юношу, что в конце концов он, хотя и с запозданием, разорвал свои — впрочем, чрезвычайно мягкие — оковы и поклялся, что ни за что не останется в провинции. Итак, в двадцать один год он расстался с матерью и отправился в Париж, чтобы представиться родственникам и попытаться счастья в столице. Контраст между немурской и парижской жизнью оказался пагубным для юноши; благодаря славному имени и богатой родне перед ним открывались двери любого салона; он жаждал развлечений и, предоставленный самому себе, не знал никакой узды. Уверенный, что у матери где-то припрятаны сбережения, накопленные за двадцать лет, Савиньен очень скоро промотал шесть тысяч франков, которые она дала ему при расставании. Этой суммы ему не хватило даже на первые полгода, и по истечении этого срока он должен был вдвое больше хозяину гостиницы, портному, сапожнику, владельцу нанятого им экипажа, ювелиру и всем прочим торговцам, доставляющим молодым людям предметы роскоши. Не успел он приобрести некоторую известность, не успел научиться беседовать, вращаться в свете, носить и выбирать жилеты, заказывать фраки и повязывать галстук, как за душой у него оказалось тридцать тысяч долга, а между тем он еще не придумал, как изящнее признаться в любви сестре маркиза де Ронкероля, госпоже де Серизи, красавице, которая, впрочем, блистала в свете еще во времена Империи.

— Как вам всем удалось так ловко устроиться? — спросил Савиньен однажды в конце завтрака у нескольких щеголей, с которыми сблизился, как сблизаются нынче юноши, стремящиеся к одним и тем же целям и помогающиеся невозможного равенства. — Вы были не богаче меня, но живете припеваючи, вы ухитряетесь сводить концы с концами, а я уже весь в долгах.

— Все мы начинали с этого, — со смехом отвечали ему Растиньяк, Люсьен де Рюбампре, Максим де Трай, Эмиль Блонде[135] — тогдашние денди.

— Де Марсе был богат уже и тогда, но это чистая случайность! — сказал хозяин дома, выскочка по имени Фино[136], пытавшийся стать на дружескую ногу с этими молодыми щеголями. — К тому же, не будь он таким, каков он есть, богатство могло бы разорить его, — добавил он, поклонившись тому, о ком говорил.

— Сказано красиво, — заметил Максим де Трай.

— И неглупо, — добавил Растиньяк.

— Дорогой мой, — важно произнес де Марсе, обращаясь к Савиньену, — долги — плата за опыт. Хорошее университетское образование со всеми его уроками, и забавными, и нудными, не научает вас ничему и обходится в шестьдесят тысяч франков. Светское образование стоит вдвое дороже, но оно учит вас жить, делать дела, разбираться в политике, в мужчинах, а иной раз и в женщинах.

Блонде окончил эту отповедь переиначенной строкой Лафонтена[137]: «Хоть с виду свет

дешев, недаром все дает».

К несчастью, Савиньен, вместо того чтобы задуматься над словами опытнейших лоцманов парижского архипелага, принял все за шутку.

— Берегитесь, дорогой мой, — сказал ему де Марсе, — если вы с вашим именем не приобретете подобающего состояния, вам грозит опасность окончить жизнь сержантом в кавалерийском полку. «И лучшие, чем вы, здесь голову сложили!» — продекламировал он стих Корнеля и взял Савиньена под руку. — Лет шесть назад, — продолжал он, — в столице объявился граф д'Эгриньон[138] — он не прожил в великосветском раю и двух лет. Увы! ему отмерен срок был фейерверка[139]. Он вознесся до герцогини де Мофриньез и пал в родной город, где искупает свои грехи в обществе старого больного отца, коротая время за грошовым вистом. Расскажите госпоже де Серизи о вашем положении попросту, не стыдясь; она многое может сделать для вас, но если вы будете разыгрывать с ней шарады на темы первой любви, она вообразит себя мадонной Рафаэля, станет корчить саму непорочность и заставит вас пуститься в разорительные странствия по стране Нежности[140]!

Но Савиньен был еще совсем молод, берег честь дворянина и не посмел признаться госпоже де Серизи в своем бедственном положении. Он был готов биться головой об стену от отчаяния, как вдруг получил из дома двадцать тысяч франков; прочтя письмо, где Савиньен, просвещенный друзьями насчет хитростей, отпирающих родительские сундуки, толковал о неоплаченных векселях и о бесчестии, которое ему грозит, если их опротестуют, госпожа де Портандюэр рассталась с последними своими сбережениями. Благодаря этому вспомоществованию Савиньен дотянул до конца своего первого года в Париже. На второй год, став верным поклонником госпожи де Серизи, которая всерьез увлеклась им и у которой он многому научился, он прибегнул к опасной помощи ростовщиков. Однажды, когда он совсем отчаялся, один из его приятелей, де Люпо[141], депутат и друг его кузена графа де Портандюэра, дал ему адреса Гобсека, Жигонне и Пальма, а те, должным образом осведомленные о стоимости недвижимого имущества госпожи де Портандюэр, охотно ссудили его деньгами. Вновь и вновь обращаясь к ростовщикам и с обманчивой легкостью получая у них в кредит, он прожил безбедно еще полтора года. Не осмеливаясь порвать с госпожой де Серизи, бедный мальчик влюбился без памяти в красавицу графиню де Кергаруэт, которая, как все юные особы, дожидаящиеся смерти старого мужа[142], строила из себя недотрогу и умело блюла свою честь в ожидании второго замужества. Не в силах понять, что рассудочная добродетель непобедима, Савиньен ухаживал за Эмилией Кергаруэт с размахом богача: он не пропускал ни одного бала, ни одного театрального представления, где мог ее встретить.

«Малыш, у тебя не хватит пороха, чтобы взорвать эту скалу», — со смехом заметил ему однажды де Марсе.

Как ни старался юный король парижских щеголей, движимый состраданием, раскрыть этому ребенку глаза на характер Эмили де Кергаруэт, урожденной де Фонтен, Савиньен прозрел, лишь познав мрачный свет несчастья и сумерки темницы. Ювелир, которому он имел неосторожность выдать вексель, сговорился с ростовщиками, не желавшими пятнать себя арестом должника, и Савиньен де Портандюэр был, к изумлению своих друзей, препровожден в Сент-Пелажи за неуплату ста семнадцати тысяч франков. Узнав о случившемся, Растиньяк, де Марсе и Люсьен де Рюампре пришли в Сент-Пелажи проведать беднягу и, узнав что у него нет ни гроша, одолжили ему каждый по тысячефранковому билету. Слуга, подкупленный кредиторами, выдал квартиру, где Савиньен скрывался, и все имущество молодого человека за исключением платья да немногочисленных драгоценностей, которые были на нем в тот момент, было описано. Гости заказали превосходный обед; вкушая его и потягивая херес, принесенный де Марсе, они осведомились о положении Савиньена; могло показаться, что друзья заботятся о будущем юноши, на самом же деле они намеревались вынести ему суровый приговор.

— Дорогой мой, человек, носящий имя Савиньена де Портандюэра, человек, чей кузен вот-вот станет пэром Франции, а дедушка зовется адмирал де Кергаруэт, — такой человек, допустив непростительную оплошность и позволив засадить себя в Сент-Пелажи, здесь не останется! — воскликнул Растиньяк.

— Почему вы мне ничего не сказали? — спросил де Марсе. — Я предоставил бы вам мою дорожную карету, десять тысяч франков и рекомендательные письма к немецким ростовщикам. Мы не первый день знаем Гобсека, Жигонне и прочих живоглотов, мы приперли бы их к стенке. Кстати, скажите на милость, какой осел указал вам этот гибельный источник?

— Де Люпо.

Молодые люди переглянулись; у всех троих мелькнула одна и та же мысль, одно и то же подозрение, но оно осталось невысказанным.

— Объясните, на что вы рассчитываете, раскройте ваши карты, — потребовал Марсе.

Когда Савиньен описал свою мать и ее чепцы с пышными бантами, их маленький дом в три окна на улице Буржуа, которому заменой сада служил дворик с колодцем и дровяным сараем, когда он назвал примерную стоимость этого дома, выстроенного из красноватого песчаника и обмазанного наполовину облупившейся известью, и Бордьерской фермы, трое денди переглянулись еще раз и с глубокомысленным видом произнесли фразу, которую в только что появившемся в ту пору сборнике Альфреда де Мюссе «Испанские повести», в пьесе «Каштаны из огня»[143], говорит аббат: «Плачевно!»

— Если послать вашей матери умело составленное письмо, она заплатит, — сказал Растиньяк.

— Да, но что делать потом? — воскликнул де Марсе.

— Не попади вы в тюрьму, вы могли бы попасть в число дипломатов, но Сент-Пелажи — не прихожая посольства.

— Вы не созданы для жизни в Париже, — подвел итог Растиньяк.

— Судите сами, — продолжал де Марсе, оглядев Савиньена, как барышник, приценивающийся к лошади, — у вас красивые голубые глаза, чистый белый лоб, густые черные волосы, усики, очень идущие к вашему бледному лицу, и стройный стан; ноги ваши обличают хорошее происхождение, грудь и плечи не страдают излишней хрупкостью, но и не делают вас похожим на приказчика. Вы, что называется, элегантен, брюнет. У вас лицо в духе Людовика XIII — бледность, изящный носик, а главное, в вас есть нечто, пленяющее женщин и непостижимое для мужчин, нечто коренящееся в повадке, поступи, звуке голоса, выражении глаз, жестах, в тысяче мельчайших особенностей, значение которых внятно только женщинам. Вы сами себя не знаете, дорогой мой. Если бы вы держались более уверенно, вы могли бы в полгода завоевать англичанку со стотысячным приданым, особенно если бы носили титул виконта де Портандюэра, который принадлежит вам по праву. Моя милейшая мачеха леди Дэдлей, не имеющая себе равных в искусстве сводничества, отыскала бы вам подходящую невесту в одном из британских поместий. Но для этого нужно было выказать себя знатоком высшей банковской политики и ловким маневром отсрочить платеж долгов месяца на три. Почему вы ничего мне не сказали? Баденские ростовщики отнесли бы к вам с уважением и, возможно, ссудили бы вас деньгами, но теперь, когда вы угодили в тюрьму, они станут вас презирать. Ростовщик подобен Обществу и Народу, он склоняется перед сильным, перед тем, кто смотрит на него свысока, но к кротким агнцам он безжалостен. Светские люди определенного сорта считают Сент-Пелажи чертовкой, которая здорово подпаливает душу молодым людям. Сказать вам правду, дитя мое? я дам вам такой же совет, какой дал молодому д'Эгриньону: расплатитесь потихоньку с вашими кредиторами,

оставьте себе денег на три года и женитесь на первой же провинциальной девице, за которой дадут тридцать тысяч годового дохода. Трех лет вам с лихвой хватит, чтобы подыскать умненькую наследницу, согласную именоваться госпожой де Портандюэр. Вот как следует поступить. Итак, выпьем. Я поднимаю бокал за богатую невесту!

Молодые люди оставались у своего бывшего друга до тех пор, пока не истекло время, отведенное для свиданий, а выйдя за дверь, обменялись впечатлениями: «Он совсем плох!» — «Он сильно сдал!» — «Сумеет ли он выкарабкаться?»

Назавтра Савиньен написал матери письмо на двадцати двух страницах, где исповедался во всех своих прегрешениях. Получив его, госпожа де Портандюэр проплакала целый день с утра до вечера, а когда стемнело, взялась за перо. Сначала она написала сыну, пообещав выволить его из тюрьмы, а потом села за письма к графам де Портандюэру и де Кергаруэту.

Их ответы, которые только что прочел кюре и которые теперь, влажные от слез, были в руках у бедной матери, пришли сегодня утром и разбили ей сердце.

«

Госпоже де Портандюэр .Париж, сентябрь 1829 года.

Сударыня,

Не сомневайтесь, что мы с адмиралом от всей души сочувствуем вашей беде. То, что вы сообщили господину де Кергаруэту, огорчило меня тем более, что наш особняк стал для вашего сына родным домом: мы гордились Савиньеном. Если бы бедный мальчик доверился адмиралу, то смог бы поселиться у нас и мы подыскали бы ему выгодное место, но он ни слова не сказал нам! У адмирала нет возможности заплатить сто тысяч франков, он сам весь в долгах — по моей вине, ибо я тратила деньги, не выяснив предварительно состояние его финансов. Он в отчаянии — в особенности же от того, что Савиньен связал нам руки, попав в тюрьму. Не воспылай мой прекрасный племянник ко мне этой глупой страстью, из-за которой гордость влюбленного заглушила в нем откровенность родственника, мы отправили бы его в путешествие по Германии, а сами тем временем уладили бы его денежные дела. Господин де Кергаруэт мог бы попросить для своего внучатого племянника место в морском министерстве, но пребывание в долговой тюрьме делает всякую попытку такого рода бесполезной. Заплатите долги Савиньена и пошлите его во флот — он себя еще покажет, недаром в его прекрасных черных глазах^[144] горит огонь, достойный рода Портандюэров. Мы все будем помогать ему.

Итак, не отчаивайтесь, сударыня, у вас есть верные друзья, и среди них искренне преданная вам и уважающая вас

Эмилия де Кергаруэт ».

«

Госпоже де Портандюэр .Портандюэр, август 1829 года.

Дорогая тетушка, я столь же огорчен, сколь и раздосадован выходками Савиньена. Я — муж, отец двух сыновей и дочери и не имею возможности уменьшить свое состояние, и без того не соответствующее моему положению и моим надеждам, на сто тысяч франков, чтобы выкупить отпрыска Портандюэров у ломбардцев^[145]. Продайте вашу ферму, заплатите долги сына и приезжайте в Портандюэр; возможно, мы не сойдемся характерами, но вы в любом случае можете рассчитывать на достойный вас прием. Вы ни в чем не будете нуждаться, и в конце концов мы женим Савиньена, которого моя жена находит очаровательным. Не отчаивайтесь, все его проказы пустяк, и в наших краях о них никто не

узнает; среди наших соседок есть несколько очень богатых невест, которые сочтут за счастье породниться с нами.

Жена вместе со мной заверяет вас в том, что мы будем очень рады вашему приезду, и желает, чтобы все задуманное исполнилось.

Примите уверения в нашем искреннем уважении.

Люк Савиньен, граф де Портандюэр ».

— И такие письма приходится читать урожденной Кергаруэт! — воскликнула старая бретонка, утирая слезы.

— Адмирал не знает, что племянник в тюрьме, — вымолвил наконец аббат Шапрон, — графиня одна прочла ваше письмо и одна написала вам ответ. Но нам нужно на что-то решиться, — продолжал он после недолгого молчания, — и вот что я осмелюсь вам посоветовать. Не продавайте ферму. Срок аренды подходит к концу, истекает двадцать пятый год. Через несколько месяцев вы сможете заключить новый договор, доведя арендную плату до шести тысяч, да еще получите от арендаторов двенадцать тысяч надбавки за удачную сделку. Возьмите займы — только не у здешних ростовщиков, а у какого-нибудь честного немурца. Ваш сосед напротив — человек порядочный, воспитанный, до Революции он вращался в хорошем обществе, а нынче отринул безбожие и стал добрым католиком. Не погнушайтесь зайти к нему сегодня вечером, он сочувственно отнесется к вашей просьбе; забудьте на время, что вы урожденная Кергаруэт[146].

— Никогда! — пронзительно вскрикнула старая дворянка.

— Ну, хорошо, оставайтесь урожденной Кергаруэт, но Кергаруэт любезной, приходите, когда доктор будет один, он даст вам в долг всего из трех с половиной, может быть, даже из трех процентов и окажет вам эту услугу так деликатно, что она не будет вам в тягость, он поедет в Париж, Чтобы продать свою ренту, сам выкупит Савиньена и доставит его к вам.

— Так вы имеете в виду молодого Миноре?

— Молодому Миноре восемьдесят три года, — отвечал с улыбкой аббат Шапрон. — Прошу вас, сударыня, вспомните, что Христос заповедал нам милосердие, не будьте с доктором чересчур надменны, он может быть вам полезен во многих отношениях.

— Каким же это образом?

— В его доме живет ангел, небесное существо.

— А, маленькая Урсула... Ну и что с того?

Услышав эти слова, бедняга кюре осекся — сухой и резкий тон, каким они были произнесены, заранее обрекал его попытку на неудачу.

— Я полагаю, что доктор Миноре очень богат...

— Тем лучше для него.

— Оставив сына без поприща, вы уже послужили невольной причиной нынешних его несчастий; берегитесь, как бы не случилось худшего! — строго ответил кюре. — Предупредить мне доктора о вашем приходе?

— Но почему бы ему не прийти самому, раз он знает, что я в нем нуждаюсь?

— О, сударыня, если вы пойдете к нему, вы заплатите три процента, а если он к вам — пять, — нашелся кюре, желавший во что бы то ни стало уговорить старую дворянку. — Нотариус Дионис и секретарь мирового суда Массен не дали бы вам денег, они хотят воспользоваться вашей бедой и заставить вас продать ферму за полцены. На Дионисов, Массенов, Левро и прочих богачей, которые знают, что ваш сын в тюрьме, и мечтают завладеть фермой, я влияния не имею.

— Они все знают, все, — всплеснула руками госпожа де Портандюэр. — О бедный мой кюре, кофе у вас совсем остыл... Тьенетта, Тьенетта!

Тьенетта, шестидесятилетняя бретонка в казакине и бретонском чепце проворно вошла и забрала у кюре его чашку, чтобы подогреть кофе.

— Будьте покойны, господин священник, — сказала она, видя, что кюре хочет сделать глоток, — я его поставлю в водяную баню, он не станет хуже.

— Итак, — вкрадчиво продолжал кюре, — я предупрежу доктора о вашем визите, и вы придете...

Гордая бретонка уступила только через час, после того как кюре раз десять повторил все свои доводы. Решили дело его слова: «Савиньен пошел бы не раздумывая!»

— В таком случае уж лучше это сделаю я, — отвечала мать.

Часы пробили девять, когда калитка Портандюэров, сделанная в больших воротах, закрылась за кюре и он, перейдя улицу, громко позвонил у ворот доктора. От Тьенетты он попал к тетушке Буживаль — старая кормилица сказала ему: «Поздно вы приходите, господин кюре!» — точно таким же тоном, каким старая служанка Портандюэров только что упрекнула его: «Что ж это вы так рано покидаете барыню, ведь у нее горе!»

В зеленовато-коричневой гостиной доктора кюре застал большое общество; здесь были все наследники, успокоившиеся после разговора с Дионисом. Возвращаясь от доктора, нотариус зашел к Массену и сказал:

— Сдается мне, что Урсула влюбилась, и любовь эта принесет ей одни заботы и неприятности; она фантазерка (так на языке немурцев называются люди, отличающиеся обостренной чувствительностью) и долго останется в девицах. Итак, будьте покойны: угождайте ей и особенно доктору — ведь он очень умен, умнее сотни Гупилей, — добавил нотариус, не подозревая, впрочем, что Гупиль — это искаженное латинское *Vulpes* — лисица.

Вот от чего у доктора было непривычно шумно: вслед за Бонграном и немурским врачом сюда явились госпожи Массен и Кремьер с супругами и почтмейстер с сыном. С порога аббат Шапрон услышал звуки музыки. Бедняжка Урсула играла финал Седьмой симфонии Бетховена. Девочка отважилась на невинную хитрость: теперь, когда доктор открыл ей глаза на двоедушие наследников, гости сделались ей неприятны, и она нарочно выбрала величественную музыку, которую трудно понять с первого раза, чтобы отбить у дам охоту обращаться к услугам ее учителя. Чем прекраснее музыка, тем меньше она нравится невеждам. Поэтому, когда дверь открылась и на пороге показался почтенный аббат Шапрон, наследники с облегчением вздохнули: «Ах, вот и господин кюре!» и дружно вскочили, чтобы положить конец пытке.

С теми же чувствами приветствовали аббата Шапрона из-за ломберного столика Бонгран, немурский врач и сам доктор Миноре, ставшие жертвой бесцеремонности сборщика налогов, который, желая сделать приятное двоюродному дедушке, предложил партию в вист и навязался четвертым. Урсула вышла из-за фортепьяно. Доктор поднялся — с виду для того, чтобы поздороваться с кюре, на самом же деле для того, чтобы прервать игру. Расхвалив

дядюшке талант его крестницы, наследники откланялись.

— Доброй ночи, друзья мои! — воскликнул доктор, закрывая за ними калитку.

— И за это они платят бешеные деньги! — сказала госпожа Кремьер госпоже Массен, когда они отошли от дома на несколько шагов.

— Упаси меня господь входить в расходы, чтобы моя малышка Алина стала устраивать такие кошачьи концерты, — отвечала госпожа Массен.

— Она сказала, что это Бетховен, а он считается великим композитором, — вставил сборщик налогов. — Он довольно известен.

— Но не в Немуре, — возразила госпожа Кремьер, — для нас он чересчур ветхий.

— По-моему, дядюшка специально это подстроил, чтобы отвадить нас от дома, — сказал Массен, — я видел, как он подмигнул своей жеманной девчонке и показал глазами на зеленый том с нотами.

— Если им нравится такой гам, — произнес почтмейстер, — так они правильно делают, что сидят дома одни.

— Должно быть, мировой судья без ума от карт, если выносит эти сонатцы, — сказала госпожа Кремьер.

Между тем Урсула, подсев к ломберному столику, сказала:

— Я никогда не научусь играть для людей, которые не понимают музыки.

— У натур богато одаренных чувства расцветают лишь в обстановке дружества и приязни, — сказал аббат Шапрон. — Как священник не может давать благословения в присутствии Духа Зла, как каштан не приживется в жирной земле, так и гениальный музыкант теряется в окружении невежд. Душа художника ищет родственные души, которые сообщали бы ей столько же силы, сколько получают от нее. Этот закон, управляющий человеческими привязанностями, лежит в основе многих поговорок: «С волками жить — по-волчьи выть», «Рыбак рыбака видит издалека». Но мученья, которые испытали вы, знакомы лишь натурам нежным и тонким.

— Да, друзья мои, — сказал доктор, — то, что любой другой женщине покажется мелкой неприятностью, способно убить мою малышку Урсулу. О! когда меня не станет, укройте этот драгоценный цветок за той надежной оградой, о которой говорит Катулл: *Ut flos*[147]...

— А ведь эти дамы так лестно отозвались о вас, Урсула, — с улыбкой сказал мировой судья.

— Только лесть была грубая, — заметил немурский врач. — Отчего это?

— Принужденные похвалы всегда грубы, — отвечал доктор.

— Тонкость неразлучна с правдой, — сказал аббат.

— Вы обедали у госпожи де Портандюэр? — спросила Урсула, устремив на кюре взгляд, исполненный тревожного любопытства.

— Да, бедная старая дама очень опечалена, и не исключено, что сегодня вечером она зайдет к вам, господин Миноре.

— Если у нее горе и она нуждается в моей помощи, я сам зайду к ней, — воскликнул доктор.

— Закончим последний роббер.

Урсула под столом пожала доктору руку.

— Ее сын, — сказал мировой судья, — простоват, не стоило отпускать его в Париж без наставника. Когда я узнал, что кое-кто наводит у нашего нотариуса справки о ферме старой дамы, я понял, что виконт рассчитывает на смерть матери.

— Неужели вы считаете его способным на это? — воскликнула Урсула, с ужасом посмотрев на Бонграна, который сказал себе: «Увы, это правда, она его любит».

— И да, и нет, — сказал немурский врач. — У Савиньена добрая душа, потому-то он и оказался в тюрьме: мошенники туда не попадают.

— Друзья мои, — воскликнул старый Миноре, — на сегодня довольно, не стоит заставлять бедную мать проливать лишние слезы, если в нашей воле осушить их.

Четверо друзей поднялись и вышли, Урсула проводила их до калитки; когда ее крестный и кюре постучали в ворота дома напротив и Тьенетта открыла, она уселась вместе с тетушкой Буживаль на одну из каменных тумб подле своего дома и стала ждать.

— Госпожа виконтесса, — сказал кюре, первым вошедший в маленькую гостиную, — господин доктор не захотел, чтобы вы утруждали себя, и пришел сам...

— Я слишком хорошо помню старые времена, сударыня, — перебил доктор, — чтобы не сознавать, как подобает вести себя с людьми вашего звания, и счастлив, что могу, насколько я понял из слов господина кюре, быть вам чем-нибудь полезным.

Госпожа де Портандюэр, которую мысль о предстоящем визите к соседу до того тяготила, что она уже собиралась обратиться за помощью к немурскому нотариусу, была так поражена деликатностью Миноре, что поднялась ему навстречу и указала ему на кресло:

— Садитесь, сударь, — произнесла она царственным тоном. — Наш дорогой кюре, должно быть, сказал вам, что виконт в тюрьме, — юношеские грешки, сто тысяч ливров долга... Если бы вы могли одолжить мне эту сумму под залог моей Бордьерской фермы...

— Мы еще вернемся к этому вопросу, госпожа виконтесса, когда я привезу вашего сына домой, если вы позволите мне быть вашим посланцем.

— Разумеется, господин доктор, — отвечала старая дама, кивнув головой и бросив на кюре взгляд, как бы говоривший: «Вы правы, он хорошо воспитан».

— Как видите, сударыня, — сказал кюре, — мой друг доктор — преданный слуга вашего семейства.

— Мы будем вам весьма признательны, сударь, — сказала госпожа де Портандюэр, сделав над собой заметное усилие, — ведь в вашем возрасте отправляться в Париж ради ветреника, наделавшего долгов...

— Сударыня, в шестьдесят пятом году я имел честь видеть славного адмирала де Портандюэра у добрейшего господина де Мальзерба[148], а затем у графа де Бюффона[149], который желал расспросить мореплавателя о его странствиях. Весьма возможно, что и покойный господин де Портандюэр, ваш супруг, также присутствовал при этих встречах. То была славная пора в истории французского флота — он не уступал англичанам, и не последнюю роль в этом играло мужество капитанов. С каким нетерпением ожидали мы в восемьдесят третьем и восемьдесят четвертом годах новостей из лагеря под Сен-Рошем[150]! Я сам едва не отбыл в королевскую армию — там нужен был врач. Ваш родственник адмирал де Кергаруэт, здравствующий и поныне, командовал кораблем «Бель-Пуль»[151] и выиграл свой самый знаменитый бой.

— О, если бы он знал, что его внучатый племянник в тюрьме!

— Послезавтра господин виконт будет на свободе, — сказал старый Миноре, вставая.

Он приблизился к госпоже де Портандюэр, взял ее руку, которую она не отняла, и почтительно поцеловал, затем низко поклонился и вышел, но тут же вернулся, чтобы попросить кюре: «Будьте любезны, дорогой аббат, закажите мне на завтра место в утреннем дилижансе».

Кюре еще с полчаса расточал хвалы доктору Миноре, пожелавшему покорить старую даму и преуспевшему в этом.

— Просто удивительно, — сказала госпожа де Портандюэр, — в его годы он собирается ехать в Париж и улаживать там дела моего сына, а ведь ему не двадцать пять лет. Да, он вращался в хорошем обществе.

— В самом лучшем, сударыня, и нынче не один разорившийся пэр Франции был бы счастлив женить сына на воспитаннице доктора — невесте с миллионным приданым, Ах, если бы такая мысль пришла по душе Савиньену! Вел он себя в Париже не блестяще, а времена нынче такие, что не вам противиться этому браку.

Кюре смог договорить лишь благодаря тому, что старая дама оцепенела от изумления.

— Вы сошли с ума, дорогой аббат.

— Вы еще задумаетесь над моими словами, и дай Бог вашему сыну впредь вести себя так, чтобы завоевать уважение этого старца!

— Если бы не вы, господин кюре, а кто-то другой заговорил со мной в таком тоне...

— Вы бы не пустили его более на порог, — улыбаясь, закончил фразу аббат Шапрон. — Надеюсь, сын просветит вас на счет того, какие браки заключаются нынче в Париже. Подумайте о счастье Савиньена; однажды вы уже сослужили ему недобрую службу, не мешайте же ему хоть теперь завоевать положение в обществе.

— И это говорите мне вы?

— Если не я, то кто же? — воскликнул священник, вставая, и тут же откланялся.

Урсула и ее крестный прогуливались по двору. Доктор оказался бессилен перед своей крестницей: она привела ему тысячу причин, по которым ей необходимо поехать в Париж, и он уступил. Подозвав кюре, он попросил его, если почтовая контора еще открыта, заказать не одно место, а целое отделение в дилижансе. Назавтра в половине седьмого вечера старик с девушкой прибыли в Париж, и доктор немедленно отправился к своему нотариусу. Политическая обстановка была тревожной. Накануне немурский мировой судья несколько раз объяснял доктору, что до тех пор, пока не кончится распря между журналистами и двором [152], оставлять капитал в казне — чистое безумие. Парижский нотариус подтвердил все опасения мирового судьи. Поэтому доктор решил воспользоваться пребыванием в Париже для того, чтобы продать свои промышленные акции и ренту, которая как раз шла на повышение, и положить капитал во Французский банк. Нотариус уговорил своего старого клиента продать заодно и ренту, в которую доктор, как образцовый отец семейства, с выгодой обратил капитал, оставленный Урсуле господином де Жорди. Он пообещал поручить переговоры с кредиторами Савиньена самому ловкому маклеру, однако предупредил, что для верного успеха юноше следует набраться мужества и провести еще несколько дней в тюрьме.

— В таких делах поспешность обходится в пятнадцать процентов, а то и больше, — сказал

нотариус доктору. — Да и деньги вы все равно получите не раньше чем через неделю.

Узнав, что Савиньен будет томиться в заключении еще целую неделю, Урсула попросила своего опекуна один-единственный раз взять ее с собой в тюрьму. Старый Миноре отказался. Дядя и племянница поселились в гостинице на улице Круа-де-Пти-Шан, где доктор нанял несколько прилично обставленных комнат и, зная благочестивый нрав своей крестницы, взял с нее клятву не выходить без него из дому. Добрый старик гулял с Урсулой по Парижу, показывал ей переулки, лавки, бульвары, но ничто не привлекало ее внимания, ничто ее не радовало.

— Чего тебе хочется? — спрашивал старик.

— Увидеть Сент-Пелажи, — отвечала она упрямо.

Тогда Миноре нанял фиакр и отвез ее на улицу Кле, где приказал остановиться перед мерзким фасадом этого бывшего монастыря, превращенного в тюрьму[153]. Печальное зрелище высоких серых стен с зарешеченными окнами, дверцы, в которую можно войти, лишь пригнувшись (зловещий символ!), всей этой серой громады, стоящей в нищем квартале посреди пустынных улиц, как воплощение непоправимой беды, — все это так потрясло Урсулу, что она заплакала.

— Неужели, — спросила она, — молодых людей сажают в тюрьму из-за денег? Неужели долг дает ростовщику право, которого не имеет сам король? И он находится здесь! — воскликнула она. — А где именно, крестный? — добавила она, вглядываясь в окна.

— Урсула, — отвечал старик, — не заставляй меня делать глупости. Это не называется забыть его.

— Но разве, отказавшись от него, я не могу испытывать к нему никакого сочувствия? Ведь я могу любить его и вовсе не выходить замуж.

— О! — вскричал старик. — В твоём безумии столько ума, что я уже жалею, что взял тебя с собой.

Три дня спустя в руках у старика были составленные по всей форме расписки, соглашения и прочие документы, дающие Савиньену право на освобождение. Вся ликвидация, включая вознаграждение маклеру, обошлась в восемьдесят тысяч франков. У доктора осталось восемьсот тысяч, которые его нотариус, чтобы не потерять процентов, обратил в бонны казначейства. Двадцать тысяч франков в банковских билетах доктор отложил для Савиньена. В субботу в два часа пополудни он отправился в тюрьму, чтобы самолично освободить юношу из-под стражи, и молодой виконт, уже знавший обо всем из письма матери, осыпал своего спасителя самыми искренними благодарностями.

— Вам следует немедленно ехать домой, — сказал старый Миноре.

Савиньен смущенно ответил, что ему еще нужно отдать долг чести, и рассказал о визите своих друзей и о деньгах, которыми они его ссудили.

— Я так и думал, что у вас найдется какой-нибудь особый долг, — с улыбкой сказал доктор. — Ваша мать заняла у меня сто тысяч франков, а я заплатил кредиторам всего восемьдесят тысяч; вот все, что осталось, сударь, тратьте эти деньги бережно и помните о том, что это ваша ставка на зеленом сукне судьбы,

Последнюю неделю Савиньен много размышлял о современной эпохе. Конкуренция вынуждает всякого, кто хочет преуспеть в какой бы то ни было области, много трудиться. Действия в обход закона требуют больше таланта и опытности, нежели деятельность,

протекающая у всех на виду. Светские успехи не позволяют добиться положения в обществе, но лишь пожирают время и деньги, Мать уверяла Савиньена, что имя Портандюэра всемогуще, однако в Париже юноша убедился, что оно не значит ровно ничего. Его кузен граф де Портандюэр, член Палаты депутатов, был всего-навсего мелкой сошкой рядом с пэрами или придворными, и ждать от него помощи не приходилось. Адмирал де Кергаруэт существовал лишь благодаря жене. Савиньен видел ораторов, происходивших из низших сословий или из мелкопоместных дворян и ставших важными персонами. Иначе говоря, основой, единственным источником и движущей силой Общества, которое Людовик XVIII хотел создать по образцу английского, были деньги. По дороге с улицы Кле на улицу Круа-де-Пти-Шан юный дворянин изложил старому врачу итог своих размышлений, совпадавший, впрочем, с советом де Марсе.

«Мне нужно на три-четыре года скрыться, чтобы меня забыли, и подыскать себе поприще. Может быть, я составлю себе имя, сочинив трактат о политике или о нравственном состоянии общества, разрешив в книге один из важных вопросов современности. Словом, я буду трудиться в тиши и безвестности и подыскивать себе состоятельную невесту, чтобы получить право стать депутатом».

Внимательно всматриваясь в лицо молодого человека, доктор прочел на нем серьезные намерения человека оскорбленного и жаждущего отмщенья. Он от души одобрил решение Савиньена.

— Сосед, — сказал он под конец, — если вы простились с обычаями старого дворянства, которые нынче не в моде, и три-четыре года будете вести жизнь благонравную и прилежную, я берусь по истечении этого срока подыскать вам умную, красивую, хорошо воспитанную и благочестивую невесту с семью-восемью сотнями тысяч приданого; она принесет вам счастье и позволит гордиться ею, но благородным у нее будет не происхождение, а только сердце.

— Ах, доктор, — воскликнул юноша, — нынче люди благородного происхождения перевелись [154], остались одни аристократы.

— Заплатите ваш долг чести и возвращайтесь ко мне на квартиру; я закажу отделение в дилижансе — я ведь приехал в Париж не один, а со своей воспитанницей, — сказал старик.

В шесть часов вечера трое путешественников сели на улице Дофина в Дюклершу и двинулись в путь. Урсула молчала, опустив вуаль. Воздушный поцелуй, посланный некогда Савиньеном немурской соседке и потрясший ее не меньше целой книги о любви, был для юноши лишь мимолетной прихотью дамского угодника; уехав в Париж, он запутался в долгах и начисто забыл о воспитаннице доктора; к тому же безнадежная любовь к Эмили де Кергаруэт вытеснила из его души всякое воспоминание о нескольких взглядах, которыми он обменялся с девочкой из Немура, и он не узнал Урсулу; доктор дал своей крестнице войти в дилижанс первой, а сам сел между ней и юным виконтом.

— Я должен дать вам отчет, — сказал доктор юноше, — все ваши бумаги со мной.

— Я едва не остался в Париже, — сказал Савиньен, — пришлось заказать себе одежду и белье; филистимляне ограбили меня, и я возвращаюсь домой, подобно блудному сыну.

Как ни увлекательны были беседы юноши и старика, каким остроумием ни блистали иные реплики Савиньена, Урсула до наступления ночи не проронила ни слова; она сидела, скрестив руки на груди и не поднимая зеленой вуали.

— Мадемуазель Урсуле, кажется, не понравился Париж? — спросил наконец задетый Савиньен.

— Я с радостью возвращаюсь в Немур, — отвечала девушка взволнованно, приподняв вуаль.

Хотя уже стемнело, Савиньен разглядел пышные косы и блестящие голубые глаза и узнал Урсулу.

— Я тоже без сожаления покидаю Париж и спешу заживо похоронить себя в Немуре, потому что меня ждет прекрасное соседство, — сказал он. — Надеюсь, господин доктор, что вы позволите мне бывать у вас; я люблю музыку, а мадемуазель Урсула, насколько я помню, играет на фортепьяно.

— Не знаю, сударь, — серьезно ответил доктор, — обрадуется ли ваша матушка, если вы будете наносить визиты старику, который относится к этому ребенку с материнской заботливостью.

Этот осмотрительный ответ заставил Савиньена задуматься и вспомнить о столь легкомысленно посланном поцелуе. Настала ночь, жаркая и душная; Савиньен и доктор заснули очень скоро, Урсула же долго предавалась мечтаниям, но к полуночи сон сморил и ее. Она сняла свою скромную соломенную шляпку. Головка ее в вышитом чепчике покоилась на плече крестного. На рассвете Савиньен проснулся первым и взглянул на спутницу: от дорожной тряски чепчик ее помялся и съехал набок, косы расплелись и волосы рассыпались по плечам, лицо покраснелось от духоты; для женщины в возрасте такой беспорядок оказался бы роковым, но юности и красоте он был не страшен. Сон невинности всегда прекрасен. Сквозь приоткрытые губы виднелись ровные белые зубки, сбившаяся шаль открывала — впрочем, ничуть не оскорбляя приличий — дивную грудь, обтянутую платьем из цветного муслина. Пленительнее же всего была чистота целомудренной души, сиявшая на лице девушки тем более ярко, что к ней не примешивалось никакое другое чувство. Старик Миноре, проснувшись, переложил голову девушки на спинку сиденья в углу дилижанса, чтобы ей было удобнее; Урсула даже не шевельнулась — после стольких бессонных ночей, проведенных в тревоге за Савиньена, она впервые спала спокойным и глубоким сном.

— Бедняжка! — сказал доктор своему спутнику. — Спит, как дитя, да она и есть дитя.

— Вы можете гордиться ею, — ответил Савиньен, — она, кажется, столь же добра, сколь и прекрасна!

— О, мы все на нее не нарадуемся! Я люблю ее, как родную дочь. Пятого февраля ей исполнится шестнадцать. Я молю Господа продлить мне жизнь, чтобы я успел выдать ее замуж за человека, который сделает ее счастливой. Она прежде не бывала в Париже, я хотел повести ее в театр, но она отказалась — юре не позволяет. «А если ты выйдешь замуж и тебя пригласит в театр муж?» — «Я сделаю все, что захочет мой муж, — вот что она мне ответила. — А если он попросит меня о чем-нибудь дурном и я не найду в себе сил противиться, ему придется отвечать за мой грех перед Богом — эта мысль придаст мне мужества, и я откажусь — ради него, конечно».

Урсула проснулась в пять утра, когда дилижанс уже въезжал в Немур, ужаснулась беспорядку своего наряда — и встретила восхищенный взгляд Савиньена. От Бурона, где дилижанс сделал короткую остановку, до Немура час езды, и за этот час Урсула покорила юношу. Он оценил чистоту ее души, красоту тела, белоснежную кожу, тонкие черты лица, пленительный голос, произнесший такую короткую и такую выразительную фразу, которая выдала бедную девочку с головой. К тому же некое предчувствие подсказало Савиньену, что Урсула — та самая невеста, чей портрет доктор нарисовал ему в золотой раме из волшебных слов: семьсот или восемьсот тысяч франков!

«Через три-четыре года ей будет двадцать, а мне двадцать семь; старик толковал об испытаниях, трудах, благонравном поведении! Каким бы хитрецом он ни представлялся, я у

него все выведу!»

Соседи расстались у ворот, и Савиньен, прощаясь, не без кокетства бросил на Урсулу умоляющий взгляд. Госпожа де Портандюэр позволила сыну проспать до полудня. Доктор же и Урсула, как ни устали с дороги, пошли к обеду. Освобождение Савиньена и его возвращение в обществе доктора объяснили городским политикам, а равно и всем наследникам, вновь, как и две недели назад, державшим совет на площади перед церковью, причины дядюшкиной отлучки. К великому удивлению немурцев, по окончании обедни госпожа де Портандюэр подозвала старого Миноре, а тот подал ей руку и проводил до дома. Старая дама пригласила доктора и его воспитанницу отобедать у нее в обществе господина кюре.

— Должно быть, он решил показать Урсуле Париж, — сказал Миноре-Левро.

— Дьявольщина! Старикан шагу не может ступить без своей молодой няньки, — воскликнул Кремьер.

— Раз старуха Портандюэр позволила ему взять себя под руку, значит, что-то их связывает, и не на шутку, — подал голос Массен.

— Неужели вы не догадываетесь, что ваш дядюшка продал ренту и выкупил молодого Портандюэра! — вскричал Гупиль. — Он отверг совет моего хозяина, но свою хозяйку он послушался... Ну и влипли же вы! Виконт предложит ему вместо расписки брачный контракт, и доктор даст в приданое за своей ненаглядной крестницей все, что полагается при таком браке.

— Неплохо придумано — выдать Урсулу за господина Савиньена, — сказал мясник. — Старая дама сегодня пригласила Миноре к обеду; Тьенетта в пять утра явилась ко мне за говяжьим филе.

— Хорошенькие дела тут творятся, Дионис! — закричал Массен, бросаясь навстречу нотариусу, который только что появился на площади.

— Дела вполне хорошие, — отвечал нотариус. — Ваш дядюшка продал ренту, а госпожа де Портандюэр просила меня зайти к ней, чтобы оформить долговое обязательство на сто тысяч франков, которые ваш дядюшка ссудил ей под залог ее имущества.

— Да, но если молодые люди вздумают пожениться?

— Это все равно, как если бы вы мне сказали, что Гупиль станет моим преемником.

— И в том и в другом нет ничего невозможного, — возразил Гупиль.

Возвратившись из церкви, госпожа де Портандюэр послала Тьенетту сказать Савиньену, что хочет его видеть.

В маленьком домике Портандюэров на втором этаже было три комнаты. По одну сторону располагались спальни старой дамы и ее покойного мужа, а между ними — просторная туалетная комната, освещавшаяся крошечным окошком; обе спальни выходили в маленькую прихожую, которая в свою очередь выходила на лестницу. По другую сторону располагалась комната, с давних пор служившая спальней Савиньену; окно ее, как и окно спальни Портандюэра-старшего, выходило на улицу. Маленькая туалетная комната Савиньена умещалась между его спальней и лестничной площадкой; свет в нее падал из слухового окошка, выходившего во двор. Спальня госпожи де Портандюэр, также выходившая окном во двор, была самым унылым местом во всем доме; впрочем, вдова проводила большую часть времени в единственной комнате первого этажа, служившей разом и гостиной, и столовой;

крытой галереей она сообщалась с кухней, расположенной в глубине двора. В спальне покойного господина де Портандюэра все было точно так же, как в день его смерти — не хватало лишь хозяина. Госпожа де Портандюэр сама застелила постель и положила на нее капитанский мундир, шпагу, красную перевязь, ордена и шляпу мужа. Золотая табакерка, из которой виконт в последний раз в жизни брал нюхательный табак, лежала на ночном столике рядом с его молитвенником, часами и любимой чашкой. В алькове над кропильницей с распятием висела прядь его седых волос в рамке. Комнату украшали любимые безделушки покойного, на столе лежали газеты, которые он читал, стояла его голландская плевательница, а над камином висела походная подзорная труба. Вдова остановила старые настенные часы в ту минуту, когда скончался господин де Портандюэр, и теперь они всегда показывали это время. В комнате до сих пор пахло пудрой и табаком умершего. Все было, как при его жизни. Войти в комнату, где все предметы напоминали о его привычках, было все равно что встретиться с ним самим. Большая трость с золотым набалдашником стояла там, где он ее поставил, а рядом лежали его плотные замшевые перчатки. На консоли сверкала золотая чаша грубой работы, стоившая, однако, тысячу экю, — подарок гаванцев, которых он спас во время американской войны за независимость, когда, благополучно доставив в порт доверенный ему караван судов, отбил нападение превосходящих сил противника. В благодарность испанский король посвятил виконта в кавалеры орденов Святого Михаила и Святого Духа. Он получил красную перевязь, ожидал производства в командиры эскадры и, будучи уверен, что получит новый чин при первой же вакансии, женился, взяв за женой двести тысяч франков. Однако Революция помешала его продвижению по службе, и он эмигрировал.

— Где матушка? — спросил Савиньен у Тьенетты.

— Она ждет вас в комнате вашего отца, — отвечала старая бретонка.

Савиньен невольно содрогнулся. Он знал строгие нравственные правила матери, ее культ чести, прямоту, веру в дворянскую доблесть и предвидел тяжелую сцену. Поэтому он шел в соседнюю комнату, как на приступ, с бьющимся сердцем и бледным лицом. Свет едва проникал в спальню покойного капитана сквозь опущенные жалюзи; госпожа де Портандюэр, одетая в черное, хранила величавый вид, как нельзя более подходящий к этой полутемной комнате-усыпальнице.

Когда сын вошел, старая дама поднялась ему навстречу и, схватив его за руки, подвела к отцовской постели.

— Господин виконт, — сказала она, — здесь испустил дух ваш отец, человек чести, которому не в чем было себя упрекнуть. Здесь витает его дух. Как он, должно быть, страдал, видя своего сына в долговой тюрьме. Будь это в прежние времена, мы избавили бы вас от этого позора, добившись королевского указа о заточении вас на несколько дней в крепость. Но, как бы там ни было, ныне вы стоите перед отцом, и он слышит вас. Вспомните все, что вы совершили, прежде чем попали в эту презренную долговую тюрьму. Можете ли вы поклясться мне перед лицом этой тени и перед всевидящим Господом, что вы не совершили подлости, что долги ваши — следствие юношеских увлечений, одним словом, что вы не запятнали свою честь? Если бы ваш отец, человек безупречной нравственности, был жив, если бы он, сидя в этом кресле, потребовал у вас отчет о вашем поведении, — обнял бы он вас, выслушав ваш рассказ?

— Да, матушка, — ответил юноша серьезно и почтительно.

Тогда старая дама раскрыла объятия и со слезами на глазах прижала сына к сердцу.

— В таком случае забудем об этом, — сказала она, — мы лишились только денег, но я буду молить Господа, чтобы он помог нам вернуть их, и коль скоро ты не запятнал нашего имени,

обними меня — я так много выстрадала!

— Клянусь тебе, дорогая матушка, — сказал Савиньен, простерев руку над отцовской постелью, — что больше я никогда не доставлю тебе подобных огорчений и сделаю все, что смогу, дабы исправить первые свои прегрешения.

— Пойдем завтракать, дитя мое, — сказала госпожа де Портандюэр, выходя из комнаты.

Если приложить к роману законы Сцены, то приезд Савиньена, последнего персонажа той скромной драмы, что разыгралась в Немуре, завершает экспозицию.

Часть вторая

НАСЛЕДСТВО МИНОРЕ

Завязка этой драмы так не нова, что в 1829 году ее можно было бы счесть окончательно устаревшей, не будь одним из главных действующих лиц старая бретонка, бывшая эмигрантка, урожденная Кергаруэт! Впрочем, следует признать, что в 1829 году дворянство частично вернуло себе в области нравственной то влияние, которого лишилось в области политической. К тому же родители испокон веков были весьма строги в том, что касается брачных уз их детей; разборчивость эта неразрывно связана с историей цивилизации и проистекает из самого духа семейственности. Она царит и в Женеве, и в Вене, и в Немуре, где Зелия Миноре-Левро отказалась, как мы видели, дать согласие на брак своего сына с дочерью незаконнорожденного. Однако всякий социальный закон знает исключения. Поэтому Савиньен надеялся, что врожденное благородство Урсулы сломит гордыню его матери, и сразу ринулся в бой. Не успел Савиньен сесть за стол, как мать стала рассказывать ему об ужасных, с ее точки зрения, письмах, которые она получила от Кергаруэтов и Портандюэров.

— Нынче Рода более не существует[155], матушка, — отвечал Савиньен, — остались одни индивидуумы! Прошли те времена, когда дворяне стояли друг за друга горой. Нынче никому нет дела до того, что вы носите фамилию Портандюэр, что вы отважны, что вы трудитесь на благо государства; вас спрашивают только об одном: «Какой налог вы платите?»

— А король? — спросила старая бретонка.

— Король разрывается между двумя палатами, как мужчина между женой и любовницей. Поэтому мне нужна богатая невеста любого происхождения, пусть даже крестьянская дочь — лишь бы за ней давали миллион и она была сносно воспитана, иначе говоря, лишь бы она окончила пансион.

— Об этом не может быть и речи! — сказала госпожа де Портандюэр.

Услышав эти слова, Савиньен нахмурился. Он знал твердую, как гранит, волю матери, иначе называемую бретонским упорством, и потому решил сразу выяснить ее отношение к щекотливому вопросу о браке.

— Итак, если бы я полюбил, например, воспитанницу нашего соседа, Урсулу, вы не позволили бы мне жениться на ней?

— Пока я жива, нет. После моей смерти ты один будешь отвечать за честь Портандюэров и Кергаруэтов и за чистоту их крови.

— Значит, вы заставите меня умирать от голода и отчаяния во имя слов, которые нынче

остаются пустым звуком, если не подкреплены звоном золота.

— Ты будешь служить отечеству и положишься на волю Божию.

— Вы хотите, чтобы я ждал вашей смерти?

— Это было бы чудовищно с твоей стороны, вот и все.

— Людовик XIV едва не женился на племяннице выскочки Мазарини[156].

— Сам Мазарини этому противился,

— А вдова Скаррона[157]?

— Она была урожденная д'Обинье! Да и брак был тайным. Но я очень стара, сын мой, — сказала госпожа де Портандюэр, покачав головой. — Когда меня не станет, женитесь на ком угодно.

Савиньен, любивший и почитавший мать, промолчал, но сразу решил стоять на своем с не меньшим упорством и непременно жениться на Урсуле: благодаря несогласию матери мысль о девушке приобрела, как водится в подобных случаях, сладость запретного плода.

Когда после вечерни доктор Миноре и Урсула, одетая в бело-розовое платье, вошли в холодную гостиную Портандюэров, девушку пробрала нервная дрожь, словно ей предстояло просить о милости королеву Франции. С тех пор как она открыла доктору свое сердце, маленький домик Портандюэров казался ей дворцом, а его хозяйка — средневековой герцогиней, стоящей неизмеримо выше ее, дочери виллана. Никогда еще Урсула не сознавала с такой безысходностью, как велика пропасть, отделяющая виконта де Портандюэра от воспитанницы врача, дочери полкового музыканта — бывшего певца Итальянской оперы и побочного сына органиста.

— Что с вами, дитя мое? — спросила Урсулу старая дама, приглашая ее сесть рядом с собой.

— Сударыня, я смущена честью, которую вы соблаговолили мне оказать...

— Ну, милая, — ответила госпожа де Портандюэр бесконечно язвительным тоном, — я знаю, как ваш опекун любит вас, и стараюсь сделать ему приятное, ведь он вернул мне блудного сына.

— Однако, дорогая матушка, — возразил Савиньен, с болью душевной видя, как сильно покраснела Урсула и какого труда ей стоило сдержать слезы, — даже если бы мы ничем не были обязаны господину кавалеру Миноре, мы, смею заверить, с не меньшей радостью наслаждались бы обществом мадемуазель Мируэ, оказавшей нам честь своим визитом.

Тут юноша с многозначительным видом пожал доктору руку и добавил: «Вы, сударь, — кавалер ордена Святого Михаила, древнейшего французского ордена, а это, без всякого сомнения, равносильно дворянскому званию».

Безупречная красота Урсулы, красота, которой несчастная любовь придала в последние несколько дней ту одухотворенность, которой отличаются портреты кисти великих мастеров, обнажающие самую душу модели, поразила и насторожила госпожу де Портандюэр: старая дворянка заподозрила, что за щедростью доктора скрывается честолюбивый расчет. Ее фраза, обращенная к Урсуле, задела доктора, в ней звучало умышленное пренебрежение к существу, которое он любил больше всего на свете; однако старик не мог сдержать улыбки, когда услышал, что Савиньен величает его кавалером, — он разглядел в этом преувеличении отвагу влюбленного, не боящегося показаться смешным.

— В прежние времена ради того, чтобы получить орден Святого Михаила, люди шли на любые безумства, — сказал бывший лейб-медик, — но ныне, господин виконт, орден этот, равно как и многие другие привилегии, утратил свое значение! Нынче им жалуют лишь врачей да нищих художников. Короли недаром объединили его с орденом Святого Лазаря[158] — бедного малого, которого, если не ошибаюсь, вернуло к жизни чудо! Так что орден Святых Михаила и Лазаря, — своего рода символ нашего существования.

После этой реплики, исполненной достоинства и в тоже время весьма ехидной, наступила тишина; никто не хотел нарушить молчания, которое становилось тягостным, но тут в дверь постучали.

— Вот и наш дорогой кюре, — сказала старая дама и поднялась навстречу аббату Шапрону, оказывая ему честь, которой не удостоились ни Урсула, ни доктор.

Старик с улыбкой смотрел то на свою воспитанницу, то на Савиньена. Человек неумный стал бы сетовать и обижаться на обращение госпожи де Портандюэр, Миноре же с его жизненным опытом без труда обошел этот риф: он принялся обсуждать с виконтом опасность, грозящую Карлу X в связи с назначением Полиньяка главой правительства[159]. Выждав достаточно, чтобы разговор о деньгах не показался мезью, доктор как бы между прочим показал старой дворянке бумаги — иск кредиторов и их расписки, подтверждающие расчеты его нотариуса.

— У моего сына нет возражений? — спросила госпожа де Портандюэр, взглянув на Савиньена; тот кивнул. — В таком случае пусть этим займется Дионис, — продолжила она, отодвигая бумаги с презрением, какого, по ее мнению, заслуживали деньги.

Унижать Богатство, по мысли госпожи де Портандюэр, значило возвышать Дворянство и сбивать спесь с Буржуазии. Несколько мгновений спустя на пороге показался Гупиль; он явился по поручению своего патрона за счетами.

— Зачем это? — спросила старая дама.

— Чтобы составить долговое обязательство; тут ведь не было передачи наличных из рук в руки, — отвечал старший клерк, нагло поглядывая по сторонам.

Урсула и Савиньен, впервые в жизни обменявшиеся взглядами с этим отвратительным существом, вздрогнули, словно при виде жабы, и в душу обоих закралось мрачное предчувствие. В языке человеческом нет названия этому смутному, неизъяснимому видению будущего, рождаемому, вероятно, деятельностью внутреннего существа, о котором рассказывал доктору Миноре последователь Сведенборга. Догадываясь, что эта ядовитая гадина сыграет в их жизни роковую роль, Урсула ужаснулась при появлении Гупиля, но вскоре, поняв, что Савиньен разделяет ее чувства, успокоилась и даже ощутила невыразимую радость.

— Этого клерка господина Диониса не назовешь красавцем! — сказал Савиньен, когда за Гупилем закрылась дверь.

— Разве нам есть дело до того, красивы эти люди или безобразны? — промолвила госпожа де Портандюэр.

— Что он безобразен — не его вина, — сказал кюре, — хуже, что он безмерно зол и способен на любую подлость.

Как ни старался доктор быть любезным, вскоре он сделался чопорен и холоден. Юным влюбленным было не по себе. Если бы не добродушие аббата Шапрона, чья кроткая веселость оживляла обед, положение доктора и его воспитанницы сделалось бы невыносимым. За десертом, видя бледность Урсулы, старик сказал ей: «Если тебе нехорошо,

дитя мое, мы можем тотчас вернуться домой».

— Что с вами, милочка? — спросила старая дворянка.

— Увы, сударыня, — сурово отвечал доктор, — она привыкла к улыбкам, и душа ее зябнет.

— Совершенно неправильное воспитание, господин доктор, — сказала госпожа де Портандюэр. — Не так ли, господин кюре?

— Да, сударыня, — ответил Миноре, взглянув на священника, который не нашелся, что сказать. — Я признаю, что дал этому ангельскому созданию такое воспитание, что жизнь в свете убила бы ее, но я не умру, пока не огражу ее от холодности, равнодушия и ненависти.

— Крестный!.. Умоляю вас!.. перестаньте. Мне здесь очень хорошо, — вскрикнула Урсула, не отводя глаз от госпожи де Портандюэр; последние слова девушки прозвучали бы слишком многозначительно, произнеси она их, глядя на Савиньена.

— Не знаю, сударыня, хорошо ли у нас мадемуазель Урсуле, — сказал Савиньен, — но меня вы мучаете.

Услышав слова великодушного юноши, Урсула побледнела и попросила госпожу де Портандюэр извинить ее; она поднялась, оперлась на руку своего опекуна, попрощалась, вышла из дома Портандюэров, пересекла улицу, вбежала в гостиную и, уронив голову на крышку фортепьяно, разрыдалась.

— Почему ты не хочешь поверить моему стариковскому опыту, жесткосердое дитя?.. — в отчаянии воскликнул доктор. — Дворяне никогда не согласятся считать себя обязанными нам, простым буржуа. Они уверены, что оказывать им услуги — наш долг. К тому же старая дама заметила, что ты нравишься Савиньену и испугалась, как бы он тебя не полюбил.

— В конце концов, он ведь на свободе, и это главное, — ответила Урсула. — Но пытаться унижить такого человека, как вы!..

— Подожди немного, девочка моя, я скоро вернусь.

Возвратившись к госпоже де Портандюэр, доктор застал у нее Диониса, а также господина Бонграна и мэра Левро — свидетелей, без которых документы, подписанные в городках, где есть всего один нотариус, считаются недействительными. Миноре отозвал Диониса в сторону и шепнул ему на ухо несколько слов, после чего нотариус прочел текст долгового обязательства, согласно которому доктор Миноре ссудил госпоже де Портандюэр сто тысяч франков из пяти процентов под залог всей ее собственности. Когда Дионис закончил чтение, кюре посмотрел на доктора, и тот утвердительно кивнул ему. Бедный священник что-то шепнул своей прихожанке, но старая дама вполголоса ответила: «Я не желаю быть чем-либо обязанной этим людям».

— Сударь, матушка щадит меня, — сказал Савиньен доктору, — деньги будет отдавать она, а право благодарить вас предоставлено мне.

— Однако в конце первого года вам придется выплатить одиннадцать тысяч франков, включая расходы на оформление обязательства, — сказал кюре.

— Сударь, — обратился Миноре к Дионису, — поскольку господин и госпожа де Портандюэр не в состоянии уплатить вам, прибавьте эти деньги к одолженной сумме, я заплачу.

Дионис внес необходимые поправки; общая сумма исчислялась теперь ста семью тысячами франков. Когда все бумаги были подписаны, Миноре, сославшись на усталость, удалился вместе с нотариусом и свидетелями,

— Сударыня, — сказал кюре, когда все ушли, — к чему оскорблять такого превосходного человека, как господин Миноре, который сберег вам в Париже по меньшей мере двадцать пять тысяч франков и выказал немалую деликатность, дав двадцать тысяч из них вашему сыну для уплаты долга чести?

— Ваш Миноре плут, — отвечала старая дама, беря понюшку табаку, — он знает, что делает.

— Матушка полагает, что он хочет завладеть нашей фермой, чтобы вынудить меня жениться на его воспитаннице, — как будто отпрыска Портандюэров и Кергаруэтов можно женить против воли.

Час спустя Савиньен отправился к доктору, где уже собрались влекомые любопытством наследники. Появление юного виконта произвело впечатление тем более сильное, что каждый из присутствующих оценил его по-своему. Девушки Кремьер и Массен шептались, глядя на зардевшуюся Урсулу. Их матери сказали Дезире, что Гупиль, пожалуй, совершенно прав, когда толкует о возможности этого брака. Все впились глазами в доктора, но он не поднялся навстречу виконту и, слегка кивнув ему головой, продолжал партию в триктрак с господином Бонграном.

Холодность доктора поразила наследников.

— Урсула, дитя мое, поиграй нам, — сказал он.

Чтобы скрыть смущение, девушка с радостью села за фортепьяно и взялась за ноты в зеленом переплете; наследники выказали бурную радость и приготовились терпеливо сносить пытку музыкой и необходимость молчать — так жаждали они дознаться, каковы отношения между их дядюшкой и Портандюэрами.

Нередко случается, что простенькая пьеска, исполненная юной девушкой под влиянием глубокого чувства, производит более сильное впечатление, чем грандиозная увертюра, сыгранная с размахом целым оркестром. Во всяком музыкальном произведении помимо замысла композитора живет еще душа исполнителя, которому музыка дает неповторимую возможность сообщать смысл и поэзию самым незначительным фразам. Паганини некогда доказал это своей игрой на скрипке, а сегодня Шопен делает то же самое, играя на таком неблагодарном инструменте, как фортепьяно. Этот гениальный человек — не столько музыкант, сколько звучащая душа, способная выразить себя во всякой музыке, даже в простейших аккордах. Благодаря своему роковому и возвышенному душевному строю Урсула принадлежала к числу этих редких гениев; вдобавок старый Шмуке, учитель, приезжавший в Немур каждую субботу, а во время пребывания Урсулы в Париже занимавшийся с нею ежедневно, довел мастерство своей ученицы до совершенства. Девушка выбрала «Сон Руссо» — юношеское сочинение Герольда[160], не лишенное, впрочем, известной глубины, открывающейся в хорошем исполнении; она вложила в свою игру все томившие ее чувства и оправдала подзаголовок пьесы — «Каприз». Ее душа, изливаясь в аккордах нежных и мечтательных, говорила с душой Савиньена и окутывала ее облаком почти зримых мыслей. Сидя возле рояля, облокотившись на его крышку и подперев голову левой рукой, молодой дворянин любовался Урсулой, которая, глядя вперед, казалось различала за деревянной стенкой инструмента некий таинственный мир. Достало бы и меньшего, чтобы влюбиться без памяти. Искренние чувства наделены магнетической силой, а Урсула, можно сказать, старалась открыть юноше свою душу, как кокетка, наряжаясь, открывает грудь и плечи. Итак, Савиньен откликнулся на зов сердца девушки, которая, стремясь поделиться самым сокровенным, обратилась к единственному искусству, говорящему с мыслью на языке мысли и не прибегающему к словам, краскам и формам. Душевная чистота обладает той же притягательной силой, что и детство, она столь же пленительна и неотразима, а между тем никогда еще душа Урсулы не была так чиста, как в эти мгновения, когда она вступала в новую жизнь. Кюре разрушил грезы юноши, предложив ему быть четвертым в висте. Урсула

продолжала играть, наследники все разошлись, за исключением Дезире, которому хотелось вызнать намерения двоюродного дедушки.

— Талант ваш, мадемуазель, так же прекрасен, как и ваша душа, — сказал Савиньен, когда девушка закрыла фортепьяно и села рядом с крестным. — У кого вы учились?

— У немецкого музыканта, который живет неподалеку от улицы Дофин, на набережной Конти, — сказал доктор. — Если бы он не занимался с Урсулой ежедневно, пока мы были в Париже, он приехал бы в Немур сегодня утром.

— Он не только великий музыкант, — сказала Урсула, — у него такая добрая, чистая душа.

— Эти уроки, должно быть, стоят больших денег, — воскликнул Дезире.

Игроки обменялись ироническими улыбками. Когда партия подошла к концу, доктор, чем-то озабоченный, взглянул на Савиньена с видом человека, вынужденного исполнить свой долг.

— Сударь, — сказал он, — я очень благодарен вам за чувства, побудившие вас так скоро отдать мне визит, однако ваша матушка подозревает меня в весьма неблагоприятных намерениях, и я дал бы ей основания увериться в этих подозрениях, если бы не попросил вас более не приходить сюда, как ни лестны для меня ваши посещения и как ни приятно мне ваше общество. Я дорожу своим честным именем и душевным покоем, поэтому я обязан прекратить всякие сношения с вами. Передайте вашей матушке, что если я не прошу ее оказать честь мне и моей воспитаннице, отобедав у нас в следующее воскресенье, то лишь оттого, что уверен: в этот день она будет нездорова.

Старик протянул молодому виконту руку, тот почтительно пожал ее со словами: «Вы правы, сударь!» — и вышел, не преминув, впрочем, отвесить Урсуле поклон с видом меланхолическим, но ничуть не унылым.

Дезире вышел вместе с Савиньеном, но не успел сказать ему ни слова, поскольку виконт тут же скрылся в своем доме.

Два дня подряд у наследников только и было разговоров что о размолвке доктора Миноре с Портандюэрами; они отдали должное проницательности Диониса и перестали беспокоиться о судьбе своего наследства. Так в эпоху, когда грани между сословиями стираются, когда мания равенства ставит на одну доску всех индивидуумов и грозит гибелью всякой иерархии, вплоть до военной субординации, последнего оплота власти во Франции, когда, следовательно, преградой страсти может служить лишь личная неприязнь либо имущественное неравенство, — в эту эпоху упрямство старой бретонки и достоинство доктора Миноре воздвигли между двумя влюбленными препятствия, которые, как, впрочем, бывало и прежде, не только не могли истребить любовь, но, напротив, лишь сильнее разжигали ее. Влюбленный ценит женщину тем дороже, чем труднее она ему достается, а Савиньен предвидел борьбу, тяготы, неизвестность — и от одного этого Урсула стала ему дорога; он решил во что бы то ни стало завоевать ее. Быть может, чувства наши повинуются всеобщему закону природы, дарующей долгую жизнь тому, что рождается в муках.

На следующее утро Урсула и Савиньен проснулись с одной и той же мыслью. Такое согласие послужило бы источником любви, не будь оно его пленительным залогом. Раздвинув занавески ровно настолько, чтобы увидеть окно Савиньена, девушка встретилась глазами со своим возлюбленным, стоявшим у окна в доме напротив. Как подумаешь о тех бесценных услугах, какие оказывают влюбленным окна, нельзя не признать, что их недаром обложили налогом[161]. Выразив таким образом свой протест против суровости крестного, Урсула задернула занавески и отворила окно, чтобы опустить жалюзи, сквозь которые она могла смотреть, оставаясь невидимой. За день она раз семь или восемь поднималась к себе в комнату и всякий раз заставляла виконта за сочинением какого-то письма: он писал, комкал

бумагу и снова брался за перо. Без сомнения, он писал ей! На следующее утро тетушка Буживаль вручила Урсуле следующее послание:

«

Мадемуазель Урсуле .

Я прекрасно понимаю, какое недоверие должен внушать молодой человек, оказавшийся по своей вине в том положении, из которого я вышел лишь благодаря вашему опекуну: более чем кто бы то ни было я обязан представить серьезные ручательства своей добропорядочности, поэтому, мадемуазель, я преклоняю перед вами колена и признаюсь в любви с величайшим смирением. Признание мое вызвано не страстным порывом, оно рождено уверенностью в том, что любовь к вам — моя судьба. Я питал безумную страсть к моей юной тетке, графине де Кергаруэт, и страсть эта была столь сильна, что довела меня до тюрьмы, ныне же ваш образ изгнал из моего сердца всякое воспоминание о графине — не сочтете ли вы это одним из доказательств искренности моего чувства? С тех пор как я проснулся в Буроне и увидел вас, по-детски очаровательную во сне, вы безраздельно завладели моей душой. Я не хочу другой жены. Вы обладаете всеми достоинствами, какие я мечтаю видеть в женщине, которая будет носить мою фамилию. Полученное вами воспитание и благородство вашего сердца сделают вас достойным украшением любого, даже самого изысканного общества. Впрочем, я не в силах нарисовать вам ваш верный портрет; я могу лишь любить вас. Услышав вчера вашу игру, я вспомнил слова, сказанные, кажется, именно о вас: «Созданная, чтобы приковывать сердца и пленять взоры, нежная и снисходительная, остроумная и рассудительная, учтивая, словно вся жизнь ее прошла при дворе, бесхитростная, как пустынный, никогда не знавший света, она наделена пламенной душой, которую сдерживает светящаяся в ее глазах божественная стыдливость».

Я оценил вашу прекрасную душу, являющую себя даже в мелочах. Это и придает мне смелости умолять вас, если вы еще никого не любите, позволить доказать своим поведением и заботой о вас, что я вас достоин. Для меня это вопрос Жизни, и вы можете не сомневаться, что я употреблю все силы не только на то, чтобы понравиться вам, но и на то, чтобы заслужить ваше уважение, которое для меня дороже всего на свете. Если я смогу надеяться на это, Урсула, и если вы разрешите мне в сердце моем назвать вас своей возлюбленной, Немур станет для меня раем, а самые горькие тяготы сделаются сладостны, и я буду благодарен вам за них, как все мы благодарны за все сущее Богу. Скажите же мне, что я вправе назвать себя Вашим

Савиньеном ».

Урсула поцеловала письмо, еще раз перечитала его, судорожно прижала к груди и стала одеваться, чтобы пойти показать послание Савиньена крестному.

«Боже мой! я чуть не забыла помолиться», — сказала она себе и преклонила колени перед распятием.

Через несколько минут она спустилась в сад и, отыскав своего опекуна, показала ему письмо Савиньена. Оба сели на скамейку под сенью вьющихся растений, напротив китайского павильона; Урсула с нетерпением ждала, что скажет старик, а тот не торопился отвечать, и его молчание казалось девушке бесконечным. Результатом их тайной беседы явилось следующее письмо, большая часть которого была, без сомнения, продиктована доктором.

«Сударь,

Вы оказали мне большую честь, предложив свою руку, но я еще молода и получила такое

воспитание, что сочла своим долгом показать ваше письмо своему опекуну, единственному близкому мне человеку, которого я люблю как отца и друга. Высказанные им суровые истины и должны послужить ответом на ваше послание.

Я, господин виконт, бедная девушка, и благосостояние мое всецело зависит не только от доброй воли моего крестного, но и от успеха тех мер, которые он примет, дабы оберечь меня от своих наследников, желающих мне зла. Я — законная дочь капитана Жозефа Мируэ, музыканта 45 пехотного полка, но отец мой, приходившийся шурином моему опекуну, был незаконнорожденным, и на этом основании наследники смогут начать против беззащитной девушки процесс, впрочем, совершенно несправедливый. Вы видите, сударь, что бедность — не самое большое несчастье. У меня немало причин для смирения. Я привожу вам эти доводы, которые не имеют никакого значения для любящих и преданных сердец, не ради себя, а ради вас. В самом деле, сударь, если бы я не привела вам их, меня можно было бы заподозрить в корысти, можно было бы счесть, что, ища вашей привязанности, я скрываю от вас препятствия, непреодолимые в глазах света и, главное, в глазах вашей матери. Через четыре месяца мне исполнится шестнадцать лет. Быть может, вы согласитесь, что мы оба слишком молоды и неопытны, чтобы начать совместную жизнь с теми скудными средствами, которыми я обязана доброте покойного господина де Жорди. К тому же опекун мой хочет выдать меня замуж не прежде, чем мне исполнится двадцать лет. Кто знает, что пошлет вам судьба в течение этих четырех лет, прекраснейших в вашей жизни? Не губите же себя из-за бедной девушки.

Я перечислила вам, сударь, доводы моего дорогого опекуна, который не только не противится моему счастью, но, напротив, желает всеми силами ему способствовать и ждет, чтобы вместо него, немощного старца, у меня появился другой покровитель, любящий меня столь же нежно, и мне остается лишь заверить вас, что я тронута и вашим предложением, и вашими добрыми словами. Осмотрительностью моего ответа я обязана старцу, хорошо знающему жизнь, но благодарность, переполняющая мою душу, принадлежит одной мне — девушке, не ведающей никакого другого чувства.

Таким образом, сударь, я могу совершенно искренне назвать себя преданной вам

Урсулой Мируэ ».

Ответа не последовало. Быть может, Савиньен пытался сломить упорство матери? Или письмо Урсулы погасило его пыл? Эти и множество других неразрешимых вопросов жестоко мучили девушку, а следовательно, и доктора, принимавшего близко к сердцу малейшие огорчения своей любимицы. Урсула часто поднималась к себе и смотрела на Савиньена — он с задумчивым видом сидел за столом и то и дело поглядывал на ее окна. Лишь в конце недели Урсула получила от юноши письмо и поняла, что он молчал от избытка любви.

«

Мадемуазель Урсуле Мируэ .

Дорогая Урсула, я до некоторой степени бретонец, и, если я что-либо решил, ничто не может заставить меня отступить от задуманного. Ваш опекун, да продлит Господь его жизнь, прав, но разве я виноват, что люблю вас? Мне хотелось бы знать лишь одно — любите вы меня или нет? Скажите «да», подайте хоть какой-нибудь знак, — и эти четыре года станут прекраснейшей порой моей жизни!

Один из моих друзей передал моему двоюродному деду вице-адмиралу де Кергаруэту письмо, где я прошу помочь мне поступить во флот. Добрый старец, растроганный моими несчастьями, ответил, что офицерского звания мне сейчас не получить даже при поддержке

короля, ибо это противоречит уставу. Однако, проучившись три месяца в Тулоне, я смогу по приказу министра выйти в море в качестве рулевого старшины, а затем, приняв участие в сражениях с алжирцами, против которых мы начали войну[162], получу право держать экзамен на гардемарина. Наконец, если в боях с алжирцами я отличусь, то безусловно стану лейтенантом... но как скоро? Этого никто не знает. Но мне твердо обещано, что власти закроют глаза на мои прегрешения и позволят отпрыску Портандюэров поступить во флот. Я знаю, что получу вашу руку только с согласия вашего крестного, и ваше почтение к нему лишь усиливает мою любовь к вам. Поэтому, прежде чем дать ответ своим покровителям, я хочу спросить совета у него — от его слов зависит все мое будущее. Но, что бы ни случилось, знайте: богатая или бедная, дочь полкового музыканта или принцесса, вы — избранница моего сердца. Дорогая Урсула, мы живем в такое время, когда предрассудки, которые прежде разлучили бы нас, уже не так сильны, чтобы помешать нашему браку. Итак, сердце мое принадлежит вам, а залог вашего благополучия я вручу вашему дяде! Он не ведает, что в несколько мгновений я полюбил вас сильнее, чем он за все пятнадцать лет вашей жизни. До вечера».

— Прочтите, крестный, — с гордостью произнесла Урсула, подавая доктору письмо.

— О дитя мое, — воскликнул доктор, окончив чтение, — я доволен даже больше тебя. Этим решением юноша исправляет все свои заблуждения.

Савиньен пришел к соседям после обеда; доктор в это время прогуливался с Урсулой по террасе над рекой. Получив из Парижа новые наряды, влюбленный виконт не преминул подчеркнуть свои природные достоинства и оделся так продуманно и элегантно, как если бы собирался покорять гордую красавицу графиню де Кергаруэт. Завидев его издали, бедная девочка крепко ухватилась за руку дяди, как будто боялась рухнуть в пропасть, и доктор с ужасом услышал, как сильно и часто колотится ее сердце.

— Оставь нас, дитя мое, — сказал он своей воспитаннице после того, как Савиньен почтительно поцеловал ей руку.

Девушка отошла и села на крыльце китайского павильона.

— Сударь, отдадите ли вы это очаровательное создание за капитана корабля? — шепотом спросил виконт у доктора.

— Нет, — ответил Миноре с улыбкой, — боюсь, пришлось бы слишком долго ждать. А вот за лейтенанта — пожалуй.

На глазах у юноши выступили слезы радости, и он с чувством пожал руку старика.

— Итак, мне придется уехать, — сказал Савиньен, — и постараться выучить за полгода то, что ученики морской школы осваивают в течение шести лет.

— Уехать? — вскрикнула Урсула, вскочив на ноги.

— Да, мадемуазель, чтобы стать достойным вас. Поэтому, чем скорее я уеду, тем лучше докажу свою любовь.

— Сегодня третье октября, — сказала девушка, глядя на Савиньена с бесконечной нежностью, — останьтесь до девятнадцатого.

— Да, — кивнул старик, — мы отпразднуем вместе день святого Савиньена.

— Тогда я сегодня же еду в Париж, — воскликнул молодой человек. — Я проведу там неделю, уговорюсь со своими покровителями, куплю книги и навигационные приборы, заручусь благосклонностью министра и постараюсь добиться для себя наилучших условий.

Урсула и ее крестный проводили Савиньена до калитки. Они видели, как он вошел к себе, а вскоре вышел вместе с Тьенеттой, которая несла маленький сундучок.

— Ведь вы богаты, зачем же заставляя его служить во флоте? — спросила Урсула крестного.

— Боюсь, скоро окажется, что и в долги он влез по моей вине, — улыбнулся доктор. — Я вовсе не заставляю его, но мундир, дорогая моя девочка, и крест Почетного легиона, добытый в бою, искупят многие его прегрешения. Лет через шесть он может стать капитаном корабля, а большего я от него и не требую.

— Но ведь он может погибнуть, — сказала Урсула, побледнев.

— Влюбленным, как и пьяницам, помогает Бог, — шутливо ответил доктор.

Вечером втайне от крестного бедная девочка попросила тетушку Буживаль отрезать несколько прядей ее прекрасных золотистых волос; день спустя она упростила своего учителя музыки, старого Шмуке, заказать из них браслет; Шмуке обещал проследить, чтобы волосы не подменили и чтобы браслет был готов к следующему воскресенью. По возвращении Савиньен сообщил доктору и его воспитаннице, что зачислен во флот. 25 октября ему следовало прибыть в Брест. 18 октября он обедал у доктора и весь этот день, равно как и следующий, провел в его доме; несмотря на мудрые советы старика, влюбленные не сумели скрыть свое чувство ни от тетушки Буживаль, ни от аббата Шапрона, мирового судьи и немурского врача.

— Дети, — сказал им доктор, — вы играете с огнем, выставляя напоказ ваше счастье.

В день именин Савиньена во время обедни молодые люди несколько раз встречались глазами; Урсула сгорала от нетерпения, и вот наконец Савиньен пересек улицу, и влюбленные оказались в маленьком саду Миноре совсем одни. Старый доктор по доброте душевной остался в китайском павильоне читать газеты.

— Дорогая Урсула, — сказал Савиньен, — хотите ли вы доставить мне такую радость, какую не доставила бы мать, второй раз дав мне жизнь?

— Я знаю, о чем вы говорите, — перебила его Урсула. — Вот мой ответ, — и, вынув из кармана передника браслет, сплетенный из ее волос, она протянула его юноше, вся дрожа от беспредельной радости. — Носите его во имя нашей любви, — сказала она. — Пусть мой подарок напоминает вам, что моя жизнь неотделима от вашей, и да хранит он вас от всех опасностей!

«Ах, маленькая плутовка! она дарит ему браслет из своих волос, — сказал себе доктор. — Как же она на это решилась? Отрезать такие чудесные волосы!.. Да она не пожалела бы для него и моей жизни!»

— Вы не осудите меня, если, прежде чем уехать, я попрошу вас дать мне слово, что вы не выйдете замуж ни за кого, кроме меня? — спросил Савиньен, поцеловав браслет и глядя на Урсулу со слезами на глазах.

— Я приезжала в Сент-Пелажи и смотрела на ее стены, когда вы там находились, — зардевшись, ответила Урсула, — но если вам этого мало, я повторю: я никогда не полюблю никого, кроме вас, Савиньен, и никогда не назову своим мужем никого, кроме вас!

Заметив, что их почти не видно за деревьями, юноша не смог удержаться от искушения прижать ее к своему сердцу и поцеловать в лоб, но она слабо вскрикнула и упала на скамью; Савиньен опустился рядом с ней, прося прощения, но тотчас увидел перед собой доктора.

— Друг мой, — сказал старик, — Урсула — очень хрупкий цветок, грубое обращение способно убить ее. Ради нее вы должны умерить силу своей любви. О, если бы вы любили ее все шестнадцать лет ее жизни, вам достало бы ее слова, — ехидно добавил он, перефразируя конец последнего письма Савиньена.

Два дня спустя юноша уехал. Хотя он постоянно писал Урсуле, девушку поразило после его отъезда какой-то странный недуг. Словно червь, точащий изнутри прекрасный плод, сердце ее томила тоска. Она потеряла аппетит и побледнела. Когда крестный в первый раз спросил ее, чего ей недостает, она ответила: «Я хочу увидеть море».

— Кто же ездит на море в декабре? — отвечал старик.

— Но мы поедem? — сказала девушка.

Как только поднимался сильный ветер, Урсула, невзирая на ученые рассуждения крестного, кюре и мирового судьи, толковавших о различиях между ветрами на море и на суше, не находила себе места от волнения, воображая, как Савиньен борется с разбушевавшейся стихией. Несколько дней она была счастлива: мировой судья подарил ей гравюру, изображающую гардемарина в мундире. Она искала в газетах известия об экспедиции, в которой принимал участие Савиньен, зачитывалась морскими романами Купера[163] и мечтала выучить морские термины. Эти проявления верности, у других женщин нередко притворные, у воспитанницы доктора Миноре были совершенно естественны; она думала о Савиньене так напряженно, что, прежде чем получить от него очередное письмо, всякий раз видела вещий сон и утром объявляла доктору, что сегодня получит весточку от возлюбленного.

— Теперь, — сказала она, когда это произошло в четвертый раз, и кюре с доктором уже перестали удивляться ее пророчествам, — я спокойна: где бы Савиньен ни был, если его ранят, я тотчас узнаю об этом.

Старый врач помрачнел и погрузился в глубокую задумчивость.

— Что с вами? — спросил у него мировой судья и кюре, когда Урсула вышла из комнаты.

— Будет ли она жить? — ответил он вопросом на вопрос. — Справится ли этот нежный и хрупкий цветок с сердечными тревогами?

Между тем «маленькая сновидица», как прозвал ее кюре, трудилась изо всех сил: понимая, что светская дама должна быть блестяще образованна, она тратила все время, свободное от занятий пением, гармонией и композицией, на чтение книг, которые выбирал для нее в богатой библиотеке крестного аббат Шапрон. Однако, как ни богата занятиями была ее жизнь, она тосковала, хотя и не жаловалась. Нередко она проводила целые часы в своей комнате, глядя на окно Савиньена. В воскресенье после обеда она шла следом за госпожой Портандюэр и смотрела на нее с нежностью, ибо, несмотря на всю суровость старой дворянки, любила в ней мать своего избранника. Урсула сделалась еще благочестивей и каждое утро ходила в церковь, ибо твердо верила, что вещие ее сны — от Бога. Напуганный разрушительным действием этой любовной тоски, доктор в день рождения Урсулы дал обещание съездить с ней в Тулон посмотреть на отплытие эскадры, в которой служил Савиньен. Мировой судья и кюре хранили в тайне цель этого путешествия, возбуждавшего острое любопытство наследников; считалось, что оно предпринято, чтобы поправить здоровье Урсулы. Увидев Савиньена, который не ждал ее приезда, в форме гардемарина, побывав на прекрасном флагманском корабле и узнав, что министр лестно отрекомендовал юного Портандюэра адмиралу, командующему эскадрой[164], Урсула согласилась поехать в Ниццу, а оттуда берегом Средиземного моря — в Геную, где узнала о благополучном прибытии французского флота к алжирским берегам. Доктор хотел продолжить путешествие и показать Урсуле Италию — как для того, чтобы развлечь свою крестницу, так и для того,

чтобы расширить ее кругозор знакомством с чужими краями и нравами, с волшебной землей, изобилующей шедеврами искусства и хранящей блестящие следы стольких цивилизаций, однако известие о сопротивлении, оказанном королем знаменитой Палате 1830 года[165], заставило путешественников возвратиться во Францию. Урсула совершенно поправилась и везла домой сокровище — прелестную модель корабля, на котором служил Савиньен.

Выборы 1830 года укрепили положение наследников, которые, стараниями Дезире Миноре и Гупиля, образовали в Немуре комитет, добившийся, чтобы от Фонтенбло был выдвинут кандидат-либерал. Массен имел огромное влияние на сельских выборщиков. Выборщиками были и пять арендаторов почтмейстера. Более одиннадцати голосов доставил либералам Дионис. Кремьер, Массен, почтмейстер и их сторонники так часто собирались у нотариуса, что вскоре это вошло у них в привычку, и к тому времени, когда доктор возвратился в Немур, гостиная Диониса сделалась штаб-квартирой наследников. Мировой судья и мэр, объединившиеся в борьбе с немурскими либералами и потерпевшие поражение, несмотря на поддержку владельцев соседних замков, сдружились, сплоченные общей неудачей. О результатах этой борьбы, в ходе которой впервые обнаружилось существование в Немуре двух партий и стала очевидна сила наследников, доктор узнал от Бонграна и аббата Шапрона. Тем временем Карл X отбыл из Рамбуйе в Шербур. Дезире Миноре, разделявший взгляды парижского адвокатского сословия, выписал из Немура пятнадцать своих приятелей во главе с Гупилем; почтмейстер дал им лошадей, и они прибыли к Дезире в ночь на 28 июля. Вместе с этим отрядом Гупиль и Дезире участвовали в захвате Ратуши. Дезире Миноре получил орден Почетного легиона и был назначен помощником королевского прокурора в Фонтенбло. Гупиль получил крест. Дионис был избран мэром вместо съера Левро, а в муниципальный совет вошли Миноре-Левро, ставший помощником мэра, Массен, Кремьер и все прочие завсегда гостиней Диониса. Бонгран сохранил свое место лишь благодаря заступничеству сына, назначенного королевским прокурором в Мелен и всерьез подумывавшего о женитьбе на мадемуазель Левро. Узнав, что трехпроцентная рента идет по сорок пять франков, доктор отправился в Париж и обратил пятьсот сорок тысяч франков в ценные бумаги на предъявителя. Оставшиеся двести семьдесят тысяч франков он также вложил в казну, но уже на свое имя, получив таким образом верных пятнадцать тысяч франков ренты. Таким же образом он распорядился капиталом, который завещал Урсуле старый Жорди, и процентами, накопившимися за девять лет и составившими восемь тысяч франков, что вместе с небольшой суммой, которую он добавил от себя для ровного счета, обеспечило его воспитаннице одну тысячу четыреста франков ренты. Последовав совету хозяина, тетюшка Буживаль также приобрела на все свои сбережения, исчислявшиеся пятью тысячами и несколькими сотнями франков, ценные бумаги с тем, чтобы получить триста пятьдесят франков ренты. Эти мудрые меры предосторожности, явившиеся результатом обстоятельных бесед между доктором и мировым судьей, были приняты в самой глубокой тайне, чему способствовали политические смуты. Когда жизнь в стране вернулась в привычное русло, доктор приобрел соседний домик и, сломав его, равно как и стену, отделявшую новоприобретенный участок от его собственного, построил каретный сарай и конюшню. Употребить капитал, приносящий тысячу франков ренты, на хозяйственные постройки было, по мнению всех наследников, чистым безумием. Мнимое это безумие ознаменовало новую эру в жизни доктора: воспользовавшись тем, что лошади и экипажи продавались тогда за бесценок, он купил в Париже трех великолепных лошадей и коляску.

Когда дождливым утром в начале ноября 1830 года старик впервые подъехал к церкви в коляске и, выйдя из нее первым, помог выйти Урсуле, все жители Немура сбежались на площадь, как для того, чтобы рассмотреть экипаж доктора и расспросить его кучера, так и для того, чтобы позлословить по адресу его воспитанницы, чьим безмерным тщеславием Массен, Кремьер, почтмейстер и их супруги объясняли причуды дядюшки.

— Гляди-ка Массен! Карета! — заорал Гупиль. — Ну что, наследство скачет к вам во весь опор?

— Тебе, должно быть, положили хорошее жалованье, Кабироль? — спросил почтмейстер у сына одного из своих кондукторов, оставшегося подле лошадей. — Надо думать, немного эти лошади сносят подков у восьмидесятичетырехлетнего старика. Во сколько же они обошлись?

— В четыре тысячи франков. Коляска, хоть и куплена по случаю, стоила две тысячи, но она очень хороша, с патентованными колесами.

— Как вы сказали, Кабироль? — переспросила госпожа Кремьер.

— Он сказал, что колеса с тентами, — ответил Гупиль. — Это выдумали англичане. Видите: красиво, ловко пригнано, ни за что не цепляется и нет этого отвратительного железного штыря, вылезавшего за ось.

— Значит, это называется колеса со стенками? — неосторожно поинтересовалась госпожа Кремьер.

— Ну, разумеется, их можно вешать на стенку!

— А, понятно, — протянула госпожа Кремьер.

— Впрочем, вы порядочная женщина, грешно вас обманывать, дело не в этом, а в том, что у каждого колеса ось спрятана между двумя стенками.

— Да, сударыня, — сказал Кабироль, попавшийся на удочку Гупиля, говорившего самым серьезным тоном.

— Как бы там ни было, это прекрасный экипаж, и только богатый человек может позволить себе такую роскошь, — сказал Кремьер.

— Крошка ни в чем себе не отказывает, — подвел итог Гупиль. — И правильно делает: вот что значит наслаждаться жизнью. А почему у вас, папаша Миноре, нет таких отличных лошадей и колясок? Почему вы позволяете себя унижать? Будь я на вашем месте, я завел бы себе карету не хуже королевской!

— Послушай, Кабироль, — спросил Массен, — это девчонка так разоряет дядюшку?

— Не знаю, — отвечал Кабироль. — Но вообще-то хозяйка в доме она. Из Парижа учителя так и шастают. Говорят, теперь она будет учиться живописи.

— Вот и сняла бы с меня портрет, — сказала госпожа Кремьер.

В провинции до сих пор говорят «снять портрет» вместо «написать».

— А ведь старому немцу не отказали от места, — сказала госпожа Массен.

— Он и сегодня здесь, — подтвердил Кабироль.

— Пашню маслом не испортишь, — заметила госпожа Кремьер, вызвав всеобщий хохот.

— Да, — воскликнул Гупиль, — наследства вам теперь не видать! Урсуле скоро исполнится семнадцать; она хорошеет с каждым днем; юным особам полезны путешествия, а маленькая плутовка вертит дядюшкой, как хочет. В неделю ей приходит не меньше пяти-шести посылок, портнихи и шляпницы приезжают на примерку из Парижа. Недаром моя хозяйка с ума сходит от злости. Подождите, пока кончится обедня, и посмотрите на ее скромненький платочек — настоящий кашемир ценою шестьсот франков.

Последние слова Гупиля произвели на наследников впечатление разорвавшейся бомбы, и старший клерк потирал руки от удовольствия.

Выписанный из Парижа обойщик заново оклеил зеленую гостиную доктора. Видя, какой роскошью окружает себя старый Миноре, горожане осуждали его и за то, что он утаивал от всех свое состояние, хотя на деле у него не меньше шестидесяти тысяч ливров годового дохода, и за то, что он сорит деньгами ради Урсулы. Его изображали то миллионщиком, то распутником. В конце концов все сошлись на том, что «старик спятил». Это настроение умов имело свою положительную сторону, ибо, пойдя по ложному следу, родственники доктора упустили из виду любовь Савиньена и Урсулы, — истинную причину щедрости доктора, который с наслаждением приготавливал свою воспитанницу к роли виконтессы и, имея более пятидесяти тысяч франков дохода, доставлял себе удовольствие баловать свою любимицу.

В феврале 1832 года Урсуле исполнилось семнадцать лет; утром в день своего рождения она поднялась с постели и увидела у окна в доме напротив Савиньена в форме лейтенанта.

— Почему же я ничего об этом не знала? — удивилась она.

Савиньен участвовал в штурме Алжира[166] и получил крест за геройство и отвагу, однако следующие несколько месяцев корвет его провел в плаванье, и у юноши не было возможности отправить доктору письмо, а между тем он не хотел уходить в отставку, не посоветовавшись с опекуном своей возлюбленной. Стремясь сохранить во флоте отпрыска славного рода Портандюэров, новое правительство воспользовалось июльскими волнениями, чтобы присвоить Савиньену звание лейтенанта. Получив двухнедельный отпуск, новоиспеченный лейтенант прибыл из Тулона в почтовой карете, чтобы поздравить Урсулу с днем ее рождения и спросить совета у старого Миноре.

С криком: «Приехал!» — девушка бросилась в спальню крестного.

— Превосходно! — отвечал доктор. — Я догадываюсь, почему он хочет оставить службу; теперь ему можно жить в Немуре.

— Ах! это для меня самый лучший подарок! — воскликнула девушка, обнимая крестного.

Она подала Савиньену знак из окна, и молодой дворянин тотчас явился; Урсула не могла налюбоваться на юного моряка, который, как ей казалось, стал еще красивее. В самом деле, военная служба придает жестам, походке, облику мужчины решительность, степенность и некую прямоту, позволяющую самому поверхностному наблюдателю распознать военного даже в штатской одежде: ничто не доказывает столь неопровержимо, что мужчина создан, чтобы повелевать. Урсула полюбила этого нового Савиньена еще сильнее; рука об руку они прогуливались по саду, и девушка с детской радостью расспрашивала о том, как он в звании гардемарина штурмовал Алжир. Разумелось, что Алжир захватил именно Савиньен. Когда она смотрит на орден Савиньена, говорила Урсула, у нее перед глазами все становится красным. Доктор, из своей комнаты наблюдавший за влюбленными, вскоре вышел к ним. Не открываясь виконту полностью, он все же сказал, что если госпожа де Портандюэр даст согласие на его брак с Урсулой, молодоженам вполне достанет приданого невесты и они обойдутся без жалованья Савиньена.

— Увы, — сказал Савиньен, — чтобы сломить сопротивление моей матери, потребуется немало времени. Перед отъездом я предложил ей на выбор: либо я остаюсь подле нее и женюсь на Урсуле, либо надолго покидаю отчий дом. И вот, зная, что служба моя сопряжена с опасностями, она все же выбрала службу.

— Но, Савиньен, мы ведь будем вместе, — сказала Урсула, нетерпеливо дернув его за руку.

Видеть любимого и не расставаться с ним — для Урсулы любовь исчерпывалась этим, больше ей ничего не было нужно; столько невинности было в ее очаровательном жесте и обиженном голосе, что Савиньен и доктор взглянули на нее с умилением. Юноша отослал прошение об отставке, и день рождения Урсулы превратился благодаря присутствию ее

нареченного в настоящее торжество. Прошло несколько месяцев, наступил май, и жизнь в доме доктора Миноре потекла так же спокойно, как прежде, только число завсегдатаев увеличилось еще на одного. Частые посещения молодого виконта были тем скорее истолкованы как визиты жениха, что как ни скромно держались влюбленные на прогулках и в церкви, они не могли скрыть согласие своих сердец. Дионис довел до сведения наследников, что старый доктор не спрашивает с госпожи де Портандюэр процентов и старая дама задолжала их уже за три года.

— Она вынуждена будет уступить и дать согласие на неравный брак сына, — сказал нотариус. — Если это несчастье случится, то, пожалуй, большая часть состояния вашего дядюшки послужит, как говорил дон Базиль[167], доводом неопровержимым.

Поняв, что дядюшка любит Урсулу гораздо больше, чем их, и не преминет обеспечить ей счастливое будущее за их счет, наследники прониклись к Урсуле ненавистью столь же глухой, сколь и глубокой. Со времен Июльской революции они взяли себе за правило каждый вечер собираться у Диониса; посылая проклятия влюбленным, они искали — впрочем, безуспешно — способы расстроить планы старика. Зелия, которая, разумеется, подобно доктору воспользовалась понижением курса, чтобы более выгодно поместить огромные капиталы, нападала на Урсулу и Портандюэров яростнее всех. Однажды, когда Гупиль, умиравший от скуки на вечерах у нотариуса и потому редко посещавший их, явился разведать, о чем здесь толкуют, Зелия неистовствовала пуще обычного: утром она видела, как доктор с Урсулой и Савиньеном возвращались в коляске с загородной прогулки; доброе согласие юной пары не оставляло никакого сомнения.

— Я отдала бы тридцать тысяч франков за то, чтобы Господь призвал дядюшку к себе прежде, чем он выдаст эту жеманную девчонку за виконта, — сказала Зелия.

Гупиль проводил господина и госпожу Миноре почти до самых ворот и, убедившись, что никто не может их подслушать, сказал:

— Помогите мне купить контору Диониса, и я расстрою женитьбу виконта де Портандюэра.

— Каким образом? — спросил великан-почтмейстер.

— Неужели вы полагаете, что я круглый идиот и расскажу вам свой план? — ответил старший клерк вопросом на вопрос.

— Так давай, мой мальчик, расстрой этот брак, а там видно будет, — сказала Зелия.

— Я не стану ввязываться в такие дела, не имея других гарантий, кроме вашего: «там видно будет!» Молодой виконт храбрец, он может меня убить; я должен быть настороже и сумею при нужде сразиться с ним и на шпагах и на пистолетах. Дайте мне денег, и я сделаю все, что нужно.

— Расстрой этот брак, и я дам тебе денег, — сказал почтмейстер.

— Вы уже девять месяцев никак не решитесь одолжить мне жалкие пятнадцать тысяч франков на покупку конторы судебного исполнителя Лекера и хотите, чтобы я поверил вам на слово! Дело ваше — проморгаете наследство и поделом вам.

— Если бы речь шла о пятнадцати тысячах франков и о конторе Лекера, я бы еще подумала, — сказала Зелия, — но выложить пятьдесят тысяч эку!..

— Да ведь я отдам, — пообещал Гупиль, пристально глядя на Зелию, однако почтмейстерша осталась непреклонной. Нашла коса на камень.

— Мы подождем, — сказала Зелия.

«Имей после этого талант творить зло! — подумал Гупиль, уходя. — Но пусть только эти людишки попадутся мне, я выжму их, как лимон».

Проводя время в обществе Савиньена, доктор, мировой судья и кюре убедились, что у юноши превосходный характер. Любовь виконта к Урсуле, столь бескорыстная и верная, вызывала у троих друзей самое живое сочувствие, и в мыслях они давно соединили судьбы детей. Вскоре однообразие патриархальной жизни и уверенность в будущем придали отношениям Урсулы и Савиньена видимость братской любви. Доктор часто оставлял их одних. Он был уверен в очаровательном юноше, который, входя, целовал Урсуле руку, но никогда не стал бы делать этого наедине с ней, с таким почтением оберегал он невинность и душевную чистоту девушки, чья чувствительность, как он уже не раз убеждался, была столь обостренной, что грубое слово, равнодушный взгляд или резкий переход от нежности к суровости могли оказаться для нее смертельными. Смелее всего влюбленные были по вечерам, в присутствии стариков. Так, полные тайных радостей, прошли два года, не ознаменовавшиеся никакими событиями, кроме безуспешных попыток виконта добиться у матери согласия на брак с Урсулой. Он часами уговаривал ее, но госпожа де Портандюэр с упорством истинной бретонки либо выслушивала доводы и просьбы сына молча, либо отвечала отказом. В девятнадцать лет Урсула, изящная, прекрасно воспитанная, превосходная музыкантша, была само совершенство. Она славилась в округе красотой, благородством манер, образованностью, и однажды доктору пришлось отказать маркизе д'Эглемон, просившей руки Урсулы для своего старшего сына[168]. Савиньен случайно узнал об этом сватовстве, которое Урсула, и доктор, и госпожа д'Эглемон хранили в глубокой тайне, лишь полгода спустя. Тронутый подобной щепетильностью, он в очередной раз попытался переубедить мать и услышал в ответ: «Если д'Эглемоны согласны на неравный брак, разве это что-либо меняет для нас?»

В декабре 1834 года набожный старец стал заметно дряхлеть. Встречая доктора, которому исполнилось восемьдесят восемь лет, после обедни и видя, как пожелтело его изборожденное морщинами лицо и потускнели глаза, все в городе толковали о скорой смерти старика. «Вот тут-то все и выяснится», — говорили немурцы наследникам. В самом деле, все ждали смерти доктора Миноре, как разгадки увлекательной задачи. Однако доктор не признавал, что болен, и ни несчастная Урсула, ни Савиньен, ни мировой судья, ни кюре не решались разрушить его иллюзии; городской врач, навещавший старца каждый вечер, не отваживался прописать ему какое бы то ни было лекарство. У старого Миноре ничего не болело, он просто тихо угасал. Ум его оставался четким, ясным и могучим. У людей такого склада душа властвует над плотью и дает силы без страха смотреть в глаза смерти. Чтобы отдалить роковой час, кюре освободил своего прихожанина от посещения обедни и позволил ему творить молитву дома; доктор скрупулезно выполнял все предписания церкви: чем ближе подходил он к могиле, тем сильнее любил Господа. При свете вечности все мучившие его вопросы получали разрешение. В начале нового года Урсула добилась, чтобы крестный продал лошадей и карету и уволил Кабироля. Мировой судья, чью тревогу относительно будущего Урсулы полупризнания доктора отнюдь не рассеяли, коснулся однажды вечером деликатного вопроса о наследстве и доказал своему старому другу необходимость освободить Урсулу из-под опеки. Тогда бывшая воспитанница доктора имела бы право получить отчет об опеке и владеть имуществом, что позволило бы увеличить ее долю. Однако, хотя старик и согласился на предоставление дееспособности, он так и не открыл мировому судье своих намерений. Чем более настойчиво пытался мировой судья узнать, каким образом собирается доктор обеспечить Урсулу, тем более недоверчив делался умирающий. Кончилось тем, что напуганный Миноре решительно отказался от мысли доверить мировому судье тайну тридцати шести тысяч франков ренты в облигациях на предьявителя.

— Зачем рисковать? — спросил его Бонгран.

— Чем больше риска, тем меньше шансов проиграть, — отвечал доктор.

Бонгран повел дело с предоставлением дееспособности так споро, что закончил его ко дню двадцатилетия мадемуазель Мируэ. Этому дню рождения Урсулы суждено было стать последним праздником в жизни доктора; смутно предчувствуя близкий конец, старик решил торжественно отметить эту дату и устроил небольшой бал, на который пригласил молодых людей и девиц из семейств Дионисов, Кремьеров, Миноре и Массенов. На парадный обед, предшествовавший балу, были приглашены Савиньен, Бонгран, кюре с его двумя викариями, немурский врач и госпожи Зелия Миноре, Массен и Кремьер, а также Шмуке.

— Я чувствую, что жизнь моя близится к концу, — сказал старик нотариусу в конце вечера. — Прошу вас, приходите завтра вечером составить отчет об опеке, который я должен дать Урсуле, чтобы не осложнять дела с наследством. Благодарение Господу, я ни на су не обманул своих наследников и тратил только доходы с капитала. Господа Кремьер и Массен, а также мой племянник Миноре входят в семейный совет, и им следует прийти вместе с вами.

Массен подслушал эти слова и довел их до сведения всех остальных наследников, отчего они, вот уже четыре года то и дело бросавшиеся из одной крайности в другую и вообразившие себя то богачами, то нищими, пришли в восторг.

— Он тает как свечеч, — сказала госпожа Кремьер.

В два часа ночи, когда в гостиной доктора остались только Савиньен, Бонгран и кюре Шапрон, старый Миноре указал на Урсулу, очаровательную в бальном наряде, и сказал: «Я вверяю ее вам, друзья мои! Через несколько дней меня не станет, и я уже не смогу вступить за нее; возьмите ее под свою защиту до тех пор, пока она не выйдет замуж... Я боюсь за нее».

Слова эти произвели на друзей доктора гнетущее впечатление. Из отчета об опеке, зачитанного через несколько дней в присутствии членов семейного совета, выяснилось, что доктор должен Урсуле десять тысяч шестьсот франков, — в эту сумму входили доходы с ренты в тысячу четыреста франков, купленной на деньги капитана де Жорди, и маленький капитал в пять тысяч франков, составившийся из денежных подарков, которые доктор в течение пятнадцати лет делал своей воспитаннице к праздникам и дням рождения.

Этот отчет в присутствии свидетелей был произведен по совету мирового судьи, который опасался — и, к несчастью, недаром, — что смерть доктора повлечет за собою всяческие осложнения. На следующий день после подписания отчета об опеке, который сделал Урсулу владелицей десяти тысяч шестисот франков и ренты, приносящей в год одну тысячу четыреста франков, старик так ослабел, что уже не смог подняться с постели. Как ни замкнуто он жил, наследники, сновавшие по городу, словно бусины разорвавшихся четок, тотчас проведали, что доктор при смерти. Массен, пришедший осведомиться о здоровье дядюшки, узнал от самой Урсулы, что старик лежит в постели. На беду, немурский врач объявил, что день, когда Миноре сляжет, будет его последним днем. С той минуты, как наследники узнали, что дядюшка совсем плох, они, несмотря на холод, только и делали, что, стоя посреди улицы, на площади или у дверей собственных домов обсуждали это долгожданное событие и высматривали, не идет ли кюре соборовать умирающего. Поэтому, когда через два дня ризничий с распятием в руках, а следом за ним аббат Шапрон в сопровождении викария и двух служек пересекли Главную улицу и направились на улицу Буржуа, наследники присоединились к этой процессии, желая проникнуть в дом дядюшки и проследить, чтобы вожделенные сокровища остались в целостности и сохранности, а затем прибрать их к рукам. Доктор, заметив позади священнослужителей наследников, которые преклонили колена, но, даже и не думая молиться, пожирали его глазами, горящими ярче церковных свечей, не мог сдержать лукавой усмешки. Кюре обернулся, увидел наследников и стал читать молитвы гораздо медленнее, чем прежде. Почтмейстеру первому надоело стоять в неудобной позе, вслед за ним с колен поднялась его жена. Массен, боявшийся, как бы Зелия с мужем не прикарманили какую-нибудь мелочь, последовал за ними в гостиную, и

вскоре там собрались все наследники.

— Он слишком честный человек, чтобы собороваться понапрасну, — сказал Кремьер, — так что нам не о чем беспокоиться.

— Да, каждый получит примерно по двадцать тысяч франков ренты, — отвечала госпожа Массен.

— Сдается мне, — сказала Зелия, — что последние три года он уже не вкладывал деньги, а копил их...

— Где же он мог их хранить? Наверное, в погребе? — спросил Массен Кремьера.

— Если только у него что-нибудь осталось, — заметил Миноре-Левро.

— Но после его речи на балу какие могут быть сомнения? — воскликнула госпожа Массен.

— Как бы там ни было, — сказал Кремьер, — давайте обсудим, как быть с наследством. Договоримся полюбовно, будем торговаться или потянем жребий? В конце концов, у нас всех равные права.

Завязался спор, и вскоре обстановка накалилась. Через полчаса невнятный гул голосов, в котором выделялся крикливый голос Зелии, был слышен во дворе и даже на улице.

— Должно быть, умер, — говорили зеваки, толпившиеся на улице.

Весь этот шум долетел и до слуха доктора, который различал крик, а точнее, рев Кремьера: «Но дом, дом стоит тридцать тысяч франков! Отдайте его мне в счет тридцати тысяч франков из моей доли!»

— А мы можем заплатить наличными! — язвительно оборвала его Зелия.

— Господин кюре, — сказал старик аббату Шапрону, который, соборовав своего друга, сидел возле его постели, — устройте так, чтобы мне дали покой. Мои наследники способны, наподобие наследников кардинала Хименеса[169], разграбить мой дом еще при моей жизни, а обезьяны, которая вернула бы мне жизнь, у меня нет. Передайте им, что я прошу всех удалиться.

Кюре с врачом спустились вниз, передали наследникам приказание умирающего и, не в силах сдержать негодование, прибавили от себя немало резких слов.

— Госпожа Буживаль, — сказал врач, — закройте калитку и никого не впускайте; кажется, тут и умереть спокойно не дадут. А затем приготовьте горчичники и обложите ими ноги вашего хозяина.

— Дядя ваш не умер и может прожить еще долго, — сказал аббат Шапрон, выпроваживая наследников и их отпрысков. — Он требует полной тишины и никого не хочет видеть, кроме своей воспитанницы. Эта девушка ведет себя совсем не так, как вы!

— Старый ханжа! — закричал Кремьер. — Я останусь сторожить. Здесь, похоже, затевают что-то против нас.

Меж тем почтмейстер потихоньку скрылся в саду — он хотел вернуться в дом и предложить дядюшке свою помощь, чтобы под этим предлогом помешать ему остаться наедине с Урсулой. Он шел крадучись и совсем бесшумно, так как коридор и лестница были устланы коврами, и добрался до двери в спальню дядюшки, оставшись незамеченным. Кюре и врач ушли, тетушка Буживаль готовила горчичники.

— Мы одни? — спросил старик свою воспитанницу.

Урсула встала на цыпочки и выглянула во двор.

— Да, — сказала она, — господин кюре сам закрыл калитку, когда уходил.

— Дорогое мое дитя, — сказал умирающий, — часы мои и даже минуты сочтены. Я ведь врач и понимаю: горчичники не помогут мне протянуть до вечера. Не плачь, Урсула, — продолжал он, видя, что воспитанница его утирает слезы, — выслушай меня внимательно; от того, что я скажу, зависит твой брак с Савиньеном. Как только тетушка Буживаль придет ставить мне горчичники, спустись в китайский павильон; вот ключ; подними мраморную крышку Булева буфета[170], там лежит запечатанное письмо на твое имя, возьми его и возвращайся с ним сюда, ибо пока я не узнаю, что оно в твоих руках, я не смогу умереть спокойно. Когда меня не станет, не объявляй об этом сразу; позови господина де Портандюэра и прочти письмо вместе с ним, а затем исполни мою последнюю волю. Поклянись мне за себя и за него, что исполнишь все, о чем я прошу. Когда все будет сделано, вы объявите о моей смерти, и начнется комедия с наследством. Дай-то Бог, чтобы эти чудовища не обидели тебя!

— Хорошо, крестный.

Почтмейстер не стал дожидаться окончания разговора и на цыпочках обратился в бегство; он помнил, что дверь в кабинет запирается со стороны библиотеки. Много лет назад он присутствовал при споре подрядчика со слесарем, который утверждал, что необходимо повесить замок на дверь, ведущую в кабинет из библиотеки, — на случай, если в китайский павильон, задуманный как летний домик, через окно проникнет из сада вор. Не помня себя от жадности, Миноре по-воровски быстро вставил в замок нож и ввинтил его вместо ключа; кровь стучала у него в висках. Он вошел в кабинет, взял конверт, не тратя времени на чтение, повесил на прежнее место и закрыл замок, а потом пошел в столовую и выждал, пока тетушка Буживаль пойдет ставить хозяину горчичники. После этого он без труда покинул дом; никто его не видел, потому что Урсула считала гораздо более важным проследить за тем, как будут поставлены горчичники, чем выполнить приказание крестного.

— Письмо! Письмо! — слабеющим голосом простонал умирающий. — Сделай то, о чем я просил, вот ключ. Я хочу видеть письмо у тебя в руках.

Глаза его выражали такую тревогу, что тетушка Буживаль сказала Урсуле: «Да сделайте же наконец, что велит крестный, этак вы его уморите!»

Урсула поцеловала старика в лоб, взяла ключ и спустилась было вниз, но тотчас вернулась, ибо до нее донесся пронзительный крик тетушки Буживаль. Не увидев в руках девушки письма, старик приподнялся на постели, желая что-то сказать, страшно, тяжело вздохнул и испустил дух; в глазах его застыл ужас! Бедная Урсула, впервые в жизни видевшая смерть, упала на колени и разрыдалась. Тетушка Буживаль закрыла старцу глаза и сложила ему руки на груди. «Убрав», как она выразилась, покойника, старая кормилица побежала оповестить о смерти хозяина господина Савиньена, наследники же, толпившиеся на углу в окружении зевак и не спускавшие глаз с дома, точь-в-точь как вороны, которые дожидаются, когда труп коня закопают, чтобы тотчас налететь на могилу и разрыть землю когтями и клювами в поисках поживы, с проворством хищных птиц бросились к дому.

Тем временем почтмейстер отправился домой, чтобы узнать содержание таинственного конверта. Вот что он прочел:

«

Моей дорогой Урсуле Мируэ ,

дочери моего побочного шурина Жозефа Мируэ и Дины Грольман. Немур, 15 января 1830 года.

Ангел мой, моя отцовская любовь, которую ты так хорошо оправдала, укрепились не только клятвой, которую я дал твоему несчастному отцу, но и твоим сходством с Урсулой Мируэ, моей покойной женой, которую ты мне всегда напоминала своим изяществом, умом, душевной чистотой и очарованием. Поскольку ты — дочь побочного сына моего тестя, завещание в твою пользу может быть опротестовано...

— Старый негодяй! — вскричал почтмейстер.

Твое удочерение также могло бы дать повод к судебному процессу. Мысль жениться на тебе с тем, чтобы передать тебе мое состояние, никогда не прельщала меня, ибо если бы мне суждено было прожить еще долго, я мог бы помешать твоему счастью, единственным препятствием коему служит упорство госпожи де Портандюэр. Взвесив все эти неблагоприятные обстоятельства и желая, чтобы ты ни в чем не нуждалась...

— Мерзавец, он все предусмотрел!

...я, ничем не обижая моих наследников...

— Иезуит! Как будто он не обязан отказать нам все свое состояние!

...хочу передать тебе мои сбережения, которые я накопил за восемнадцать лет, постоянно и выгодно пуская деньги в оборот с помощью моего нотариуса, с тем, чтобы доставить тебе столько счастья, сколько может дать богатство. Живи ты в бедности, твое воспитание и возвышенный строй мыслей составили бы твое несчастье. К тому же ты обязана принести хорошее приданое очаровательному юноше, который тебя любит. В библиотеке, в последнем шкафу со стороны гостиной, на верхней полке в первом ряду стоят три тома «Пандектов» в красном сафьяновом переплете; вынь из третьего тома, который стоит с самого края, три облигации трехпроцентной ренты на предъявителя, каждая достоинством в двенадцать тысяч франков...

— Неслыханная подлость! — вскричал почтмейстер. — Нет! Господь не допустит, чтобы меня так провели!

...Забери их себе немедленно, так же как и деньги на текущие расходы, которые лежат в предыдущем томе «Пандектов». Помни, возлюбленное дитя мое, что ты должна слепо повиноваться этому приказанию, ибо исполнение его было мечтой всей моей жизни, и если ты не послушаешься меня, мне придется просить помощи у Господа. Зная твою чрезвычайную щепетильность и опасаясь, как бы ты не стала в чем-либо упрекать себя, я прилагаю к этому письму завещание по всей форме, узаконивающее передачу облигаций господину Савиньену де Портандюэру. Таким образом, возьмешь ли ты эти деньги сама или получишь от своего возлюбленного, они станут твоей законной собственностью. Твой крестный отец

Дени Миноре ».

К письму был приложен листок гербовой бумаги, на котором значилось:

«Мое завещание.

Я, Дени Миноре, доктор медицины, проживающий в Немуре, в здравом уме и твердой памяти, чему порукою дата этого завещания, передаю свою душу Господу и молю его, памятуя о моем чистосердечном раскаянии, простить мне продолжительные мои заблуждения. Видя

искреннее расположение ко мне господина виконта Савиньена де Портандюэра, я отказываю ему тридцать шесть тысяч франков пожизненной трехпроцентной ренты, которые следует вычесть из моего состояния, невзирая на требования моих законных наследников.

Составлено и записано моей рукой в Немуре одиннадцатого января одна тысяча восемьсот тридцать первого года.

Дени Миноре ».

Почтмейстер, запершийся для пущей безопасности в спальне жены, не медля ни секунды схватил фосфорическую трутницу, но Господь дважды послал ему знамение — две спички не загорелись. Только третья наконец зажглась. Почтмейстер сжег в камине письмо и завещание и, хотя предосторожность эта была совершенно излишней, разворошил золу, чтобы прикрыть остатки бумаги и сургуча. Потом, вне себя от возможности завладеть тридцатью шестью тысячами франков ренты втайне от жены, он чуть не бегом бросился в дом дяди, движимый лишь одной мыслью, мыслью простой и ясной — единственной, какая могла родиться в его неповоротливом уме. Почтмейстер ни на секунду не задумался над тем, что делает; его волновали только способы обойти препятствия — ведь три семейства, наконец ощутившие себя хозяевами положения, уже полностью заняли дом.

— А вы что здесь делаете? — спросил он Массена и Кремьера. — Неужели вы думаете, что мы позволим разграбить дом и бумаги? Мы — законные наследники, мы не можем сидеть сложа руки. Вы, Кремьер, бегите к Дионису и скажите, чтобы он пришел засвидетельствовать смерть. Я, конечно, помощник мэра, но не могу же я подписывать свидетельство о смерти собственного дяди... Вы, Массен, позовите Бонграна, чтобы он наложил печати. А вы, сударыни, — обратился он к Зелии и женам Массена и Кремьера, — присмотрите за Урсулой. Тогда все будет в целостности и сохранности. А главное, закройте калитку, чтобы никто не мог выйти!

Дамы, поняв, что почтмейстер прав, побежали в комнату Урсулы и нашли это благородное создание, эту девушку, которую подозревали в стольких грехах, коленопреклоненной; с залитым слезами лицом она молилась. Предчувствуя, что наследницы недолго пробудут наверху, и опасаясь подозрительности своих сонаследников, Миноре, не мешкая, бросился в библиотеку, отыскал нужную книгу, вынул из нее три облигации на предъявителя, а из соседнего тома — десятка три банковских билетов. Как ни груба была натура великана, кража далась ему нелегко; в ушах зашумело, кровь застучала в висках. Хотя на дворе было холодно, спина у почтмейстера взмокла. Ноги у него подкашивались, и в гостиной он рухнул в кресло, словно оглушенный.

— Слыхали, как наследство развязало язык толстяку Миноре? — спросил Массен у Кремьера, выйдя на улицу. — Подите туда, подите сюда! Во всем-то он разбирается.

— Да, для такого увальня он выглядел вполне... — Пойдите! — вдруг встревожился Массен. — Но ведь там осталась и его жена! Двое Миноре — это уж чересчур! Делайте, что он сказал, а я бегу назад.

Поэтому не успел почтмейстер опуститься в кресло, как увидел у калитки разгоряченного секретаря суда, который с проворством куницы спешил в дом покойника.

— Ну, что еще стряслось? — спросил почтмейстер, впуская сонаследников во двор.

— Ничего, я вернулся посмотреть, как будут накладывать печати, — ответил Массен, бросив на почтмейстера взгляд дикого кота.

— Скорее бы их наложили — тогда мы сможем разойтись по домам.

— Нет уж, надо непременно оставить здесь сторожа. Старуха Буживаль ради девчонки способна на все. Мы позовем Гупиля.

— Гупиля! — воскликнул почтмейстер. — Ему дашь палец, так он всю руку откусит!

— Там поглядим, — продолжал Массен. — Дом опечатают через час, а ночь наши жены проведут возле покойника — вот заодно и посторожат. Похороны завтра в полдень. Опись начнут не раньше чем через неделю.

— Однако, — усмехнулся великан, — если выставить отсюда девчонку, можно будет позвать служителя из мэрии — он приглядит и за печатями, и за домом.

— Отлично! — воскликнул секретарь. — Возьмите это на себя, вы ведь теперь глава рода Миноре.

— Сударыни, сударыни, — сказал Миноре, — прошу вас, оставайтесь в гостиной; тут не до обеда — надо проследить за тем, как будут наложены печати, чтобы ничего не пропало.

Потом он отозвал в сторону свою жену и поделился с нею планом Массена насчет Урсулы. Все три наследницы, давно мечтавшие расправиться с «девчонкой» и отомстить ей, с восторгом ухватились за идею выгнать ее из дома. Зелия и госпожа Массен попросили Бонграна как друга покойного передать Урсуле, чтобы она покинула дом. Бонгран возмутился:

— Выгоняйте ее сами из дома ее отца, крестного, дяди, благодетеля, опекуна! Идите и вышвырните ее на улицу на глазах у всего города — вы, обязанные получением этого наследства только благородству ее души! Вы считаете ее способной обокрасть вас? Так поставьте сторожа при печатях, вы имеете на это право. Кстати, знайте, что я не стану опечатывать ее комнату, — это ее жилище, и все, что там находится, принадлежит ей. Я извещу девушку о ее правах и попрошу собрать в этой комнате все ее имущество... Не бойтесь, в вашем присутствии, — добавил он, услышав ропот наследников.

— Ну? — спросил сборщик налогов у почтмейстера и дам, изумленных гневной отповедью Бонграна.

— Ай да судья! — воскликнул почтмейстер.

Урсула в полуобмороке сидела на маленькой козетке, запрокинув голову; волосы ее разметались по плечам, к горлу то и дело подступали рыдания. Глаза девушки затуманились от слез, веки покраснели, одним словом, она была в полном изнеможении, и вид ее смягчил бы кого угодно, даже диких зверей — но не наследников.

— Ах, господин Бонгран, после моего праздника — смерть и траур, — в словах Урсулы звучала поэзия, неразлучная с прекрасными душами. — Вы ведь знаете, каким он был; за двадцать лет я не слышала от него ни одного резкого слова! Я думала, что он будет жить до ста лет! Он был мне матерью, — вскрикнула она, — и какой прекрасной матерью!

Она разрыдалась и снова бессильно откинулась на спинку козетки.

— Дитя мое, — сказал мировой судья, услышав шаги наследников на лестнице, — оплакивать его вы сможете всю жизнь, а делом нужно заняться немедленно; соберите все принадлежащие вам вещи, и пусть они хранятся в вашей комнате. Наследники требуют, чтобы я наложил печати...

— О, пусть берут все, что хотят! — гневно воскликнула Урсула, поднявшись. — Все, что у

меня есть драгоценного, хранится здесь, — и она ударила себя в грудь.

— Например? — спросил почтмейстер, чья отвратительная физиономия показалась в эту минуту в дверях.

— Воспоминание о его добродетелях, о его жизни, обо всех его речах, память о его небесной душе, — гордо сказала девушка, воздев руку; глаза и все лицо ее сияли.

— И еще ключ! — воскликнул Массен, и поднявшийся наверх вместе с почтмейстером, с кошачьим проворством он метнулся к ключу, выпавшему из-за корсажа Урсулы, и схватил его.

Девушка покраснела.

— Это ключ от его кабинета, он послал меня туда перед смертью.

Обменявшись зловещими улыбками, двое наследников посмотрели на мирового судью; в глазах их было написано оскорбительное подозрение, деланное у почтмейстера и неподдельное у Массена. Урсула поняла, что скрывается за этими взглядами, и вскочила; в лице ее не осталось ни кровинки, глаза метали молнии; охваченная одним из тех порывов, которые могут стоить жизни, она сказала сдавленным голосом: «О господин Бонгран, всем, что находится в этой комнате, я обязана крестному, пусть забирают все, одежда моя на мне, я уйду отсюда и никогда не вернусь». Девушка скрылась в спальне своего опекуна и, несмотря на уговоры слегка сконфуженных наследников, не соглашалась ее покинуть. Она велела тетушке Буживаль снять две комнаты на постоялом дворе при старой почте, а затем подыскать в городе какое-нибудь жилье для них обеих. Потом зашла к себе за молитвенником и до утра молилась и оплакивала покойного вместе с кюре, викарием и Савиньеном. Молодой дворянин пришел вечером, после того как мать его легла спать, и молча преклонил колена рядом со своей возлюбленной, которая печальной улыбкой поблагодарила его за то, что он верен ей и разделяет ее горе.

— Дитя мое, — сказал мировой судья, передавая Урсуле объемистый сверток, — одна из наследниц вашего дядюшки собрала все, что может вам понадобится в первое время, а остальное ваше имущество вы сможете получить только через несколько дней, когда снимут печати. В ваших интересах я опечатал и вашу комнату.

— Спасибо, сударь, — ответила девушка, пожав ему руку. — Посмотрите на него — правда ведь, он как будто спит?

Лицо старика обрело ту недолговечную красоту, которая отличает лишь лица людей умерших без мучений; оно словно излучало свет.

— Не говорил ли он вам чего-нибудь по секрету перед смертью? — шепотом спросил мировой судья у Урсулы.

— Нет, — ответила девушка, — он, правда, поминал какое-то письмо...

— Превосходно! оно не пропадет, — обрадовался Бонгран. — В таком случае очень кстати для вас, что они потребовали наложить печати.

На рассвете Урсула попрощалась с домом, где протекло ее счастливое детство, со скромной комнаткой, в которой к ней пришла любовь и которая была ей так дорога, что, забыв на мгновение о своем безутешном горе, она заплакала оттого, что ей приходится покинуть этот тихий и мирный приют. Бросив последний взгляд на свои окна и на окна Савиньена, она вышла со двора и направилась на постоянный двор в сопровождении тетушки Буживаль, которая несла узел с ее вещами, мирового судьи, который вел ее под руку, и своего нежного

покровителя Савиньена. Так сбылось пророчество недоверчивого юриста, чьи мудрые предостережения не возымели действия: Урсулу ждала бедность и притеснения наследников.

Под вечер весь город явился на похороны доктора Миноре. Узнав о том, как обошлись наследники с приемной дочерью покойного, немурцы в большинстве своем нашли их поведение естественным и законным: дело шло о наследстве, покойник был таимник, Урсула могла вообразить, что вправе на что-то претендовать, наследники защищали свое добро, да и вообще они немало унижений хлебнули от девчонки при жизни доктора, который их ни в грош не ставил. Дезире Миноре, который, как говорили злые языки, в новой своей должности не хватал звезд с неба, прибыл к началу заупокойной службы. Урсула не смогла присутствовать на похоронах — смерть крестного и оскорбления наследников так потрясли ее, что у нее началась горячка.

— Посмотрите только на этого лицемера! Он еще плачет, — говорили наследники о Савиньене, глубоко опечаленном смертью доктора.

— Весь вопрос в том, есть ли у него причина плакать, — ответил Гупиль. — Смеяться пока рано, печати еще не сняты.

— Ладно, — сказал Миноре, которому нечего было бояться, — вечно вы нас пугаете зазря.

Когда похоронная процессия двинулась из церкви на кладбище, Гупиль испытал жестокое разочарование: он хотел взять Дезире под руку, но помощник прокурора не дал ему руки, отрекшись таким образом от старого товарища на глазах у всего Немура.

«Не стоит ссориться, иначе я не смогу отомстить», — подумал старший клерк, чье черствое сердце наполнилось обидой, как губка водой.

Чтобы снять печати и начать опись, Бонграну требовалось получить от королевского прокурора, в чьем ведении находилась по закону опека над сиротами, право представлять его. Через десять дней печати наконец были сняты, и Мировой судья начал, строго соблюдая формальности, описывать наследство Миноре. Дионису это дело сулило доходы, Гупиль любил творить зло, поэтому опись затягивалась. В перерыве между своими трудами нотариус, клерк, наследники и свидетели завтракали, как правило, в доме покойного доктора, попивая превосходные вина из его погреба.

В провинции, а особенно в маленьких городках, где каждый живет в собственном доме, нелегко найти жилье. Поэтому всякое заведение продается здесь обычно вместе с домом. Мировой судья, которому прокурор поручил защищать интересы сироты, не нашел иного способа переселить ее с постоянного двора, кроме как купить маленький домик, стоящий на пересечении Главной улицы и моста через Луэн. С улицы вы попадали в прихожую, а оттуда — в единственную комнату первого этажа; за ней располагалась кухня, дверь которой выходила в маленький внутренний дворик площадью не больше тридцати квадратных футов. Оба окна комнаты смотрели на улицу. Узкая лестница, куда свет падал из крохотных окошек, выходящих на реку, вела на второй этаж; там было три комнаты, а над ними — две мансарды. Мировой судья взял займы две тысячи франков у тетушки Буживаль, чтобы уплатить первый взнос за этот дом, стоивший в общей сложности шесть тысяч франков, и уговорился с владельцем о рассрочке. Поскольку Урсула хотела выкупить у наследников библиотеку доктора, Бонгран приказал сломать перегородку между двумя комнатами второго этажа, чтобы разместить там длинные книжные шкафы с улицы Буржуа. Савиньен и мировой судья так торопили рабочих, прибиравших, красивших и отделывавших заново новое жилище Урсулы, что к концу марта оно было уже готово, и, перебравшись сюда с постоянного двора, сирота поселилась в точно такой же комнате, как и прежде, так как мировой судья, лишь только были сняты печати, перевез в уродливый дом на Главной улице мебель Урсулы с

улицы Буржуа. Тетушка Буживаль обосновалась наверху, в мансарде; молодая хозяйка могла вызвать ее, потянув шнурок звонка, висевший над изголовьем ее постели. Комната, отведенная под библиотеку, и весь первый этаж были покрашены и оклеены новыми обоями, но не обставлены, поскольку распродажа мебели покойного доктора еще не состоялась, а Урсуле хотелось приобрести его вещи. Хотя мировой судья и кюре знали характер Урсулы, они все же опасались, что девушка тяжело перенесет внезапный переход от роскоши и блеска, к которым приучил ее крестный, к жизни, полной лишений. Что же до Савиньена, то ему было больно до слез. Поэтому он тайком не раз доплачивал рабочим и обойщику, стремясь, чтобы новое жилье Урсулы, по крайней мере изнутри, ничуть не отличалось от прежнего. Однако девушка, для которой счастье заключалось в возможности видаться с Савиньеном, восприняла перемену с кротким смирением. Старые друзья Урсулы с восхищением убедились — в который раз! — что боль ей причиняют лишь страдания душевные. Горечь утраты, которую Урсула испытала после смерти крестного, совершенно заслонила от нее ее бедственное положение, а между тем положение это поставило новые преграды на пути к ее браку с Савиньеном. Молодой человек, видя, в каких условиях вынуждена жить его избранница, сделался так печален, что в день переезда в новый дом девушка, выходя из церкви после обедни, шепнула ему: «Любовь терпелива, мы подождем!»

Как только Бонгран вывел первую строку описи наследства, Массен, по наущению Гупиля, который переметнулся на его сторону, движимый тайной ненавистью к Миноре и надеждой, что расчетливый ростовщик окажется податливее, чем прижимистая Зелия, решил потребовать от господина и госпожи де Портандюэр уплаты долга. Старая дама была ошеломлена, узнав, что ей необходимо в двадцать четыре часа заплатить наследникам сто двадцать девять тысяч пятьсот семнадцать франков пятьдесят пять сантимов с процентами за отсрочку, в противном же случае на ее имущество будет наложен арест. О том, чтобы занять такую сумму, нечего было и думать. Савиньен отправился в Фонтенбло посоветоваться с тамошним стряпчим.

«Вы имеете дело со скверными людьми, они не пойдут на мировую и будут преследовать вас по всей форме, чтобы заполучить Бордьерскую ферму, — сказал стряпчий. — Самое лучшее было бы продать ферму добровольно, чтобы избежать судебных издержек».

Эта безотрадная весть сразила старую бретонку, тем более что сын мягко заметил ей, что если бы она согласилась на его брак с Урсулой при жизни доктора, тот, конечно, простил бы долг мужу своей воспитанницы, и ему не грозила бы нищета. Хотя Савиньен ни в чем не упрекал мать, эти доводы вместе с мыслью о скорой и полной потере имущества произвели на нее убийственное впечатление. Узнав об этой беде, Урсула, едва оправившаяся от горячки и от удара, нанесенного ей наследниками, совершенно пала духом. Любить и не иметь возможности помочь любимому — одна из самых страшных мук для женщины благородной и деликатной.

— Я хотела купить дом дяди — я куплю дом вашей матери, — сказала она Савиньену.

— Это невозможно, — возразил он. — Вы несовершеннолетняя и не сможете продать вашу ренту без разрешения прокурора, а он его не даст. Да и вообще нам не выстоять. Весь город радуется разорению дворянского семейства. Эти буржуа готовы наброситься на нас, как свора собак на добычу. К счастью, у меня есть десять тысяч франков, на которые матушка сможет прожить до окончания этого злополучного дела. К тому же опись имущества вашего крестного еще не закончена, и господин Бонгран не теряет надежды найти завещание в вашу пользу. Его, как и меня, очень удивляет, что вы остались без денег. Доктор так часто рассказывал нам о той блестящей будущности, которую он вам уготовил, что мы никак не ожидали подобной развязки.

— Не беда, — ответила Урсула, — я не ропщу; лишь бы я смогла купить книги и мебель крестного, чтобы они не пропали и не оказались в чужих руках.

— Но кто знает, какую цену запросят эти подлые наследники за вещи, которые вы хотите приобрести?

От Монтаржи до Фонтенбло только и было разговоров что о наследниках Миноре и о миллионе, который они разыскивают, но самые тщательные поиски, которые велись в доме доктора с того дня, как были сняты печати, не дали никаких результатов. Сто двадцать девять тысяч франков, которые предстояло взыскать с Портандюэров, пятнадцать тысяч франков трехпроцентной ренты, которая в ту пору шла по семьдесят шесть франков и давала капитал в триста восемьдесят тысяч франков, дом, оцененный в сорок тысяч франков, и его богатая обстановка составляли вместе около шестисот тысяч франков, что, по всеобщему мнению, было не так уж мало. Тем не менее Миноре в это время не раз испытывал жестокую тревогу. Тетушка Буживаль и Савиньен, которые, как и мировой судья, не могли поверить в отсутствие завещания, ежедневно справлялись у Бонграна о результатах поисков. Когда ни чиновников, ни наследников не было поблизости, у старого друга доктора вырывалось порой: «Ничего не понимаю!» Поскольку на взгляд поверхностного провинциального наблюдателя двести тысяч франков, приходившиеся на каждого наследника, были порядочной суммой, никого не заинтересовало, каким образом ухитрился доктор жить на широкую ногу, имея всего-навсего пятнадцать тысяч франков ренты и не взимая процентов с Портандюэров. Только Бонгран, Савиньен и кюре пытались разгадать эту загадку, чем не раз приводили в трепет почтмейстера.

— А ведь мы весь дом перевернули, они — в поисках денег, а я — в поисках завещания, которое наверняка было написано в пользу господина де Портандюэра, — сказал мировой судья в день, когда опись была закончена. — Они ворошили золу, приподнимали мраморные плиты, шарили в домашних туфлях, проткнули ножом деревянную спинку кровати, вспороли матрасы, разрезали одеяла и покрывала, перетряхнули перину, изучили каждую бумажку, обшарили каждый ящик, вырыли целую яму в погребке, а я поощрял весь этот разгром.

— И каково ваше мнение? — спросил кюре.

— Завещание похищено одним из наследников.

— А деньги?

— Ищи ветра в поле! Разве можно понять что-либо у таких скрытных, хитрых, скупых людей, как Массены или Кремьеры?! Разве можно разобраться в денежных делах такого человека, как Миноре, который скоро получит свои двести тысяч франков из наследства, а сам, по слухам, собирается продать свой патент, дом и долю в почтовой конторе за триста пятьдесят тысяч франков?! Какие суммы! И это, не считая тридцати с чем-то тысяч, которые он ежегодно получает со своих земель. Бедный доктор!

— Может быть, завещание спрятано в одной из книг? — сказал Савиньен.

— Только поэтому я и не отговариваю девочку от покупки библиотеки. В противном случае разве не безумием было бы позволить ей вложить всю наличность в книги, которые она никогда не откроет?

Весь город был уверен, что у воспитанницы доктора обнаружатся огромные капиталы, когда же выяснилось, что все ее богатство сводится к одной тысяче четыремстам франкам годового дохода с ренты да старой мебели, дом доктора и его обстановка сделались предметом всеобщего любопытства. Одни полагали, что банковские билеты следует искать в стульях или диванах, другие — что старик спрятал их в книгах. Поэтому распродажа была произведена наследниками с соблюдением самых диковинных предосторожностей. Дионис, исполнявший роль оценщика, объявлял каждую вещь с оговоркой, что наследники продают только сам предмет, а не те ценные бумаги, которые могут в нем обнаружиться; перед тем как отдать вещь покупателю, наследники сообщали общепывали, обстукивали и трясли ее, а

затем провожали такими взглядами, какие бросает отец на единственного сына, отплывающего в Индию.

— Ах, мадемуазель! — удрученно сказала тетушка Буживаль, вернувшись с распродажи. — Я больше туда не пойду. Правильно говорит господин Бонгран, вы этого зрелища вовсе бы не вынесли. Все раскидано. Дом, как проходной двор. Самую красивую мебель никто не бережет, они плюхаются в кресла и на диваны, а кругом такая кутерьма, что сам себя позабудешь! Как на пожаре! Одежда свалена во дворе, пустые шкафы стоят распахнутые. Бедный наш доктор, хорошо, что он умер, эта распродажа убила бы его.

Бонгран, покупавший для Урсулы любимые вещи покойного, которые могли украсить ее новый дом, не участвовал в покупке книг. Зная алчность наследников и не желая им переплачивать, он сговорился с меленским старьевщиком-букинистом, который приехал в Немур на распродажу и уже кое-что сторговал. Поскольку наследники не теряли надежды отыскать деньги, книги продавались по одной. Наследники осмотрели и перелистали три тысячи томов, не преминув взять каждый за корешок и потрясти, а также обследовать переплеты и форзацы. В общей сложности библиотека обошлась Урсуле приблизительно в шесть с половиной тысяч франков — половину того, что ей причиталось в наследство. Книжные шкафы были проданы лишь после того, как знаменитый краснодеревщик, выписанный из Парижа, внимательно исследовал их в поисках тайников. Когда мировой судья приказал перенести шкафы и книги к мадемуазель Мируэ, наследники встревожились, но затем, видя, что девушка живет в такой же бедности, как и прежде, успокоились. Миноре приобрел дом дяди, за который сонаследники запросили целых пятьдесят тысяч франков. Они были уверены, что почтмейстер надеется найти в стенах клад, и постарались предусмотреть эту возможность в купчей. Через две недели после ликвидации имущества доктора Миноре его племянник, продавший лошадей и почтовую контору сыну богатого арендатора, обосновался в доме дяди, который он вскоре отремонтировал и обставил, затратив немало денег. Таким образом, Миноре сам обрек себя на жизнь в двух шагах от Урсулы.

— Надеюсь, — сказал он Дионису в тот день, когда Савиньену и его матери было предъявлено требование об уплате долга, — что скоро мы избавимся от этого дворянчика с его мамашей. А потом выгоним и остальных.

— Старуха — дворянка в четырнадцатом колене, — сказал Гупиль, — она не перенесет разорения и отправится умирать в Бретань, а заодно отыщет там жену для сына.

— Не думаю, — ответил нотариус, который утром совершил купчую, составленную Бонграном, — Урсула только что приобрела дом вдовы Рикар.

— Наглая тварь! Только и знает, что досаждать нам, — неосторожно воскликнул почтмейстер.

— Да вам-то что за дело? — спросил Гупиль, удивленный гневом тупоумного гиганта.

— Видите ли, — отвечал Миноре, покраснев как маков цвет, — мой сын имел глупость в нее влюбиться. Поэтому я отдал бы сто экю за то, чтобы девчонка убралась из Немура.

Из этих слов явствует, насколько Урсула, безропотно сносившая нужду, досаждала богачу Миноре.хлопоты, связанные с ликвидацией имущества доктора, продажи конторы и поездки, вызванные новыми заботами, споры с женой из-за всяких пустяков и из-за нового дома, где Зелия ради сына хотела устроить уютное гнездышко, — вся эта непривычная для него сумятица заставила толстяка Миноре позабыть о своей жертве. Но в середине мая, возвращаясь с прогулки, он услышал звуки фортепьяно, увидел тетушку Буживаль, которая сидела у окна с видом дракона, сторожащего клад, и в душе его шевельнулось неприятное чувство.

Чтобы объяснить, почему жизнь по соседству с Урсолой, которая и не подозревала о том, что ее обокрали, сделалась невыносимой для человека такого склада, как бывший почтмейстер, почему вид девушки, мужественно сносящей невзгоды, внушил ему желание изгнать ее из города и каким образом желание это переросло в страстную ненависть к жертве, потребовалось бы, пожалуй, сочинить целый философский трактат. Быть может, Миноре не чувствовал себя полновластным хозяином тридцати шести тысяч франков ренты, пока та, кому они принадлежали по праву, жила в двух шагах от него? Быть может, ему мерещилось, что преступление его может случайно раскрыться, если ограбленные будут находиться поблизости? Быть может, присутствие Урсулы пробуждало раскаяние в душе этого грубого, можно сказать первобытного человека, который прежде не совершал ничего противозаконного? Быть может, раскаяние это мучило его особенно сильно оттого, что все прочее его добро было нажито честным путем? Сам он, без сомнения, приписывал свои мучения одному лишь присутствию Урсулы, воображая, что с отъездом девушки заживет на славу.

Не в том ли дело, что преступление, так же как и добродетель, тяготеет к законченности, к совершенству?

Начав творить зло, человек доходит по этому пути до конца и вслед за первыми ударами наносит удар смертельный. Быть может, воровство неизбежно ведет к убийству? Совершая кражу, Миноре не задумался ни на секунду — слишком стремительно все происходило; размышления пришли позднее. Между тем, если вы хорошо представляете себе сложение и физиономию этого человека, вы поймете, как сильно должно было его переменить появление мысли! А раскаяние — это больше, чем мысль; оно вызывается чувством столь же откровенным и властным, что и любовь. Но если Миноре без малейшего раздумья завладел состоянием Урсулы, то, почувствовав, что лицемерие обманутой невинности больно ранит его, он так же инстинктивно захотел выгнать ее из Немура. По своей глупости он не подумал о последствиях и, движимый врожденной алчностью, ринулся навстречу опасностям, словно дикое животное, которое не подозревает о ловушках охотника и надеется на свою силу и быстрые ноги. Вскоре богатые буржуа, собиравшиеся у нотариуса Диониса, заметили перемены в поведении и манерах великана, прежде столь беззаботного.

— Не знаю, что такое с Миноре. Он прямо сам не свой, — говорила его жена, от которой он скрыл свой дерзкий набег.

Все кругом склонялись к тому, что Миноре скучает — ибо мысль придала его лицу скучающее выражение — из-за полного безделья, из-за стремительного перехода от жизни деятельной к жизни праздной. В то время как Миноре замышлял погубить Урсулу, тетушка Буживаль всякий день напоминала своей молочной дочери о богатстве, которым та могла бы владеть, и сравнивала ее жалкую участь с тем благоденствием, о котором часто толковал с ней, тетушкой Буживаль, покойный доктор.

— Конечно, — причитала тетушка Буживаль, — я не из корысти так говорю, но ведь покойный хозяин был такой добрый, ни за что не поверю, чтобы он не оставил мне какой-нибудь малости...

— Но ведь у тебя есть я, — обрывала кормилицу Урсула, запрещавшая подобные разговоры.

Она не хотела осквернять корыстными помышлениями печальные, нежные, дорогие ее сердцу воспоминания о благородном старом докторе, чей карандашный портрет, сделанный учителем рисования, украшал ее маленькую гостиную. Живое воображение девушки легко дорисовывало по этому наброску облик крестного, который беспрестанно занимал ее мысли, тем более что жила она в окружении его любимых вещей: его старинного глубокого кресла, безделушек из его кабинета, его доски для триктрака и подаренного им фортепьяно; в скорби своей она видела во всех этих предметах как бы живые существа. Двое верных друзей, аббат

Шапрон и господин Бонгран — единственные, кого Урсула принимала в своем новом доме, казались среди этих вещей как бы ожившими воспоминаниями о вчерашнем дне, который связывала с сегодняшним любовью, получившая благословение крестного. Постепенно горе девушки утратило первоначальную остроту, и владевшая ею меланхолия, наложившая отпечаток на всю ее жизнь, придала окружающим ее вещам неизъяснимую прелесть: в доме ее царили безупречная чистота и порядок; здесь не было никаких украшений, кроме небольшого букета цветов, который каждое утро приносил Савиньен, да изящных безделушек, главным же источником покоя и уюта была сама хозяйка. После завтрака она шла в церковь, возвратившись оттуда, как прежде, занималась музыкой и пением, а затем садилась у окна с шитьем в руках. В четыре часа, возвращаясь с прогулки, которую он совершал в любую погоду, Савиньен подходил к ее полуоткрытому окну и, присев на подоконник, проводил с ней около получаса. Вечером девушку навещали кюре и мировой судья, Савиньену же она запретила приходить вместе с ними. Не приняла она и приглашения от госпожи де Портандюэр, которая, сдавшись на уговоры Савиньена, предложила осиротевшей девушке поселиться в их доме. Урсула с тетушкой Буживаль тратили деньги очень экономно: в месяц у них уходило не больше шестидесяти франков. Старая кормилица трудилась без усталости: она стирала и гладила, готовила только два раза в неделю, с согласия хозяйки подавала к столу холодное мясо — Урсула решила откладывать в год по семьсот франков, чтобы расплатиться за дом. Безупречное поведение, скромность и смирение, с каким она перешла от жизни в роскоши, когда малейшая ее прихоть немедленно удовлетворялась, к существованию бедному и убогому, помогли девушке завоевать расположение некоторых жителей города. Урсула добилась того, что ее уважали и не злословили на ее счет. Даже наследники, завладев своими деньгами, отдали должное мужеству девушки. Савиньен восхищался силой духа, удивительной в столь юном существе. Госпожа де Портандюэр несколько раз ласково заговаривала с Урсулой по выходе из церкви, дважды приглашала ее к обеду и оба раза сама заходила за ней. Это было если и не счастье, то хотя бы покой. Однако удача, которой Урсула была обязана мировому судье, потрянувшему стариной и на время вновь ставшему стряпчим, обострила ненависть, дотоле дремавшую в душе Миноре. Урсула умолила мирового судью похлопотать о Портандюэрах, и, как только все дела с наследством были покончены, Бонгран отправился к старой бретонке, от которой, впрочем, не скрыл, что не может простить ей упорства, с каким она противилась счастью Урсулы, и берется защищать интересы Портандюэров исключительно по просьбе мадемуазель Мируэ. Бонгран нанял одного из своих бывших клерков, ставшего стряпчим в Фонтенбло, и тот с его помощью составил прошение о признании иска Массена недействительным. Он хотел воспользоваться отсрочкой и за то время, которое пройдет между принятием постановления о прекращении судебного преследования и новым иском, возобновить аренду из шести тысяч франков в год и получить с арендатора надбавку и плату вперед за последний год. С этих пор Бонгран, аббат Шапрон, Савиньен и Урсула снова стали по вечерам играть в вист; теперь они собирались у госпожи де Портандюэр; мировой судья и кюре заходили за Урсулой, а в конце вечера провожали ее домой. В июне стараниями Бонграна Массену было отказано в иске. Мировой судья тотчас подписал новый арендный договор на восемнадцать лет, из шести тысяч франков в год, получил с арендатора тридцать две тысячи франков, а затем, не дожидаясь, пока обо всех этих сделках станет известно в городе, отправился к Зелии, которая, как он знал, искала, куда бы вложить деньги, и предложил ей приобрести Бордьерскую ферму за двести двадцать тысяч франков.

— Я бы тотчас согласился, — сказал Миноре, — если бы знал, что Портандюэры тогда уберутся из Немура.

— Но чем они вам мешают? — удивился мировой судья.

— Мы в Немуре обойдемся без дворян.

— Кажется, старая дама говорила, что если дело сладится, на оставшиеся деньги она сможет прожить только в Бретани. Она подумывает о том, чтобы продать свой дом.

— Ну так пусть продаст его мне, — сказал Миноре.

— Ты что-то слишком раскомандовался, — вмешалась Зелия. — На что тебе два дома?

— Если мы сегодня не уговоримся с вами насчет Бордьерской фермы, — продолжал мировой судья, — весь город узнает, что мы возобновили арендный договор, через три дня на нас снова будет наложен арест, и я не смогу довести до конца это дело, хотя я в нем весьма заинтересован. Если вы не согласны, я тотчас отправляюсь в Мелен — тамошние фермеры, мои знакомцы, купят Бордьеры с закрытыми глазами. А вы потеряете возможность вложить капитал из трех процентов в землю Руврского края.

— Зачем же вы в таком случае пришли к нам?

— Затем, что у вас есть деньги, а моим прежним клиентам понадобится несколько дней на то, чтобы отсчитать мне сто двадцать девять тысяч франков. А я тороплюсь.

— Лишь бы она убралась из Немура — и я дам вам деньги! — сказал Миноре.

— Вы понимаете, что я не могу указывать Портандюэрам, как им поступить, но я уверен, что они не останутся в Немуре.

Поверив Бонграну, Миноре с согласия Зелии посулил ему выдать средства, необходимые Портандюэрам для выплаты долга. Купчая была совершена Дионисом, и, к радости мирового судьи, Миноре и Зелия заметили, что деньги за последний год уже уплачены предыдущим хозяевам, лишь когда все было уже подписано. Июнь был на исходе, когда очистка счета госпожи де Портандюэр закончилась, и Бонгран принес ей сто двадцать девять тысяч франков, посоветовав вложить их вместе с десятью тысячами Савиньена в пятипроцентную ренту, что давало бы Портандюэрам шесть тысяч франков в год. Таким образом, старая дама не только ничего не потеряла, но даже получила лишние две тысячи в год, и семейство Портандюэров осталось жить в Немуре. Хотя мировой судья даже не подозревал о том, как мучительно для бывшего почтмейстера присутствие Урсулы, Миноре решил, что его обвели вокруг пальца, и острое чувство обиды лишь усилило его ненависть к несчастной жертве. Так началась подспудная, но возымевшая страшные последствия борьба двух чувств — того, что заставляло Миноре выживать Урсулу из Немура, и того, что давало Урсуле силы сносить гонения, причина которых долгое время была покрыта мраком; так создалось это странное, небывалое положение, подготовленное всеми предшествующими событиями, которые послужили немурской драме своеобразным прологом.

Госпожа Миноре, которой муж преподнес столовое серебро и сервиз стоимостью около двадцати тысяч франков, давала каждое воскресенье роскошный обед для своего сына и его приятелей, приехавших из Фонтенбло. Ради гостей Зелия выписывала из Парижа всяческие лакомства, так что нотариусу Дионису поневоле приходилось следовать ее примеру. Гупиль, от которого Миноре старались отделаться как от человека с дурной репутацией, недостойного находиться в столь избранном обществе, был впервые приглашен к ним в дом только в конце июля, через месяц после того, как бывший почтмейстер переменил образ жизни. Старший клерк, и без того задетый этой намеренной забывчивостью, принужден был вдобавок обращаться на «вы» к Дезире, который, вступив в должность помощника прокурора, держался церемонно и спесиво даже у себя дома.

— Вы, значит, променяли Эстер на мадемуазель Мируэ? — спросил Гупиль помощника прокурора.

— Во-первых, сударь, Эстер умерла[171]. А во-вторых, мне нет никакого дела до Урсулы.

— Что же в таком случае вы мне плели, папаша Миноре? — весьма непочтительно вскричал Гупиль.

Уличенный во лжи таким человеком, как Гупиль, Миноре непременно смутился бы, если бы не имел видов на старшего клерка и не пригласил его нарочно, памятуя в давнем его предложении расстроить брак Урсулы с молодым Портандюэром. Поэтому вместо ответа он проворно увлек клерка в глубь сада.

— Вам скоро стукнет двадцать восемь, дорогой мой, — сказал Миноре, — а вы все еще не пристроены к настоящему делу. Я желаю вам добра — ведь вы как-никак были товарищем моего сына. Послушайте! Если вы уговорите девицу Мируэ, у которой, кстати, есть сорок тысяч франков, выйти за вас замуж, я дам вам денег на покупку конторы в Орлеане — это так же верно, как то, что меня зовут Миноре.

— Нет, — сказал Гупиль, — Орлеан — это слишком далеко, вот в Монтаржи...

— Нет, — возразил Миноре, — а вот в Сансе...

— Ладно, так и быть! — согласился старший клерк. — Там резиденция архиепископа, а святоши — это неплохо, немного лицемерия — и ты на коне. К тому же девчушка набожна, она там наверняка будет иметь успех.

— Разумеется, — сказал Миноре, — сто тысяч франков я выложу только в день свадьбы нашей родственницы, о чьей судьбе я пекусь в память о моем почтенном дядюшке.

— А может, из уважения ко мне? — ехидно осведомился Гупиль, заподозривший какой-то подвох. — Разве не я подсказал вам, что вы можете получить двадцать четыре тысячи франков годового дохода, купив земли вокруг Руврского замка — несколько участков подряд, без всякой чересполосицы? С вашими лугами и мельницей на другом берегу Луэна вы могли бы прибавить к тем двадцати четырем еще шестнадцать тысяч франков! Слушайте, папаша, хотите начистоту?

— Да.

— Так вот, чтоб вы знали, с кем имеете дело: я торговал Рувр с парками, садами, службами и лесом для Массена.

— Твое-то какое дело? — вмешалась Зелия.

— Так вот, — продолжал Гупиль, с ненавистью взглянув на Зелию, — если я захочу, Массен завтра купит все это за двести тысяч франков.

— Оставь нас, жена, — сказал великан, взяв Зелию под руку и отводя ее в сторону, — я сам с ним разберусь... Мы были так заняты в последнее время, — сказал он, возвращаясь к Гупиллю, — что нам было не до вас, но я надеюсь, что вы по старой дружбе поможете нам с покупкой Рувра.

— Между прочим, прежде владение Рувром давало право на титул маркиза, — лукаво вставил Гупиль, — а в ваших руках эти земли станут приносить пятьдесят тысяч франков в год и составят при нынешних ценах на недвижимость капитал в два миллиона франков.

— Тогда наш помощник прокурора женится на дочери маршала Франции или на какой-нибудь родовитой дворянке и получит место в Париже, — сказал почтмейстер, открывая свою громадную табакерку и угощая Гупиля.

— Так, значит, без обмана? — воскликнул Гупиль, потирая руки.

— Даю честное слово, — ответил Миноре и пожал Гупиллю руку.

Хитрый клерк судил о людях по себе и решил, к счастью для Миноре, что женитьба на Урсуле

лишь предлог, чтобы примириться с ним, Гупилем, и заставить его порвать с Массеном.

«Сам бы он до этого в жизни не додумался; я узнал руку Зелии, это она его подучила. Что ж! Прощай, Массен. Не пройдет и трех лет, как я стану санским депутатом», — подумал Гупиль, выйдя от Миноре.

Увидев Бонграна, который направлялся в дом напротив на ежевечернюю партию виста, он бросился к нему.

— Вы принимаете участие в Урсуле Мируэ, дорогой господин Бонгран, — сказал Гупиль, — вам не может быть безразлично ее будущее. Мой план таков: она выходит за нотариуса, имеющего контору в окружном центре. Этот нотариус, который через три года непременно станет депутатом, записывает в брачном контракте, что получил за ней сто тысяч приданого.

— Она может рассчитывать на лучшее, — сухо ответил Бонгран. — Невзгоды подточили здоровье госпожи де Портандюэр, она дряхлеет на глазах и долго не протянет; у Савиньена останется шесть тысяч франков ренты, у Урсулы — капитал в сорок тысяч; я помещу их деньги не хуже Массена, только без обмана, и лет через десять они сколотят небольшое состояние.

— Савиньен сделает глупость, он в любой момент может жениться на мадемуазель дю Рувр [172], единственной наследнице, которой дядюшка и тетюшка оставят два громадных состояния.

— Когда придет любовь, не до благоразумья, как сказал Лафонтен[173]. Но кто он такой, этот нотариус? В конце концов мало ли что... — любопытствовал Бонгран.

— Я, — ответил Гупиль, и мировой судья содрогнулся.

— Вы? — воскликнул он, не скрывая своего отвращения.

— Ваш покорный слуга, — ответил Гупиль, бросив на мирового судью желчный, дерзкий, ненавидящий взгляд.

— Хотите вы стать женой нотариуса, который запишет за вами сто тысяч приданого? — спросил Бонгран, входя в маленькую гостиную Портандюэров.

Урсула, сидевшая подле хозяйки, и Савиньен разом вздрогнули и посмотрели друг на друга: она с улыбкой, он — не смея выдать свое волнение.

— Я не вольна распоряжаться собой, — ответила Урсула, тайком от госпожи де Портандюэр протянув Савиньену руку.

— Потому-то я и отказал, не спросив вас.

— Но, девочка, мне кажется, что быть женой нотариуса не так уж плохо! — заметила старая дама.

— Я предпочитаю жить в бедности, но в покое, — ответила Урсула, — ведь по сравнению с нищетой, которая ожидала меня после смерти родителей, я купаюсь в роскоши. К тому же моя старая кормилица избавляет меня от множества забот, и я не стану менять милое моему сердцу настоящее на неведомое будущее.

Назавтра госпожа де Портандюэр и Урсула получили анонимные письма, вонзившие в их сердца ядовитое жало. В письме, адресованном старой даме, говорилось следующее:

«Вы любите сына, Вы желаете ему участи, достойной его имени, и при этом поощряете его

увлечение честолюбивой нищенкой, принимая у себя в доме какую-то Урсулу, дочь полкового музыканта, хотя могли бы женить его на мадемуазель дю Рувр, за которой два ее дядюшки, маркиз де Ронкероль и шевалье дю Рувр, имеющие каждый по тридцать тысяч ливров годового дохода, собираются дать большое приданое, чтобы не оставлять состояние выжившему из ума маркизу дю Рувру, который наверняка пустит эти деньги на ветер. Единственный сын госпожи де Серизи, тетки Клементины дю Рувр, недавно погиб в Алжире [174], и она, без сомнения, также не обидит племянницу. Некто, желающий вам добра, убежден, что предложение Савиньена будет принято».

А вот письмо, которое получила Урсула:

«Дорогая Урсула, в Немуре живет юноша, который вас боготворит и, видя вас с рукодельем у окна, всякий раз ощущает прилив беззаветной любви. Этот юноша наделен железной волей и непоколебимым упорством: примите же благосклонно его любовь. Намерения его чисты, и он смиренно просит вашей руки в надежде сделать вас счастливой. Состояние его, и ныне немалое, не идет ни в какое сравнение с тем, каким он одарит вас, когда вы станете его женой. Если вы выйдете за него, то очень скоро будете приняты при дворе как жена министра и одна из первых дам в стране. Поскольку он видит вас ежедневно, оставаясь невидимым, поставьте на окно горшок с гвоздикой тетушки Буживаль — тем самым вы дадите вашему поклоннику знать, что согласны увидеться с ним».

Урсула сожгла письмо, не сказав о нем Савиньену. Через два дня она получила новое послание:

«Напрасно, дорогая Урсула, вы не отвечаете тому, кто любит вас больше жизни. Вы надеетесь выйти за Савиньена, но вы жестоко заблуждаетесь. Этому браку не бывать. Госпожа де Портандюэр, которая больше не станет принимать вас у себя, нынче утром, несмотря на нездоровье, пешком отправилась в Рувр, чтобы посватать мадемуазель дю Рувр за Савиньена. Рано или поздно Савиньен согласится. Почему бы и нет? Дядья молодой барышни дают за ней шестьдесят тысяч ливров годового дохода».

Это письмо причинило Урсуле жестокую боль; девушка впервые узнала ревность, и чувство это произвело на ее тонкую и ранимую душу такое действие, что настоящее, будущее и даже прошлое начали представляться ей в черном свете. С той минуты, как она прочла роковое письмо, она словно окаменела; сидя в кресле доктора, глядя перед собой в одну точку, предавалась она горестным раздумьям. Радость жизни в единый миг сменилась в ее душе смертным холодом. Увы! хуже того: ее состояние напоминало ужасное пробуждение мертвых, восстающих из гроба, чтобы узнать, что Бога не существует, — пробуждение, описанное в шедевре чудного гения по имени Жан-Поль [175]. Четырежды тетушка Буживаль пыталась накормить Урсулу завтраком, и всякий раз девушка бессильно опускала руку, не в силах донести до рта кусочек хлеба. Тетушка Буживаль принималась журить Урсулу, но та только махала рукой и произносила ужасные слова: «Подите прочь!» столь же властно, сколь мягко звучали ее приказания прежде. Наблюдая за хозяйкой через стеклянную дверь в кухню, старая кормилица заметила, что лицо девушки то краснеет, то бледнеет — Урсулу бросало то в жар, то в холод. К четверем часам состояние ее ухудшилось; она каждую минуту вскакивала, чтобы посмотреть, не идет ли Савиньен, но Савиньен не показывался. Ревность и сомнения отнимают у любви всякую стыдливость. Урсула, которая до сих пор не позволяла себе ни единого движения, способного выдать ее страсть, надела шляпку, закуталась в шаль и собралась пойти навстречу Савиньену, но остатки целомудрия удержали ее. Она возвратилась в маленькую гостиную и дала волю слезам. Когда вечером на пороге показался кюре, несчастная кормилица кинулась к нему со словами:

— Ах, сударь, ума не приложу, что такое приключилось с барышней, она...

— Я знаю, — грустно перебил священник перепуганную кормилицу.

Аббат Шапрон поведал Урсуле новость, о которой она боялась спрашивать: госпожа де Портандюэр отправилась на обед в Рувр.

— А Савиньен?

— Он тоже.

Урсулу пробрал нервный озноб, заставивший аббата Шапрона содрогнуться, как если бы он прикоснулся к лейденской банке; сердце его болезненно сжалось.

— Так что сегодня мы не пойдем к ним, — сказал кюре, — да и вообще, дитя мое, вам больше не стоит туда ходить. Старая дама окажет вам такой прием, который может вас обидеть. Мы уже почти уговорили ее дать согласие на ваш брак с Савиньеном и не понимаем, что с ней произошло.

— Я готова ко всему и ничему не удивлюсь, — проникновенно сказала Урсула. — Единственное мое утешение — сознание, что я ничем не прогневила Господа.

— Пути господни неисповедимы, дорогая дочь моя, — сказал кюре. — Покоритесь воле Божией.

— Я не хотела бы обижать господина де Портандюэра несправедливыми подозрениями...

— Почему вы не называете его Савиньеном? — спросил кюре, заметивший в тоне Урсулы легкую досаду.

— Моего дорогого Савиньена, — поправилась она и заплакала. — Да, мой добрый друг, — продолжала она, всхлипывая, — какой-то голос и сейчас подсказывает мне, что не только род Савиньена, но и сердце его благородно. Ведь он не просто уверял, что любит меня одну, он доказал мне это своей бесконечной деликатностью, героически сдерживая свою пламенную страсть. Клянусь вам, что когда недавно я пожала Савиньену руку — это было, когда господин Бонгран заговорил про нотариуса, который хочет на мне жениться, — руки наши соприкоснулись впервые в жизни. Хоть он и послал мне в самом начале воздушный поцелуй из окна, затем его любовь всегда чтит самые строгие приличия; больше того, вам, читающему в моем сердце, но не ведающему того, что дозволено знать одним лишь ангелам, — так вот, вам я могу открыть, что любовь сделалась в душе моей основой многих добродетелей: она примирила меня с несчастьями, она, быть может, смягчила горечь непоправимой утраты, так что, нося траурные одежды, я почти весела душой. О! я согрешила. Да, любовь к Савиньену пересилила признательность к крестному, и Господь покарал меня. Как быть! я почитала себя женою Савиньена, я возгордилась, а Господь не прощает гордецам. Ведь вы сами говорили мне, что мы должны поступать только так, как угодно Господу.

Кюре не мог без волнения видеть, как слезы струятся по изможденному лицу девушки. Чем безмятежнее была ее жизнь до сих пор, тем горше было разочарование.

— Но, — продолжала Урсула, — теперь, когда я вновь осиротела, я сумею взрастить в своей душе чувства, подобающие моему положению. В конце концов, разве могу я быть камнем на шее у своего возлюбленного? Зачем ему прозябать здесь? Кто я такая, чтобы претендовать на его руку? Да и разве не люблю я в нем друга, которому готова пожертвовать и счастьем моим, и моими надеждами?.. Вы ведь знаете: я часто упрекала себя, что жду смерти старой дамы, что надеюсь воссоединиться с любимым над ее свежей могилой. Если другая даст Савиньену счастье и богатство, я немедленно удалюсь в монастырь — моих денег как раз хватит на вступительный взнос. Двум привязанностям не место в сердце женщины, как двум владыкам не место на небесах. Монашеская жизнь многим прельщает меня.

— Он не мог отпустить мать одну в Рувр, — мягко сказал священник.

— Не будем больше говорить об этом, дорогой господин Шапрон. Сегодня вечером я напишу ему, что он свободен. Я с радостью затворю это окно.

И она рассказала старому священнику об анонимных письмах, прибавив, что не хочет поощрять своего неведомого вздыхателя.

— А ведь госпожа де Портандюэр тоже получила анонимное письмо; оно-то и надоумило ее отправиться в Рувр, — воскликнул кюре. — Без сомнения, на вас ополчились какие-то злые люди.

— Но за что? Мы с Савиньеном никому не сделали зла, никого не обидели.

— Как бы там ни было, дитя мое, воспользуемся этой сумятицей, чтобы привести в порядок библиотеку нашего бедного друга. Книги свалены в кучу, мы с Бонграном будем расставлять их, а заодно поищем, не спрятано ли в них что-нибудь. Положитесь на Господа, но помните, что у вас есть два преданных друга — мировой судья и я.

— Это много, — отвечала девушка, провожая кюре до калитки и вытягивая шейку, словно птичка, выглядывающая из гнезда, — она все еще надеялась увидеть Савиньена.

В эту минуту Миноре и Гупиль, возвращавшиеся с прогулки по лугам, остановились неподалеку, и наследник доктора сказал Урсуле: «Что с вами, кузина? Мы ведь родичи, не так ли? Вы что-то переменялись».

Гупиль меж тем бросал на девушку столь пламенные взгляды, что она испугалась и, ничего не ответив, ушла в дом.

— Совсем дикарка, — сказал Миноре священнику.

— Мадемуазель Мируэ права: порядочной девушке не пристало болтать с прохожими.

— О! — сказал Гупиль, — вы ведь знаете, что поклонников у нее хоть отбавляй.

Кюре поспешил откланяться и быстрым шагом направился на улицу Буржуа.

— Ну, — сказал старший клерк бывшему почтмейстеру, — дело пошло! Она бледна как смерть, через две недели и духу ее здесь не будет. Вот увидите.

— С вами лучше не ссориться, — воскликнул Миноре, утраченный отвратительной улыбкой Гупиля, придававшей его лицу сходство с гетевским Мефистофелем на полотне Жозефа Бридо[176].

— Да уж, пожалуй, — отвечал Гупиль. — Если она не выйдет за меня, я постараюсь, чтоб она сдохла от тоски.

— Если ты сделаешь это, малыш, я подарю тебе нотариальную контору в Париже. И ты сможешь жениться на богачке...

— Бедная барышня! Чем она вам так досадила? — спросил удивленный клерк.

— Она мне осточертела! — прорычал Миноре.

— Подождите до понедельника — увидите, как она у меня попляшет, — сказал Гупиль, испытующе глядя на бывшего почтмейстера.

Назавтра старая тетушка Буживаль явилась к Савиньену и со словами: «Не знаю, что вам

пишет моя девочка, но она с утра чуть живая», — подала ему письмо.

Кто, прочтя это письмо, не поймет, какая мука терзала всю ночь сердце Урсулы?

«Дорогой мой Савиньен, говорят, ваша матушка хочет женить вас на мадемуазель дю Рувр, и, быть может, она права. Вы стоите на распутье между жизнью почти нищенской и жизнью в достатке, между женой, милой вашему сердцу, и женой, угодной свету, между волей матери и вашей собственной волей — ведь я до сих пор верю, что я ваша избранница. Савиньен, если вам надобно принять решение, примите его свободно — я этого хочу и потому возвращаю вам слово, которое вы дали не мне, но самому себе в ту минуту, которая никогда не изгладится из моей памяти и которая, как и вся наша любовь, была исполнена ангельской чистоты и нежности. Это воспоминание составит счастье всей моей жизни. Отныне, если вы даже сохраните верность вашей клятве, зловещая страшная мысль будет омрачать мое блаженство. Сегодня вы с легким сердцем миритесь с лишениями, но рано или поздно можете пожалеть, что пренебрегли законами света. Будь вы способны высказать подобную мысль вслух, она сделалась бы моим смертным приговором, но даже если вы промолчите, она будет мерещиться мне в каждой морщинке, бороздящей ваше чело. Дорогой Савиньен, я всегда любила вас больше всего на свете. Я имела на это право, поскольку крестный, хоть и ревновал меня к вам, говорил: «Люби его, дочь моя! В один прекрасный день вы обязательно будете принадлежать друг другу!» Когда мы с ним поехали в Париж, я любила вас без надежды и довольствовалась этим. Не знаю, смогу ли я вернуться к прежнему, но я попытаюсь. Да и кто мы сейчас друг другу? Брат и сестра. Да будет так. Женитесь на этой счастливице, которая может возратить вашему имени подобающий ему блеск, — ведь союз со мной, по мнению вашей матушки, способен только опорочить ваш род. Больше я никогда не упрекну вас и всегда буду любить. Итак, прощайте».

— Пойдите, — вскричал молодой человек.

Он попросил тетушку Буживаль присесть и торопливо написал:

«Дорогая моя Урсула, ваше письмо разбило мне сердце: я вижу, что вы понапрасну измучили себя, что души наши впервые в жизни говорили на разных языках. Если я до сих пор не назвал вас своей женой, то лишь потому, что не могу жениться без согласия матери. Восемь тысяч ливров ренты и прелестный домик на берегу Луэна — разве этого мало для счастья? Мы подсчитали, что с помощью тетушки Буживаль сможем откладывать по пять тысяч франков в год! Однажды вечером, в саду вашего дядюшки, вы позволили мне считать вас моей невестой и теперь не вправе самовольно порвать связующие нас узы. Стоит ли говорить, что вчера я со всей решительностью уверил господина дю Рувра, что, будь я даже свободен, я не пожелаю бы связать свою жизнь с юной особой, вовсе мне незнакомой, как бы богата она ни была. Матушка не хочет более вас видеть, и я теряю счастливую возможность проводить вечера в вашем обществе, но не отнимайте у меня тех кратких мгновений, которые я проводил под вашим окном... До вечера. Никто не может разлучить нас».

— Не медлите, голубушка, — сказал Савиньен тетушке Буживаль. — Она не должна тревожиться ни одной лишней минуты...

Под вечер, в четыре часа, возвращаясь с прогулки, которую он ежедневно совершал только для того, чтобы пройти мимо дома Урсулы, Савиньен подошел к окну своей возлюбленной; она еще не совсем оправилась от пережитых волнений и была немного бледна.

— Мне кажется, я только теперь поняла по-настоящему, какое это счастье — видеть вас, — призналась она.

— Вы как-то сказали мне, — с улыбкой заметил Савиньен, — а ведь я помню все ваши слова — «Любовь терпелива, я подожду!» Неужели любовь ваша, дорогое мое дитя, так недоверчива?.. О! вот на чем мы помиримся. Вы уверяли, что любите меня сильнее, чем я

вас. Но разве я хоть раз усомнился в ваших чувствах? — И он преподнес девушке букет цветов, составленный так, чтобы выразить все его мысли[177].

— У вас нет причин сомневаться в моих чувствах. К тому же вы многого не знаете, — добавила Урсула смущенно.

Она предупредила почтальона, чтобы ей не приносили никаких писем. Но не успела она проводить глазами Савиньена, повернувшего с Главной улицы на улицу Буржуа, как нашла на своем кресле неведомо как попавшую туда записку: «Трепещите! отвергнутый поклонник страшнее тигра». Несмотря на мольбы Савиньена, она из осторожности не открыла ему зловещую причину своих страхов. Теперь ее снова объял смертный холод, и только память о несказанном счастье, которое она испытала, увидев Савиньена, казалось навсегда потерянного для нее, ненадолго прогоняла страх. Для всякого человека неизвестность — самая мучительная пытка. Для души неведение — бесконечность, неизмеримо обостряющая страдание. Но Урсула страдала особенно сильно. Она вздрагивала от каждого шороха, боялась тишины, не доверяла стенам собственного дома. Она лишилась сна. Ничего не зная о натуре девушки, хрупкой, как цветок, Гупиль, этот гений зла, инстинктивно нашел способ отравить ее существование, нанести ей смертельный удар. Тем не менее следующий день прошел без происшествий. До позднего вечера Урсула играла на фортепьяно, наконец сон сморил ее, и она легла почти успокоенная. В полночь ее разбудила серенада, которую исполнял целый оркестр: кларнет, гобой, флейта, корнет-а-пистон, тромбон, фагот, флажолет и треугольник. Все соседи прилипли к окнам. Бедная девочка, и без того напуганная обилием народа на улице, содрогнулась от ужаса, когда услышала, как хриплый, бесстыдный мужской голос заорал: «В честь красотки Урсулы Мируэ от ее любовника». На следующий день было воскресенье; в городе только и толковали что о ночной серенаде; входя в церковь и выходя оттуда, Урсула ловила на себе жадные, любопытные взгляды столпившихся на площади немурцев. Все они судачили о ночной серенаде и терялись в догадках. Урсула вернулась к себе ни жива ни мертва и больше не показывалась на улице; кюре посоветовал ей прочесть вечернюю молитву дома. В прихожей на каменном полу валялось письмо; девушка подняла его и прочла, надеясь отыскать в нем разгадку ночного происшествия. Самые черствые существа поймут, что должна была она почувствовать, когда взору ее предстали страшные строки:

«Смиритесь с мыслью стать моей женой, богатой и обожаемой. Я этого хочу. Живая или мертвая, вы будете принадлежать мне. Ваш отказ принесет несчастье не только вам одной.

Тот, кто вас любит и кто рано или поздно будет обладать вами».

Странная вещь! В тот миг, когда нежная и кроткая жертва этих козней увядала, подобно сломанному цветку, девицы Массен, Дионис и Кремьер завидовали ей.

— Везет же Урсуле, — судачили они. — Все заняты ею, все ее ублажают, ссорятся из-за нее! Серенада, говорят, была великолепна! С корнет-а-пистоном!

— А что такое пистон?

— Новый музыкальный инструмент! Знаешь, такой длинный! — объяснила Анжелина Кремьер Памеле Массен.

Савиньен с утра отправился в Фонтенбло в надежде узнать, кто нанял музыкантов стоящего там полка, но, поскольку в полковом оркестре на один инструмент приходилось по два музыканта, выяснить, кто именно побывал в Немуре, оказалось невозможно. По просьбе Савиньена полковник запретил музыкантам играть для частных лиц без его разрешения. Молодой дворянин повидал королевского прокурора, опекуна Урсулы, объяснил ему,

насколько опасны подобные сцены для девушки хрупкого здоровья и обостренной чувствительности, и попросил заняться поисками злоумышленника. Три дня спустя немурцев вновь разбудили звуки серенады: теперь оркестр состоял из трех скрипачей, флейтиста, гитариста и гобоиста. На этот раз музыканты скрылись в направлении Монтаржи, где в это время выступала труппа бродячих артистов. В паузе между двумя мелодиями чей-то голос пронзительно и слащаво прокричал: «В честь дочери полкового музыканта Мируэ». Так весь Немур узнал профессию отца Урсулы, которую старый Миноре так тщательно скрывал.

На этот раз Савиньен никуда не поехал: днем он получил из Парижа анонимное письмо со страшным пророчеством:

«Ты не женишься на Урсуле. Если ты хочешь, чтобы она осталась жива, поторопись уступить ее тому, кто любит ее сильнее тебя, ибо ради ее прекрасных глаз он сделался музыкантом и актером и скорее умертвит ее, чем отдаст тебе».

Немурский врач трижды за день навестил Урсулу, которую адские козни неизвестного врага потрясли так сильно, что жизнь ее была в опасности. Прелестная девушка, втопанная в грязь, сносила пытку с терпением христианской мученицы: в глубоком молчании, подняв очи горе и не проронив больше ни слезинки, она горячо молилась, ожидая новых ударов и прося Господа положить конец ее страданиям.

— Я счастлива, что не могу спуститься в гостиную, — сказала она Бонграну и Шапрону, которые старались по возможности не оставлять ее одну, — ведь он подойдет к окну, а я чувствую себя недостойной тех взглядов, которыми он обыкновенно награждает меня! Как вы думаете, он считает меня виноватой?

— Если Савиньен не отыщет того, кто устроил все эти мерзости, он поедет в Париж и попросит вмешаться в дело тамошнюю полицию, — сказал Бонгран.

— Мои враги, должно быть, знают, что я при смерти, — сказала Урсула, — теперь они успокоятся.

Кюре, мировой судья и Савиньен терялись в догадках. Целую неделю Савиньен, Тьенетта, тетушка Буживаль и двое верных друзей кюре были настороже и следили за всеми подозрительными лицами, но Гупиль, действовавший в одиночку, не выдал себя ни единым неосторожным шагом, и мировой судья решил, что злоумышленник напуган делом рук своих. Урсула таяла на глазах и походила на чахоточную англичанку. Ни серенад, ни писем больше не было, и друзья девушки прекратили слежку. Савиньен приписал прекращение ужасных козней тайному дознанию парижской прокуратуры, куда он отправил письма, полученные Урсулой, его матерью и им самим. Однако передышка продлилась недолго. Не успела Урсула немного оправиться после нервной горячки, как однажды июльским утром соседи увидели, что из ее окна свешивается веревочная лестница. Кучер ночного дилижанса заявил, что, проезжая мимо, видел спускавшегося из окна невысокого человека и уже собирался остановиться, но дом Урсулы стоит у моста, дорога идет под гору, лошади понесли, и дилижанс на полной скорости помчался дальше. В гостиной Диониса пришли к заключению, что ночным посетителем был маркиз дю Рувр, в ту пору крайне стесненный в средствах и задолжавший Массену по множеству векселей; поскорей выдав дочь за Савиньена, он мог бы, как толковали гости нотариуса, спасти замок от кредиторов. Госпожа де Портандюэр, по слухам, тоже радовалась всему, что может ослабить, опорочить, опозорить Урсулу, однако узнав, что девушка при смерти, старая дама смягчилась. Последняя злобная выходка так тяжело подействовала на кюре Шапрона, что он на несколько дней слег. Бедная Урсула, чья болезнь вновь обострилась, получила по почте письмо и, узнав почерк кюре, распечатала его.

«Дитя мое, — говорилось в письме, — уезжайте из Немура; этим вы обезоружите ваших

тайных врагов. Быть может, они покушаются на жизнь Савиньена. Когда я встану с постели, мы поговорим об этом подробнее».

Внизу стояла подпись:

«Преданный вам

Шапрон ».

Когда обезумевший Савиньен бросился к священнику, тот, не веря своим глазам, дважды перечел письмо; виртуозность, с которой злодеи подделали его почерк и подпись, потрясла его; сам он, разумеется, ничего не писал, а если бы и написал, не стал бы отправлять письмо Урсуле по почте. Роковое действие, произведенное на девушку этой последней жестокостью, заставило Савиньена вновь обратиться к королевскому прокурору.

Молодой дворянин показал ему подложное письмо кюре и сказал:

— На наших глазах средствами, не предусмотренными законом, совершается убийство, причем убийство сироты, которую вы обязаны защищать.

— Если вы знаете способ поймать преступника, я сделаю все необходимое, — отвечал прокурор, — я такого способа не нахожу! Подлое анонимное письмо указывает нам наилучший выход из положения. Отправьте мадемуазель Мируэ в монастырь Поклонения Святому Причастию. Тем временем полицейский комиссар Фонтенбло по моей просьбе выдаст вам разрешение носить оружие в целях самозащиты. Я сам побывал в Рувре и убедился, что господин дю Рувр справедливо возмущен павшими на него подозрениями: Миноре, отец моего помощника, торгует его замок, мадемуазель дю Рувр выходит за богатого польского графа, а сам господин дю Рувр в тот день, когда я навестил его, собирался бежать, чтобы не попасть в долговую тюрьму.

Прокурор расспросил своего помощника, и Дезире, хоть и побоялся высказать свои подозрения вслух, узнал руку Гупиля. Только Гупиль способен был изобрести козни преступные, но не подпадающие ни под одну статью уголовного кодекса. Безнаказанность, покров тайны и постоянная удача окрылили Гупиля. Подлый клерк дурачил Массена, натравливая его на маркиза дю Рувра, с тем чтобы перепуганный маркиз поскорее продал остатки своих владений Миноре, Начав переговоры с одним санским нотариусом о приобретении его конторы, Гупиль собрался довершить начатое и завоевать Урсулу. По примеру иных молодых парижан, похищающих богатую невесту, он вознамерился выкрасть девушку. Услуги, оказанные им Миноре, Массену и Кремьеру, равно как и покровительство Диониса, давали ему надежду замять дело. Полагая, что Урсула совсем обессилела и не сможет сопротивляться, он решил действовать в открытую. Однако, прежде чем отважиться на последний ход в начатой им подлой игре, он счел необходимым объяснить с Миноре и отправился вместе с ним в Рувр; бывший почтмейстер впервые после совершения купчей посетил свои владения. Миноре только что получил письмо от сына, где тот по секрету расспрашивал его о событиях, происходящих в Немуре, и предупреждал, что вскоре прибудет в город вместе с королевским прокурором, чтобы во избежание новых гнусностей поместить Урсулу в монастырь. Помощник прокурора поручал отцу в случае, если преследование Урсулы — дело рук одного из их друзей, дать тому несколько мудрых советов. Хотя закон не всегда может немедленно покарать преступника, писал Дезире, в конце концов тайное всегда становится явным и виновный попадает под суд.

Миноре тем временем добился своего. Он стал законным владельцем Рувра, одного из прекраснейших замков в Гатине, и красивых доходных угодий вокруг него, приносящих сорок с лишним тысяч франков в год. Теперь Гупиль был не страшен великану. Да и вообще Миноре рассчитывал переселиться в Рувр, где Урсула не была бы ему живым укором.

— Малыш, — сказал он Гупилю, прохаживаясь по террасе, — оставь мою кухню в покое.

— Как это? — изумился клерк, не в силах понять столь странное поведение, ибо глупость также бывает бездонна.

— О, я не какой-нибудь там неблагодарный, ты сторговал мне всего за двести восемьдесят тысяч франков этот прекрасный замок из кирпича и тесаного камня, на постройку которого сегодня пришлось бы потратить не меньше двухсот тысяч эю[178], да в придачу службы, и парк, и сады, и леса... Ну вот... и я, клянусь честью, одолжу тебе из десяти процентов двадцать тысяч франков, чтоб ты мог купить контору немурского судебного исполнителя. А заодно сосватаю тебе одну из девиц Кремьер, старшую.

— Ту, которая толкует про пистоны? — закричал Гупиль.

— Зато кухня дает за ней тридцать тысяч франков. Видишь ли, малыш, ты рожден, чтоб быть судебным исполнителем, как я был рожден, чтоб стать почтмейстером, а от судьбы не уйдешь.

— Ну что ж! — сказал Гупиль, упавший с неба на землю. — Выпишите мне вексель на двадцать тысяч франков, чтоб я мог торговаться с деньгами в руках.

Приближался конец полугодия, и Миноре как раз должен был получить восемнадцать тысяч франков по украденным облигациям, которые он утаил от жены; решив, что избавляется от Гупиля раз и навсегда, он подписал вексель. Старший клерк, видя, что тупоумного великана, Макиавелли с улицы Буржуа[179], обуяла вельможная гордыня, буркнул вместо «прощайте» «до свидания» и бросил на бывшего почтмейстера такой взгляд, от которого содрогнулся бы всякий, кроме безмозглого выскочки, наслаждавшегося зрелищем принадлежавших ему садов и великолепных башен замка в стиле Людовика XIII.

— Ты меня не подождешь? — крикнул он Гупилю, пустившемуся в обратный путь пешком.

— Мы еще встретимся, папаша! — ответил будущий судебный исполнитель, снедаемый жаждой мести и желанием узнать разгадку причудливых перемен в поведении толстяка Миноре.

С того дня, как подлая клевета запятнала ее репутацию, Урсула находилась во власти одной из тех необъяснимых болезней, чей корень таится в душе, и угасала на глазах. Мертвенно бледная, она смотрела кротко и незлобиво, говорила тихо, медленно и очень мало. Одна неотвязная мысль лишала ее покоя: она была убеждена, что утратила право на венец целомудрия, которым народы испокон веков украшали головы дев. Даже в тишине пустого дома ей все время слышались бранные речи, издевательства, насмешки всего города. То была непосильная ноша: невинная душа девушки была слишком ранима, чтобы перенести такое надругательство. Урсула больше не жаловалась, губы ее кривила страдальческая улыбка, а глаза часто обращались к небу, словно она искала у Верховного владыки ангелов защиты от несправедливости. Когда Гупиль добрался до Немура, Урсула с помощью тетушки Буживаль и немурского врача спустилась из своей спальни в гостиную. Здесь ожидалось событие необычайное. Узнав, что девушка, более невинная, чем Кларисса Гарлоу[180], умирает, пав жертвой клеветы, госпожа де Портандюэр решила повидать ее и утешить. Отчаяние сына, который всю ночь грозил, что покончит с собой, сломило упорство старой бретонки. К тому же госпожа де Портандюэр сочла, что не уронит своего достоинства, если ободрит ни в чем не повинное создание и постарается искупить своим визитом зло, причиненное девушке жителями городка. Она была уверена, что ее мнение значит куда больше, чем мнение толпы; поступок ее должен был послужить укреплению власти дворянства. Приход госпожи де Портандюэр, возвещенный аббатом Шапроном, произвел в душе Урсулы разительную перемену и возвратил отчаявшемуся было врачу, который уже собирался пригласить к больной самых знаменитых парижских докторов, слабую надежду на

ее выздоровление. Урсулу усадили в кресло покойного доктора, и так изумительна была ее красота, что, страдающая, в темном платье, она казалась еще прекраснее, чем в счастливую пору жизни. Стоило девушке увидеть Савиньена, который вел под руку свою мать, как лицо ее утратило нездоровую бледность.

— Не вставайте, дитя мое, — остановила Урсулу старая дворянка. — Как ни больна и слаба я сама, я решила прийти к вам и высказать все, что я о вас думаю: я почитаю вас за самую чистую, непорочную и очаровательную девицу во всем Гатине и полагаю, что вы способны составить счастье дворянина.

Вначале Урсула была не в силах вымолвить ни слова, она лишь поцеловала иссохшие руки матери Савиньена и оросила их слезами.

— Ах, сударыня, — сказала она затем слабым голосом, — я никогда бы не осмелилась мечтать о том, чтобы подняться выше состояния, в котором родилась, если бы не данные мне обещания; единственное, что давало мне право надеяться на счастье, — моя безграничная любовь, но злые люди нашли способ разлучить меня с тем, кого я люблю: теперь репутация моя запятнана, и я недостойна его... Никогда, — воскликнула Урсула с такой страстью, что сердца присутствующих болезненно сжались, — никогда я не соглашусь отдать кому бы то ни было опозоренную руку. Я любила слишком сильно... Впрочем, теперь я могу произнести это вслух: я люблю Божье создание почти так же сильно, как Бога. И вот Бог...

— Полно, полно, девочка, не клеветайте на Бога! Полно, дочь моя, — заставила себя выговорить старая дворянка, — не придавайте такого значения подлой шутке, в которую никто не верит. Обещаю вам: вы будете жить, и жить счастливо.

— Ты будешь счастлива! — сказал Савиньен, опускаясь перед Урсулой на колени и целуя ей руки, — матушка назвала тебя своей дочерью.

— Довольно, — сказал врач, пощупав пульс больной, — радость тоже бывает смертельной.

В эту минуту Гупиль, увидев, что дверь дома приоткрыта, вошел в прихожую, толкнув дверь в маленькую гостиную, и гостям Урсулы предстал его отвратительная физиономия, дышащая жадной мести, которая разгорелась в его сердце на пути из Рувра.

— Господин де Портандюэр, — прошипел он, словно потревоженная гадюка.

— Что вам угодно? — спросил Савиньен, поднимаясь.

— Мне надобно сказать вам два слова.

Савиньен вышел в прихожую, и Гупиль увел его во внутренний дворик.

— Поклянитесь мне жизнью Урсулы, которую вы любите, и честью дворянина, которой вы дорожите, что никому не расскажете о нашем разговоре, и я открою вам причину несчастий мадемуазель Мируэ.

— Смогу ли я положить им конец?.

— Да.

— Смогу ли я за них отомстить?

— Злоумышленнику — да, его орудию — нет.

— Почему?

— Но... потому что орудие... это я.

Савиньен побледнел.

— Я сейчас мельком видел Урсулу... — сказал клерк.

— Урсулу? — переспросил молодой дворянин, посмотрев Гупилю в глаза.

— Мадемуазель Мируэ, — поправился Гупиль, сразу ставший более почтительным, — и всей душой желаю искупить содеянное. Я раскаиваюсь... Вы можете убить меня на дуэли или любым другим способом, но к чему вам моя кровь? Вы ведь не станете ее пить — она ядовита.

Хладнокровие клерка и желание узнать правду помогли Савиньену сохранить спокойствие; он так взглянул на урода, что тот опустил глаза.

— Так кто же тебя нанял?

— Вы клянетесь?

— В том, что не стану тебе мстить?

— В том, что вы и мадемуазель Мируэ простите меня.

— Она простит, я — никогда!

— Но вы не будете поминать старого?

Какую страшную силу имеет рассудок, когда действует заодно с корыстью! Двое мужчин, один из которых был готов растерзать другого, стояли в маленьком дворике лицом к лицу, вынужденные мирно беседовать, сплоченные одним чувством.

— Я прощу, но не забуду.

— Так не пойдет, — холодно произнес Гупиль.

Савиньен потерял терпение и отвесил Гупилю звонкую пощечину, от которой сам он покачнулся, а клерк едва не упал.

— Я получил по заслугам, — сказал Гупиль, — поделом мне за мою глупость. Я считал вас благороднее, чем вы есть. Вы злоупотребили преимуществом, которое я вам дал... Теперь вы в моей власти! — добавил он с ненавистью.

— Вы убийца, — сказал молодой дворянин.

— Не более, чем нож в руке преступника.

— Я прошу у вас прощения, — выговорил Савиньен.

— Вы уже отомстили? — спросил Гупиль с безжалостной иронией. — Больше вам ничего не нужно?

— Взаимное прощение и полное забвение, — продолжал Савиньен.

— Вашу руку, — сказал клерк, протягивая молодому дворянину свою.

— Вот она, — отвечал Савиньен, снося этот позор ради Урсулы. — Скажите же наконец, кто стоял за вашей спиной?

Гупиль, можно сказать, видел внутренним взором две чаши весов: на одной из них лежала пощечина Савиньена, на другой — ненависть к Миноре. Он колебался, но тут какой-то голос прокричал ему в уши: «Ты будешь нотариусом!» И со словами: «Прощение и забвение? Да, взаимное», — он пожал руку Савиньена.

— Так кто же преследует Урсулу?

— Миноре! Он мечтает сжить ее со света... Почему? Не знаю, но мы еще отыщем причину. Не ставьте меня с ним на одну доску. Если вы не будете мне доверять, я не смогу вам помочь. Теперь вместо того, чтобы обижать Урсулу, я буду ее защищать, вместо того, чтобы служить Миноре, буду стараться расстроить его планы. Цель моей жизни — разорить его, уничтожить. И я втопчу его в грязь, я попляшу на его трупе, я сыграю в кости его костями. Завтра на стенах всех домов Немура, Фонтенбло и Рувра красными буквами будет написано: «Миноре — вор!» О, он у меня попрыгает, клянусь всеми чертями! Теперь мы с вами связаны одной тайной; если хотите, я брошусь к ногам мадемуазель Мируэ, признаюсь ей, что проклиная безумную страсть, едва не толкнувшую меня на убийство, и постараюсь вымолить у нее прощение. Ей это пойдет на пользу. Мировой судья и кюре могут при сем присутствовать — двух свидетелей довольно, но господин Бонгран должен дать честное слово, что не станет вредить мне на моем поприще. У меня ведь теперь есть поприще.

— Погодите немного, — отвечал Савиньен, ошеломленный тем, что узнал от Гупиля.

Вернувшись в гостиную, он сказал:

— Урсула, дитя мое, человек, причинивший вам столько горя, в ужасе от содеянного, он раскаивается и хочет в присутствии этих господ попросить у вас прощения при условии, что вся эта история будет предана забвению.

— Как, неужели это Гупиль? — воскликнули в один голос кюре, мировой судья и врач.

— Пусть это останется между нами, — сказала Урсула, прикладывая палец к губам.

Гупиль слышал слова Урсулы и видел ее жест: сердце его дрогнуло.

— Мадемуазель, — сказал он взволнованно, — в эту минуту мне хотелось бы, чтобы весь Немур слышал, как я признаюсь вам в роковой страсти, которая лишила меня разума и стала причиной поступков, недостойных человека порядочного. Я стану повторять это повсюду; я скорблю о том, что причинил вам столько зла своими скверными шутками, но радуюсь тому, что, кажется, невольно стал причиной вашего счастья, — не без ехидства добавил он, поднимаясь с колен, — ибо вижу здесь госпожу де Портандюэр...

— Превосходно, Гупиль, — сказал кюре, — мадемуазель простила вас, но вы должны вечно помнить, что едва не убили ее.

— Господин Бонгран, — продолжал Гупиль, обернувшись к мировому судье, — сегодня вечером я пойду к Лекеру торговать его контору; надеюсь, что сегодняшняя сцена не повредит мне в ваших глазах и вы поддержите перед прокуратурой и министерством мое прошение.

Мировой судья задумчиво кивнул, и Гупиль отправился торговать лучшую из двух немурских контор судебных исполнителей. Никто из гостей Урсулы не покинул ее, весь вечер они старались довершить дело, начатое извинением клерка, и вернуть душе девушки радость и покой.

— Об этом узнает весь Немур, — сказал Бонгран.

— Видите, дитя мое, все, что произошло, — вовсе не Божья кара, — подхватил священник.

Миноре возвратился из Рувра только под вечер и сел обедать поздно. В девять вечера, когда уже смеркалось, он отдыхал в китайском павильоне подле своей жены, переваривая обед и строя планы относительно будущего Дезире. Принадлежность к судейскому сословию благотворно подействовала на Дезире: он остепенился, прилежно трудился и имел шансы сменить своего нынешнего начальника, которого, по слухам, должны были перевести в Мелен, на посту королевского прокурора Фонтенбло. Ему оставалось лишь подыскать себе невесту — небогатую дворянку из старинного рода: женившись с умом, он мог бы рассчитывать на место в Париже. А там, глядишь, он стал бы депутатом от Фонтенбло — Зелия считала, что ради этого зиму следует проводить в городе, а в Рувре жить только летом. Гордый тем, как ловко он все устроил, Миноре начисто забыл об Урсуле, хотя именно в эти минуты драматические события, источником которых была его глупость, начали принимать ужасный для него оборот.

— С вами хочет говорить господин де Портандюэр, — услышал Миноре голос Кабироля.

— Пусть войдет, — ответила Зелия.

В сумерках госпожа Миноре не заметила, как внезапно побледнел ее муж, как он вздрогнул, услышав шаги Савиньена и скрип половиц в галерее, где прежде размещалась библиотека доктора. Вора охватил безотчетный страх. Савиньен показался в павильоне и с тростью, не сняв шляпы, застыл на пороге, скрестив руки на груди.

— Я пришел узнать, господин и госпожа Миноре, отчего вы мучили самым низким образом девушку, являющуюся, как известно всему Немуру, моей невестой? Отчего пытались ее опорочить? Отчего добивались ее смерти и натравливали на нее такого негодяя, как Гупиль?.. Отвечайте.

— Ну и чудак вы, господин Савиньен, что спрашиваете у нас о вещах, про которые мы и знать не знаем! — сказала Зелия. — Ваша Урсула для меня — все равно что прошлогодний снег. С тех пор как умер дядюшка Миноре, я про нее и думать забыла! И ни словечка я о ней не говорила Гупилю — я этому прохвосту и собаку бы не доверила. А ты что молчишь, Миноре? Неужели ты позволишь этому господину оскорблять тебя и обвинять в этаких подлостях? Можно подумать, что человек, получающий сорок восемь тысяч ливров дохода со своих земель, владелец замка, которым не погнушался бы и принц, опустится до подобных глупостей! Да встань ты, чего расселся, тряпка ты этакая!

— Не знаю, чего хочет этот господин, — выговорил наконец Миноре, причем было явственно слышно, как дрожит его тоненький и звонкий голосок. — С какой стати мне преследовать эту девочку? Я мог сказать Гупилю, что она мне досаждаёт, потому что мой сын Дезире в нее втюрился, а я не хочу, чтоб он на ней женился, вот и все.

— Гупиль мне во всем признался, господин Миноре.

Наступила тишина, но тишина страшная; трое собеседников изучающе смотрели друг на друга. Зелия заметила, как ее великана пробрала нервная дрожь.

— Хоть вы и жалкие букашки, я отомщу вам так, что вы надолго это запомните, — продолжал молодой дворянин. — Я не стану сводить счеты с вами, шестидесятилетним стариком, и потребую удовлетворения у вашего сына. Пусть только господин Миноре-сын объявится в Немуре, я вызову его, и ему придется драться со мной! Он будет драться, или же я так ослаблю его, что он не сможет носа высунуть из дома! А если он не приедет в Немур, я сам поеду в Фонтенбло! Я отомщу, я не позволю безнаказанно пятнать честь бедной беззащитной девушки!

— Но клевета какого-то Гупиля это не... не... — пролепетал Миноре.

— Вы хотите, чтоб я свел вас с ним? — перебил великана Савиньен. — Послушайте меня, не предавайте этого дела огласке! О нем знаете вы, я и Гупиль; пусть же так и останется; я окажу вашему сыну честь, вызвав его на поединок, а там уж Господь рассудит, кто прав, кто виноват.

— Нет уж, ни за что на свете! — закричала Зелия. — И вы воображаете, что я позволю Дезире драться с вами, бывшим моряком, который наловчился и фехтовать и стрелять! Если вас обидел Миноре, вот вам Миноре — берите его и деритесь! Но чтоб мой мальчик, который, как вы сами признаете, ни в чем не виноват, отвечал за все?.. Нет уж, сударик, прежде я вас схвачу за хвост да перекину через мост! А ты, Миноре, чего стоишь разинув рот? С тобой что ни сделай, тебе все божья роса! Ты позволяешь этому господину стоять перед твоей женой в шляпе! Для начала, сударик мой, подите-ка отсюда прочь! В чужой монастырь со своим уставом не лезут. Не пойму, что значат все эти ваши штучки; покамест проваливайте, но если вы хоть пальцем тронете Дезире, то будете иметь дело со мной — и вы, и ваша нахалка Урсула.

И она изо всей силы дернула за шнурок звонка, зовя слугу.

— Подумайте хорошенько о том, что я сказал! — повторил Савиньен, не обращая ни малейшего внимания на тираду Зелии, и вышел.

Над четой Миноре повис дамоклов меч.

— Ну, Миноре, — обратилась Зелия к мужу, — может быть ты объяснишь мне, что все это значит? Молодой человек не станет ни с того ни с сего врывать в дом почтенных буржуа, закатывать им чудовищный скандал и требовать крови их единственного сына.

— Это проделки подлой обезьяны Гупиля, которому я обещал помочь стать нотариусом, если он сторгует мне Рувр по сходной цене. Я дал ему вексель на двадцать тысяч франков из десяти процентов, а ему небось мало.

— Да, но с какой стати он еще прежде изводил Урсулу серенадами и позорил ее?

— Он хотел на ней жениться.

— Он? На нищенке, на драной кошке? Слушай, Миноре, не морочь мне голову! ты слишком глуп, милый, чтоб заставить меня поверить в такую чепуху. Здесь что-то нечисто, и ты мне выложишь все как есть.

— Ничего подобного.

— Ничего подобного? А я тебе говорю, что ты лжешь, но тебе придется сказать мне правду!

— Ты оставишь меня в покое?

— Я пойду к этой ядовитой змее, Гупиллю, но учти; тебе это выйдет боком.

— Как хочешь.

— Да уж это я и без тебя знаю, что будет, как я хочу. Но хочу я, главное, вот чего — чтоб никто пальцем не тронул Дезире; заруби себе на носу, что если с ним случится беда, я ни перед чем не остановлюсь, даже эшафота не испугаюсь. Дезире! Подумать только... А ты сидишь как пень!

Начавшаяся в тот вечер ссора с женой сулила великану долгие душевные муки. Тупоумный вор понял, что его борьба с самим собой и с Урсулой осложнилась по его собственной вине и что он приобрел ужасного врага. На следующий день, выйдя из дома, чтобы разыскать

Гупиля и попытаться задобрить его новой подачкой, он увидел, что стены соседних домов испещрены надписями: «Миноре — вор!» Все, кого он встречал на своем пути, выражали ему сочувствие, интересовались, кто это мог написать, и, поскольку глупость гиганта была общеизвестна, прощали ему невнятность ответов. Глупец извлекает из слабости своего ума больше преимуществ, чем человек умный — из своей сообразительности. Никто и палец о палец не ударит, чтобы помочь гению, борющемуся с превратностями судьбы, но всякий рад ссудить деньгами обанкротившегося лавочника. Знаете почему? Оказывая протекцию недоумку, люди ощущают свое превосходство, с гением же они всего лишь становятся на равную ногу, а этого им мало. Умный человек погубил бы свою репутацию, если бы лепетал с потерянным видом тот вздор, который нес Миноре. Зелия вместе со слугами стерла карающую надпись везде, где можно, но клеймо осталось на совести самого Миноре. Между тем Гупиль, накануне условившийся с судебным исполнителем о покупке его конторы, бесстыдно отказался платить.

— Видите ли, дорогой Лекер, у меня появилась возможность купить контору господина Диониса, так что ищите себе другого покупателя! Расторгнем нашу купчую — ведь это просто два клочка гербовой бумаги, я вам отдам за них семьдесят сантимов.

Лекер слишком боялся Гупиля, чтобы жаловаться. Вскоре весь Немур узнал, что Миноре поручился Дионису за Гупиля и нотариус продает старшему клерку свою контору. Гупиль написал Савиньену письмо, где взял назад все свои признания касательно Миноре и предупредил молодого дворянина, что новая должность, французское законодательство и почтение к правосудию запрещают ему сражаться на дуэли, но он отлично умеет драться ногами и живо искалечит всякого обидчика, так что лучше с ним не ссориться. Отныне стены немурских домов оставались чистыми. Но Миноре по-прежнему был не в ладах с женой, а Савиньен хранил зловещее молчание. Дней через десять в городе уже ходили слухи о предстоящей женитьбе будущего нотариуса на мадемуазель Массен-старшей. У барышни Массен было восемьдесят тысяч франков и невзрачная внешность, у Гупиля — уродство и контора, так что жених и невеста стояли друг друга.

Однажды в полночь, когда Гупиль выходил от Массенов, двое неизвестных схватили его, избили палками и скрылись. Гупиль, однако, ни словом не обмолвился об этом ночном происшествии и твердил, что видевшая все из окна старая женщина обозналась. Все эти бури в стакане воды привлекли внимание мирового судьи; он понял, что Гупиль обладает таинственной властью над Миноре, и дал себе слово докопаться до истины.

Хотя общественное мнение маленького городка полностью оправдало Урсулу, девушка поправлялась медленно. Телесно она была крайне истощена, зато душа ее и ум бодрствовали, и вот тут-то на ее долю выпали страшные испытания, которые вполне заслуживали бы внимания ученых, если бы, конечно, ученые проникли в столь сокровенные тайны. Через десять дней после визита госпожи де Портандюэр Урсуле приснился сон, и содержанием и, если можно так выразиться, формой подобный сверхъестественному видению. Покойный Миноре, крестный девушки, явился ей и сделал знак следовать за ним; она оделась и в потемках дошла до дома на улице Буржуа, где все оставалось в точности таким, как накануне смерти доктора. Старец был одет так же, как на смертном одре, лицо его было бледно, движения бесшумны, голос звучал тихо, как далекое эхо, однако Урсула отчетливо слышала все, что он говорил. Доктор привел свою воспитанницу в китайский павильон и велел приподнять мраморную крышку маленького буфета работы Буля; как и в день смерти крестного, Урсула выполнила приказание, однако на этот раз она нашла под крышкой тот пакет, который крестный заклинал ее забрать; распечатав его, она прочла письмо и завещание в пользу Савиньена. «Буквы сверкали, словно начертанные солнечным лучом, они слепили мне глаза», — рассказывала Урсула аббату Шапрону. Когда девушка благодарно взглянула на дядю, она увидела на его бескровных губах добрую улыбку. Потом своим тихим, но ясным голосом призрак поведал Урсуле о том, как Миноре подслушивал их в коридоре, как открыл замок и взял бумаги. Потом мертвец правой рукой схватил девушку за

руку и повел на почту. Вслед за призраком Урсула пересекла город, вошла в здание почтовой станции, в прежнюю комнату Зелии, и увидела, как вор распечатывает письма, читает их и сжигает. «Спички у него никак не хотели загораться, — рассказывала Урсула, — зажглась только третья, а когда бумаги сгорели, он долго ворошил золу. Потом крестный привел меня обратно в наш старый дом, и я увидела, как господин Миноре-Левро прокрался в библиотеку, вынул из третьего тома «Пандектов» три облигации достоинством двенадцать тысяч франков каждая и банковские билеты, которые оставались у дяди. «Это он — виновник страданий, которые едва не свели тебя в могилу, — сказал крестный, — но Господу угодно, чтоб ты была счастлива! Ты не умрешь и выйдешь за Савиньена. Если ты любишь меня, если ты любишь Савиньена, ты отберешь у моего племянника свое состояние. Поклянись мне в этом». Призрак Миноре, окруженный сиянием, словно Христос на горе Фаворской, так потряс угнетенную душу Урсулы, что она пообещала дяде сделать все, что ему угодно, лишь бы поскорее очнуться. Проснувшись, она увидела, что стоит посреди своей спальни перед портретом крестного, который повесила здесь во время болезни. Она снова легла и, утомленная пережитым волнением, сразу уснула, а когда проснулась, вспомнила о своем необычном видении, но не осмелилась никому рассказать о нем. Незаурядный ум и щепетильность не позволили ей посвятить посторонних в тайну сна, затрагивающего ее денежные интересы, да и вообще она решила, что всему виной болтовня тетушки Буживаль — та перед сном толковала ей о щедрости крестного, веру в которую старая кормилица да сих пор не утратила. Но сон повторился, и на этот раз видение было гораздо страшнее. Теперь ледяная рука крестного легла девушке на плечо, причинив острую, невыразимую боль. «Слушайся мертвых!» — приказал он загробным голосом. И из его пустых глазниц потекли слезы. В третий раз мертвец, схватив Урсулу за длинные косы, показал ей, как Миноре сулит Гупиллю деньги, чтобы тот увез ее в Санс. Тогда девушка решила посвятить в тайну своих сновидений аббата Шапрона.

— Господин кюре, — сказала она ему однажды вечером, — вы верите, что мертвые могут являться живым?

— Дитя мое, священная и мирская история знают подобные случаи, бывали они и в наше время, но церковь никогда не предписывала верить в них, что же до французской науки, то она встречает такие рассказы насмешками.

— А вы сами?

— Сам я верю в могущество Господа, дитя мое, а оно бесконечно.

— А крестный говорил с вами о чем-нибудь подобном?

— Да, и не один раз. Он совершенно переменял мнение на этот счет. Я раз двадцать слышал от него, что возвращение его к Богу началось в тот день, когда одна женщина в Париже рассказала ему, как вы в Немуре молитесь за него, и разглядела красную точку, которой вы отметили в своем календаре день святого Савиньена.

Урсула пронзительно вскрикнула, напугав священника: она вспомнила, как, вернувшись в Немур из Парижа, крестный прочел ее мысли и отобрал у нее календарь.

— Если так, — сказала она, — в моих видениях нет ничего невозможного. Крестный явился мне, как Христос апостолам. Он весь был окружен желтым сиянием, он разговаривал! Я хочу попросить вас отслужить обедню за упокой его души и умолить Господа избавить меня от этих видений, разбивающих мне сердце.

Она самым подробным образом пересказала священнику все три сна, настаивая на том, что все происходило совсем как наяву, что, повинаясь призраку, ее внутреннее вещье «я» двигалось легко и свободно. Особенно поразило священника, знавшего правдивость девушки, точное описание спальни Зелии в старом доме Миноре при почтовой станции — ведь Урсула

никогда не была там и наверняка никогда не слышала об этой комнате.

— Откуда же берутся такие странные видения? — спросила девушка. — Как объяснял их крестный?

— Крестный ваш, дитя мое, прибегал к гипотезам. Он исходил из существования духовного мира, мира идей. Если идеи, будучи созданиями человека, живут своей собственной жизнью, они должны иметь формы, скрытые от наших внешних органов, но в определенных обстоятельствах открывающиеся нашим внутренним чувствам. Значит, идеи вашего крестного могли посетить вас, а вы, возможно, придали им его облик. К тому же, если Миноре совершил некие поступки, они могут быть сведены к идеям, ведь всякому действию предшествует мысль. А если идеи движутся в духовном мире, ум ваш мог, проникнув туда, увидеть их. Такие видения ничуть не более странны, чем воспоминания, а воспоминания так же удивительны и необъяснимы, как запахи цветов, которые, быть может, не что иное как мысли растений.

— Бог мой! как расширяете вы границы мира. Но разве возможно, чтобы мертвый разговаривал, ходил, действовал?

— Швед Сведенборг неопровержимо доказал, что он общался с мертвыми, — отвечал аббат Шапрон. — Да, кстати, снимите с книжной полки жизнеописание прославленного герцога де Монморанси[181], казненного в Тулузе, — вы прочтете там историю, очень похожую на вашу и на ту, что на сто лет раньше приключилась с Кардано, а ведь герцог де Монморанси не стал бы рассказывать небылицы.

Урсула и кюре поднялись на второй этаж, и добрый старец отыскал среди книг маленькое издание в двенадцатую долю листа, выпущенное в 1666 году в Париже, — жизнеописание Анри де Монморанси, сочиненное одним хорошо знавшим его священником.

— Прочтите, — сказал кюре, раскрыв книгу на странице 175. — Ваш крестный частенько перечитывал эти строки; видите, между страницами остались крошки его табака!

— А самого его уже нет! — сказала Урсула, беря книгу.

Вот что она там прочла:

«При осаде Прива[182] французы потеряли несколько крупных военачальников: здесь погибли два генерала, а именно маркиз д'Уксель, раненный на подступах к крепости, и маркиз де Порт, которому пуля прострелила голову. Он погиб утром того дня, когда ему предстояло стать маршалом Франции. В ту минуту, когда он пал бездыханным, герцог де Монморанси, спавший в своей палатке, проснулся оттого, что какой-то голос, похожий на голоса маркиза, сказал ему: «Прощай». Герцог так любил друга, что приписал случившееся действию своего воображения, и поскольку ночь он, по обыкновению, провел в траншеях, то заснул безмятежным сном. Но тот же голос вторично разбудил его, вновь весьма отчетливо повторив те же самые слова. Тут герцог вспомнил, что некогда, слушая рассуждения философа Питара об отделении души от тела, они с маркизом условились, что тот из них, кто умрет раньше, придет, если сможет, попрощаться с тем, кто останется в живых. Засим, охваченный тревогой и желая проверить, правдиво ли страшное предвещание, герцог немедленно послал одного из слуг в палатку маркиза, весьма удаленную от его собственной палатки. Но еще прежде, чем человек его возвратился, к герцогу прибыл гонец от короля с поручением утешить его в том горе, которого он страшился.

Пусть ученые мужи доискиваются причин сего происшествия, о котором я не раз слышал от герцога де Монморанси, я же счел, что сия столь же чудесная, сколь и правдивая история достойна занять свое место в книге».

— Что же мне теперь делать? — спросила Урсула.

— Дитя мое, — сказал кюре, — речь идет о вещах столь серьезных и сулящих вам такую выгоду, что вы должны хранить их в глубокой тайне. Теперь, когда вы рассказали мне о призраке, он, вероятно, больше не появится. К тому же вы достаточно окрепли и можете пойти в церковь; приходите туда завтра, чтобы возблагодарить Господа и помолиться за упокой души вашего крестного. И не сомневайтесь, что тайна ваша в надежных руках.

— Если бы вы только знали, с каким страхом я ложусь спать! Как смотрел на меня крестный! В последний раз он схватил меня за платье, чтобы подольше остаться со мной. Я проснулась вся в слезах.

— Не волнуйтесь, больше он не появится, — успокоил ее кюре.

Не теряя ни минуты, аббат Шапрон отправился к Миноре и попросил принять его без свидетелей в китайском павильоне.

— Нас никто не может услышать? — спросил аббат бывшего почтмейстера.

— Никто, — отвечал Миноре.

— Сударь, вам, должно быть, известен мой нрав, — сказал кюре, кротно, но пристально взглядываясь в лицо Миноре. — Мне надобно поговорить с вами о вещах серьезных, необычайных, касающихся вас одного; не сомневайтесь, что я сохраню все в глубочайшей тайне, но скрыть от вас то, что мне известно, я не вправе. При жизни вашего дяди здесь, — и кюре указал рукой в угол, — стоял маленький буфет работы Буля с мраморной доской, — Миноре мертвенно побледнел, — и под этой мраморной доской ваш дядя оставил письмо своей воспитаннице...

Кюре, ничего не опуская, рассказал Миноре о его собственных деяниях. Услышав о двух спичках, которые никак не зажигались, бывший почтмейстер почувствовал, как волосы у него на голове встают дыбом.

— Кто наплел вам все эти небылицы? — спросил он сдавленным голосом, когда кюре кончил свой рассказ.

— Сам покойный!

От этого ответа Миноре, которому доктор также являлся во сне, затрясся мелкой дрожью.

— Велика же милость Господа, если он из-за меня одного творит чудеса, — съязвил Миноре, которого сознание опасности вдохновило на первую в его жизни остроту.

— Все, что от Бога, естественно, — отвечал священник.

— Эта ваша фантазмагория ничуть меня не пугает, — сказал гигант, постепенно обретая присутствие духа.

— Я пришел не для того, чтобы пугать вас, сударь, ибо я никогда никому не скажу ни слова об этой истории, — ответил кюре. — Правду знаете только вы, вам и отвечать перед Богом.

— Но неужели, господин кюре, вы считаете меня способным на такой подлый обман?

— Я считаю каждого способным только на те преступления, в которых он мне покается на исповеди, — ответил священник проповедническим тоном.

— Преступление? — переспросил Миноре.

— Преступление, влекущее за собой ужасные последствия.

— Отчего же?

— Оттого, что оно не подвластно людскому суду. Преступника, оставшегося безнаказанным в этой жизни, возмездие настигает за гробом. Господь сам вступает за невинных.

— Вы полагаете, что Господу есть дело до подобных пустяков?

— Не обнимай он одним взглядом всю вселенную вплоть до мельчайших пылинок, как вы одним взглядом можете окинуть весь расстилающийся перед вами пейзаж, он не был бы Богом.

— Господин кюре, можете вы мне дать честное слово, что знаете все, что мне рассказали, только от дяди?

— Ваш дядя трижды являлся Урсуле и повторял ей эту историю. Измученная видениями, она посвятила меня в тайну, которая кажется ей настолько невероятной, что она никогда не станет ее разглашать. Поэтому вы можете быть совершенно спокойным.

— Да я и так спокоен, господин Шапрон.

— Надеюсь, — сказал старый священник. — Даже если бы откровения призрака казались мне совершенно бессмысленными, я все равно счел бы своим долгом поведать вам о них — уж слишком поразительны иные детали. Вы человек порядочный, честным путем нажили себе достаточное состояние, и вам нет нужды прибегать к воровству. К тому же вы человек простодушный, вас замучили бы угрызения совести. Все мы, от самого цивилизованного до последнего дикаря, наделены чувством справедливости, которое не позволяет нам мирно наслаждаться добром, приобретенным в обход законов, ибо разумное устройство общества сходно с устройством мироздания. В этом смысле общество имеет божественную природу. Человек не изобретает самостоятельно ни идей, ни форм, он лишь подражает тем вечным соотношениям, что наблюдает во вселенной. И вот что отсюда следует: отправляясь на эшафот, преступник волен унести с собой тайну своих преступлений, однако неведомая сила побуждает его перед смертью признаться в содеянном. Так что, дорогой мой господин Миноре, если вы спокойны, я счастлив за вас.

Миноре был настолько ошеломлен, что даже не проводил кюре до дверей. В приступе ярости, каким подвержены люди сангвинического темперамента, он отвратительно богохульствовал и осыпал Урсулу самой отборной бранью, уверенный, что его никто не слышит.

— Ну, какая муха тебя укусила? — спросила его Зелия, только что проводившая кюре и теперь на цыпочках подкрадываясь к двери.

Не помнивший себя от злости и выведенный из терпения постоянными расспросами жены, Миноре в первый и единственный раз избил ее до полусмерти; увидев, что Зелия лежит на полу и не может подняться, он опомнился, взял ее на руки и сам донес до постели. Гигант тоже слег — пришлось дважды пустить ему кровь. Когда он встал на ноги, все в Немуре тотчас заметили, как сильно он переменялся. Он гулял в одиночестве и часто бродил по городу как неприкаянный. Издавна слывший человеком без царя в голове, он с некоторых пор стал слушать собеседников с рассеянным видом, словно замороженный какой-то мыслью. Наконец однажды вечером он подошел на главной улице к мировому судье, который, как обычно, направлялся к Урсуле, чтобы проводить ее к госпоже де Портандюэр.

— Господин Бонгран, мне нужно сообщить нечто важное моей кузине, — сказал он, беря мирового судью под руку, — и я хотел бы сделать это в вашем присутствии, потому что ей могут пригодиться ваши советы.

Они застали Урсулу за книгой; увидев Миноре, девушка поднялась, глядя на него величаво и холодно.

— Дитя мое, господин Миноре хочет поговорить с вами о каком-то деле, — сказал мировой судья. — Кстати, не забудьте дать мне ваши облигации — я еду в Париж и получу деньги за полугодие и для вас и для тетушки Буживаль.

— Кузина, — сказал Миноре, — у дядюшки вы жили в довольстве, не то, что теперь.

— Можно быть счастливым и в бедности, — отвечала Урсула.

— Я подумал, что с деньгами вы были бы еще счастливее, — продолжал Миноре, — и из почтения к памяти дяди хочу помочь вам.

— У вас была возможность почтить его память, — сухо сказала Урсула. — Вы могли оставить его дом, как был, и продать мне — ведь вы запросили за него такую высокую цену только в надежде отыскать там сокровища...

— Как бы там ни было, — с заметным усилием произнес Миноре, — имей вы двенадцать тысяч ливров ренты, вы могли бы выйти замуж и жить в достатке.

— У меня их нет.

— А если бы я вам их дал с условием, что вы купите себе землю в Бретани, на родине госпожи де Портандюэр, которая в этом случае даст согласие на ваш брак с ее сыном?

— Господин Миноре, — сказала Урсула, — у меня нет прав на такую крупную сумму и я не смогу принять ее от вас. Мы с вами не такие уж близкие родственники и еще менее близкие друзья. Я слишком сильно пострадала от клеветы, чтобы подавать повод к злословию. Чем заслужила я эти деньги? На каком основании делаете вы мне такой подарок? На эти вопросы, которые я вправе задать вам, каждый будет отвечать по-своему; я не хочу, чтобы люди решили, будто вы от меня откупаетесь. Ваш дядя не учил меня подлостью. Подарки можно принимать только от друзей: я не смогу питать к вам добрые чувства и поневоле буду неблагодарной, а это не в моих правилах.

— Так вы отказываетесь? — вскричал гигант, пораженный тем, что кто-то может отказываться от богатства.

— Отказываюсь, — повторила Урсула.

— Но с какой стати вы предлагаете мадемуазель Мируэ такие деньги? — спросил бывший стряпчий, пристально глядя на Миноре. — Вы что-то задумали. Что же именно?

— Да, задумал — задумал удалить ее из Немура, чтобы мой сын оставил меня в покое; он влюбился в нее и хочет на ней жениться.

— Ладно, мы подумаем. Дайте нам время на размышления, — сказал мировой судья, поправляя очки.

Он проводил Миноре до дома и похвалил гиганта за попечение о будущности Дезире, а Урсулу осудил за опрометчивость и обещал уговорить ее. Расставшись с Миноре, Бонгран тут же бросился на почтовую станцию, нанял кабриолет и поскакал в Фонтенбло. Выяснив, что помощник прокурора скорее всего проводит вечер у супрефекта, мировой судья, очень довольный, отправился туда. Дезире играл в вист с женой королевского прокурора, женой супрефекта и командиром стоящего в городе полка.

— Я приехал сообщить вам радостную весть, — сказал Бонгран Дезире, — ваш отец согласен

женить вас на кузине, Урсуле Мируэ, в которую вы влюблены.

— Я влюблен в Урсулу Мируэ? — захохотал Дезире. — А кто это такая — Урсула Мируэ? Помню, я видел пару раз у покойного Миноре, моего архидвоюродного дедушки, какую-то девочку, красивую, конечно, но на мой вкус чересчур богомольную; я, как и все окружающие, оценил ее прелести, но никогда в жизни эта бесцветная блондинка не смогла бы вскружить мне голову.

Всю эту тираду он произнес, расточая улыбки жене супрефекта — прельстительной, как сказали бы в прошлом веке, брюнетке.

— Вы что, с луны свалились, дорогой мой господин Бонгран? — продолжал Дезире. — Всякий знает, что отец нынче владелец Рувра, помещик, получающий сорок восемь тысяч ливров дохода со своих земель, так что у меня сорок восемь тысяч пожизненных и поземельных оснований оставаться равнодушным к воспитаннице Прокуратуры. Если б я женился на нищенке, эти благородные дамы сочли бы меня круглым дураком.

— И вы никогда не докучали отцу разговорами об Урсуле?

— Никогда.

— Слышали вы эти слова, господин королевский прокурор? — спросил мировой судья, а затем отвел прокурора к окну, где они минут пятнадцать о чем-то беседовали.

Час спустя мировой судья возвратился в Немур, поспешил к Урсуле и послал тетушку Буживаль за Миноре. Гигант явился тотчас.

— Мадемуазель Мируэ... — сказал Бонгран, глядя на Миноре.

— Согласна? — перебил его тот.

— Еще нет, — отвечал мировой судья, поправив очки, — она опасается вашего сына; ведь один такой поклонник уже причинил ей много горя, и она знает цену покоя. Можете ли вы поклясться, что ваш сын от нее без ума и что у вас нет другого намерения, кроме как защитить нашу дорогую Урсулу от новых проделок какого-нибудь негодяя, которого подкупили?

— Конечно. Клянусь, что так.

— Стоп, папаша Миноре! — воскликнул мировой судья и, вынув руку из кармана брюк, хлопнул великана по плечу. — Не спешите лжесвидетельствовать.

Миноре вздрогнул.

— Лжесвидетельствовать?

— Да, потому что ваш сын только что поклялся мне в Фонтенбло в доме супрефекта, в присутствии пяти человек и в том числе королевского прокурора, что он никогда и не помышлял о женитьбе на своей кузине Урсуле Мируэ. Ваши слова показались мне подозрительными, я съездил в Фонтенбло, чтобы их проверить. Значит, у вас есть другие причины дарить мадемуазель Мируэ такое огромное состояние?

Миноре, потрясенный собственной глупостью, стоял разинув рот.

— Но, господин Бонгран, что плохого в том, что я хочу помочь своей родственнице выйти за человека, которого она любит, и стараюсь, чтобы она не сочла эту помощь оскорбительной?

Страх помог Миноре отыскать почти пристойное объяснение, и он утер лоб, на котором выступили крупные капли пота.

— Вам известны причины моего отказа, — сказала Урсула, — я прошу вас больше сюда не приходите. Господин де Портанджюэр питает к вам презрение и даже ненависть и, хотя он умалчивает об источнике этих чувств, я не могу принимать вас в своем доме. Мы поженимся сразу после моего совершеннолетия. Я не стыжусь признаться, что счастлива, в этом счастье — все мое богатство, и я не хочу ставить его под угрозу.

— Правду, значит, говорят, что не в деньгах счастье? — сказал великан Миноре и, не в силах вынести испытующего взгляда мирового судьи, отвел глаза.

Он встал и вышел, но на улице ему было так же тошно, как и в маленькой гостиной Урсулы.

«Должно же это когда-нибудь кончиться», — думал он, идя домой.

— Давайте облигации, дитя мое, — сказал мировой судья, удивляясь спокойствию Урсулы, которую столь странное происшествие ничуть не взволновало.

Пока Урсула ходила за облигациями, мировой судья мерил комнату широкими шагами.

— Можете вы мне объяснить поведение этого толстого болвана? — спросил он.

— Не могу, потому что не вправе, — ответила девушка.

Бонгран посмотрел на нее с изумлением.

— В таком случае мы с вами думаем об одном и том же, — ответил он. — Кстати, запишите номера этих двух облигаций на случай, если я их потеряю; это никогда не помешает.

Он сам записал на листке бумаги номера облигаций кормилицы и Урсулы.

— Прощайте, дитя мое; через два дня я вернусь — у меня назначено судебное заседание.

Ночью Урсуле приснился сон еще более необычный, чем все предшествующие. Ей показалось, что кровать ее перенеслась на немурское кладбище и опустилась прямо на могилу дяди. Белая надгробная плита, к ее ужасу, приподнялась, словно крышка альбома. Она пронзительно закричала, а из могилы медленно встал призрак доктора. Сначала она увидела желтый череп и седые волосы, окруженные сверкающим нимбом. Призрак выпрямился, словно под действием высшей силы; из глаз его струилось сияние. Плотская оболочка Урсулы содрогалась от ужаса, тело ее уподобилось пылающей одежде, а внутри, как рассказывала она потом, билось как бы ее второе «я». «Пощадите!» — сказала она крестному. «Поздно! — ответил он мертвым голосом (это удивительное выражение употребила девушка, пересказывая свой новый сон аббату Шапрону). — Его предостерегли, но он не внял предостережению. Дни его сына сочтены. Пусть знает: если он в самое ближайшее время не признается во всем и не вернет всего украденного, сын его умрет страшной насильственной смертью». И со словами: «Вот его приговор!» — призрак указал девушке на ряд цифр, которые сверкали на кладбищенской ограде, словно написанные огнем. Когда призрак вновь лег в могилу, Урсула услышала звук падающего надгробного камня, а затем издали донесся конский топот и пронзительный человеческий крик.

На следующее утро Урсула проснулась совершенно разбитой. Последнее сновидение настолько потрясло ее, что она была не в силах подняться. Девушка послала кормилицу за аббатом Шапроном. Отслужив обедню, добрый старец явился и выслушал Урсулу без малейшего удивления: он верил, что Миноре в самом деле украл облигации, и потому не видел ничего странного в рассказах маленькой ясновидицы. Он поспешно простился с Урсулой и бросился к Миноре.

— Бог мой, господин кюре, — сказала Зелия священнику, — ума не приложу, отчего у мужа так испортился характер. В прежние времена это был большой ребенок, а в последние два месяца я его не узнаю. Он до того дошел, что избил меня — а уж у меня, кажется, такой незлобивый нрав! Его словно подменили. Ищите его среди скал, он там пропадает целыми днями. И что он там забыл?

Дело происходило в сентябре 1836 года; несмотря на жару, священник перешел на другой берег канала и направился по тропинке к скале, у подножия которой сидел Миноре.

— Вас что-то гнетет, господин Миноре, — сказал кюре преступнику, — а мой долг помогать страждущим. К несчастью, я могу лишь подтвердить ваши опасения. Сегодня Урсуле приснился ужасный сон. Ваш дядя восстал из гроба и предрек вашей семье большие беды. Я вовсе не хочу вас пугать, но вы должны знать, что он сказал, потому что...

— Выходит, господин кюре, вы даже среди скал не даете мне покоя... Я не желаю знать новости с того света.

— Прощайте, сударь, я ведь не ради собственного удовольствия шел сюда по жаре, — сказал священник, отирая пот со лба.

— Ну ладно, так что там сказал старикан? — спросил Миноре.

— Вы рискуете потерять сына. Этому призраку, который знает вещи, известные только вам одному, открыто будущее, о котором мы ничего не ведаем! Верните деньги, сударь, верните! Не обрекайте себя на вечные муки из-за горстки золота.

— Но о каких деньгах речь?

— О деньгах, которые доктор оставил Урсуле. Вы взяли себе эти три облигации, теперь я в этом не сомневаюсь. Вначале вы преследовали бедную девушку, а теперь дарите ей целое состояние; вы унизились до лжи, запутались в собственных измышлениях и все время попадаете впросак. Вы неловки, а ваш сообщник Гупиль, для которого нет ничего святого, предал вас. Поторопитесь — ведь за вами наблюдают друзья Урсулы, а они люди умные и проникательные. Верните деньги! Если не для спасения сына, которому, быть может, ничто не угрожает, то хотя бы для спасения вашей души и чести. Неужели вы думаете, что в таком обществе, как наше, в маленьком городке, где все на виду и если и не знают всего, то обо всем догадываются, вы сможете утаить богатство, нажитое нечестным путем? Да что говорить, сын мой, будь вы невинны, вы не стали бы слушать меня так долго.

— Подите к черту! — вскричал Миноре. — Не знаю я, чего вы все ко мне привязались! По мне, уж лучше эти камни, они ничего от меня не требуют.

— Прощайте, дорогой господин Миноре, я вас предостерег. Мы с бедняжкой Урсулой никому ни слова не сказали обо всей этой истории. Но берегитесь, один человек следит за вами. Да смилостивится над вами Господь!

Аббат Шапрон двинулся в обратный путь, но, пройдя несколько шагов, оглянулся, чтобы еще раз взглянуть на Миноре. Тот сидел обхватив голову руками, — с головой у него творилось что-то неладное. Он чувствовал, что сходит с ума. Во-первых, он не знал, что делать с тремя облигациями; получить по ним деньги он не смел, потому что боялся выдать себя; продавать их он тоже не хотел и искал способа перевести их на другое лицо. Он сочинял — подумать только! — целые романы, развязкой которых неизменно служило избавление от проклятых облигаций. В этом бедственном положении он надумал во всем признаться жене и спросить у нее совета. Зелия так ловко умеет обдeldывать дела, она наверняка что-нибудь придумает! Трехпроцентная рента шла в ту пору по восемьдесят франков, так что за все про все по облигациям можно было получить почти миллион! Вернуть миллион, когда против тебя нет ни

одной улики? Это не шутка. Сентябрь и часть октября Миноре по-прежнему мучился раскаянием, но так ни на что и не решился. К удивлению всего городка, он похудел.

Ужасное обстоятельство заставило Миноре наконец признаться во всем Зелии. Дамоклов меч над головами супругов Миноре дрогнул. В середине октября они получили от Дезире следующее письмо:

«Дорогая матушка, я до сих пор не приехал повидать вас, во-первых, потому, что замещал господина прокурора в его отсутствие, а во-вторых, потому, что знал о желании господина де Портандюэра драться со мной. Устав дожидаться моего приезда и не желая долее откладывать свою месть нашей семье, виконт сам приехал в Фонтенбло. Он посетил меня вместе с виконтом де Суланжем, командиром эскадрона гусар, стоящего у нас в городе, и одним своим парижским приятелем, нарочно вызванным из столицы, и в весьма учтивых выражениях объяснил мне, что мой отец — бесспорный виновник подлых выходок, оскорбительных для его невесты Урсулы Мируэ. В доказательство он сослался на признания Гупиля, сделанные в присутствии свидетелей, а также на поведение моего отца, который вначале нарушил обещание вознаградить Гупиля за его гнусные проделки и дал ему денег только на покупку конторы судебного исполнителя, но вскоре, испугавшись, передумал, поручился за Гупиля господину Дионису и помог ему приобрести контору нотариуса. Желая непременно отомстить за Урсулу, но считая для себя невозможным драться с человеком шестидесяти семи лет, виконт попросил у меня удовлетворения по всей форме. У него было время обдумать это решение, сказал он, и оно непоколебимо. Он предупредил меня, что, если я откажусь драться, он оскорбит меня публично в присутствии людей, чьим уважением я дорожу, и мне все равно не избежать дуэли, если я не хочу погубить свою карьеру. Во Франции не любят трусов. Виконт сказал к тому же, что о причинах дуэли свет узнает от людей почтенных, и добавил, что сожалеет о необходимости прибегнуть к крайним мерам. По мнению его секундантов, разумнее всего было бы решить дело, как принято у людей порядочных, не упоминая имени мадемуазель Мируэ. Кроме того, во избежание скандала, следует не мешкая отправиться за границу и драться на чужой земле. Это было бы наилучшим выходом из положения. Его имя, сказал виконт, в десять раз дороже моего состояния, к тому же в нашей дуэли он рискует не только жизнью, но и своим грядущим счастьем. Он попросил меня найти секундантов и все с ними обсудить. Вчера мои и его секунданты встретились и единогласно решили, что я обязан драться. Поэтому через неделю я с двумя друзьями отправлюсь в Женеву. Туда же придут господин де Портандюэр с господином де Суланжем и господином де Траем. Мы будем драться на пистолетах; все условия поединка уже обговорены: каждый стреляет не больше трех раз. Чтобы не предавать огласке столь грязное дело — ибо я ничем не могу оправдать поведение отца, — я пишу вам в последнюю минуту. Я не приеду повидать вас, чтобы вы не помешали дуэли — это было бы неприлично. Чтобы проложить себе путь в свете, должно чтить его законы, и там, где у сына виконта десять причин драться, у сына почтмейстера их сотня. Я буду проезжать через Немур ночью и прошусь с вами».

Прочтя письмо, Зелия закатила Миноре такой скандал, что великану пришлось признаться в краже, посвятить жену во все подробности этого дела и рассказать о странных последствиях, которые оно имело повсюду, вплоть до мира снов. Миллион заворожил Зелию не меньше, чем самого Миноре.

— Сиди тихо, — сказала Зелия мужу, даже не выбравив его за совершенные им глупости, — я беру все на себя. Денег мы не отдадим, но Дезире драться не будет.

Госпожа Миноре схватила шаль и шляпку и с письмом сына в руках бросилась к Урсуле. Поскольку был полдень, она застала девушку одну. Несмотря на всю свою самоуверенность, Зелия Миноре смутилась, встретив холодный взгляд сироты, но тотчас подавила страх и заговорила весьма бесцеремонно.

— Взгляните-ка сюда, мадемуазель, — закричала она, протягивая Урсуле письмо помощника прокурора, — сделайте одолжение, прочтите это письмо и скажите, что вы обо всем этом думаете.

Тысяча противоречивых чувств охватили Урсулу при чтении письма. Девушка узнала, как сильно любит ее Савиньен и как бережет он честь той, кого берет в жены, но она была слишком благочестива и слишком милосердна, чтобы желать смерти или страданий даже злейшему врагу.

— Я обещаю вам, сударыня, что эта дуэль не состоится; вы можете быть совершенно спокойны, но прошу вас, оставьте мне это письмо.

— Послушайте, ангел мой, я придумала кое-что получше. Дело вот в чем. Мы купили Рувр — настоящий королевский замок, и земли вокруг него, которые приносят нам сорок восемь тысяч ливров в год; в придачу мы можем дать за Дезире облигации казначейства, которые приносят в год двадцать четыре тысячи ливров. Итого выходит в год семьдесят две тысячи. Согласитесь, такие женихи на дороге не валяются. Вы девочка честолюбивая... и вы совершенно правы, — добавила Зелия в ответ на протестующий жест Урсулы. — Я пришла просить вас стать женой Дезире; вы будете носить имя вашего крестного — ему это было бы приятно. Вы ведь знаете Дезире: он красавец, на хорошем счету в Фонтенбло и скоро станет королевским прокурором. Вы очаровательница, с вашей помощью он скоро получит место в Париже. Мы купим вам хороший дом в столице; с семьюдесятью двумя тысячами франков дохода, не считая жалованья Дезире, можно играть в свете не последнюю роль. Вы будете блистать в самом высшем обществе. Посоветуйтесь со своими друзьями, увидите, что они скажут.

— Я слушаюсь только советов собственного сердца.

— Ладно-ладно! Только не толкуйте мне об этом красавчике Савиньене! Черт возьми, все, что у него есть, — это имя, закрученные кверху усики да черные кудри. Хорошенький юнец, и ничего больше! С мужем, который в два года наделал в Париже долгов на сто тысяч франков, не очень-то разгуляешься на семь тысяч франков ренты. Да и вообще, детка, все мужчины одинаковы, просто вам это невдомек, а мой Дезире, скажу не хвастаясь, может потягаться с сыном короля.

— Вы забываете, сударыня, что ваш сын в данную минуту подвергается опасности, и единственный, кто может его спасти, — это господин де Портандюэр, причем сделает он это лишь ради меня. Но если господин де Портандюэр узнает о постыдных предложениях, которые вы мне делаете, я буду бессильна помочь вашему сыну... Знайте, сударыня, что мне милее бедность, которой вы меня пугаете, чем роскошь, которой думаете меня прельстить. По причинам, которые пока никому неизвестны, но которые рано или поздно раскроются, потому что рано или поздно все тайное становится явным, господин Миноре, подвергая меня отвратительным преследованиям, выставил на всеобщее обозрение чувство, связующее меня с господином де Портандюэром; впрочем, мы можем более не скрывать его, поскольку мать господина Савиньена согласна на наш брак; итак, я имею право сказать вам, что в этом чувстве, законном и дозволенном, — вся моя жизнь. Я ни на что не променяю его, какую бы блестящую будущность и высокое положение в свете вы мне ни сулили. Я полюбила господина Савиньена раз и навсегда. Выйдя за другого, я совершила бы грех, за который была бы наказана. Скажу больше, сударыня, раз уж вы меня вынуждаете: даже если бы я не любила господина де Портандюэра, я все равно не решилась бы разделить радости и горести супружеской жизни с вашим сыном. Господин Савиньен делал долги — но ведь и вы платили по векселям господина Дезире. В характерах наших нет ни того сходства, ни тех различий, что позволяют жить бок о бок без тайной неприязни. Пожалуй, я не могла бы относиться к вашему сыну так снисходительно, как подобает супруге, и вскоре стала бы ему обузой. Не делайте же мне предложение, которого я недостойна и которое я могу отвергнуть, ничуть не

огорчив вас, ведь с вашим богатством вы легко отыщете девушек куда красивее, знатнее и богаче меня.

— Так вы клянетесь мне, детка, что молодые люди никуда не поедут и поединка не будет?

— Я полагаю, что это будет самая большая жертва, какую может принести мне господин де Портандюэр, но я не хочу, чтобы мой брачный венец был обагрён кровью.

— В таком случае я благодарю вас, кузина, и желаю счастья.

— А я, сударыня, — сказала Урсула, — желаю вам, чтобы надежды на блестящую будущность вашего сына смогли сбыться.

Этот ответ больно задел мать помощника прокурора и напомнил о пророчестве из последнего сна Урсулы; она вскочила и впилась своими маленькими глазками в чистое, светлое лицо Урсулы, которая тоже поднялась, чтобы проводить свою так называемую кузину; хотя девушка до сих пор носила траур, она была прекрасна и в темном платье.

— Так вы верите в сны? — спросила Зелия.

— Я слишком страдаю от них, чтобы не верить...

— Но в таком случае... — начала было Зелия.

— Прощайте, сударыня, — сказала Урсула, расслышав за дверью шаги кюре.

Аббат Шапрон был поражен, встретив госпожу Миноре в доме Урсулы. Худощавое, разом постаревшее лицо бывшей владелицы почтовой конторы выражало столь сильную тревогу, что священник испытующе взглянул на обеих женщин.

— Верите вы, что к живым могут приходиться мертвые? — спросила Зелия у кюре.

— А вы верите, что к живым могут приходиться деньги? — с улыбкой ответил вопросом на вопрос кюре.

«Все они тут себе на уме, хотят нас надуть, — подумала Зелия. — Старый священник, старый Бонгран и молодой плут Савиньен — все заодно. Девчонке являлось столько же призраков, сколько у меня волосков на ладони».

Она сделала реверанс и, коротко и сухо простившись с Урсулой и кюре, удалилась.

— Я знаю, зачем Савиньен ездил в Фонтенбло, — сказала Урсула и, посвятив аббата в тайну готовящейся дуэли, попросила его сделать все возможное, чтобы помешать поединку.

— И госпожа Миноре предложила вам руку своего сына?

— Да.

— Значит, Миноре признался жене в краже.

Тут в гостиную вошел мировой судья; услышав о приходе Зелии, чья ненависть к Урсуле была ему известна, и о ее предложении, он взглянул на кюре, как бы говоря: «Выйдемте, мне нужно поговорить с вами об Урсуле наедине».

— Савиньен узнает, что вы отвергли красавчика Дезире с его восьмьюдесятью тысячами франков! — сказал Бонгран.

— Разве это жертва? — отвечала Урсула. — Разве можно говорить о жертвах, если любишь

по-настоящему? Да и вообще, какая заслуга в том, чтобы отказать сыну человека, которого презираешь?! Пусть другие возводят свое отвращение в добродетель, но девушке, воспитанной такими людьми, как капитан Жорди, аббат Шапрон и наш дорогой доктор, — она взглянула на портрет крестного, — это не пристало!

Бонгран поцеловал Урсуле руку.

— Знаете ли вы, — спросил мировой судья священника, когда они вышли из дому и направились вверх по Главной улице, — зачем приходила госпожа Миноре?

— Зачем? — переспросил кюре, глядя на судью не без лукавства.

— Она хотела вернуть украденное.

— Так вы полагаете...? — переспросил аббат.

— Я не полагаю, я знаю наверное. Вот смотрите!

Мировой судья указал священнику на Миноре, который шел им навстречу по Главной улице; великан возвращался с прогулки.

— Выступая в суде присяжных, я не раз сталкивался с людьми, мучимыми угрызениями совести, но ничего подобного не видел! От чего могли так побледнеть и одрябнуть гладкие, как кожа на барабане, щеки пышущего здоровьем беззаботного толстяка? Откуда эти черные круги под глазами, утратившими свою деревенскую живость? Кто мог подумать, что этот лоб избородят морщины, что ум этого колосса будет тревожить хоть какая-нибудь мысль? Он узнал наконец, что у него есть сердце! Я знаю, что такое угрызение совести, как вы, друг мой, знаете, что такое раскаяние; все мучимые угрызениями совести люди, каких мне довелось видеть до сих пор, жили в ожидании наказания либо готовились понести его, чтобы покончить счеты с миром; они покорялись судьбе либо мечтали отомстить; нынче же перед нами — угрызения совести без искупления, угрызения в чистом виде, жадно терзающие свою добычу.

— Вы уже знаете, что мадемуазель Мируэ только что отвергла руку вашего сына? — спросил мировой судья у Миноре, остановив его.

— Но, — добавил кюре, — не беспокойтесь: она не допустит его дуэли с господином де Портандюэром.

— О! Значит, моя жена добилась своего, — сказал Миноре. — Как хорошо, а то я себе места не находил от волнения.

— В самом деле, вас прямо не узнать, — сказал мировой судья.

Миноре переводил взгляд с Бонграна на аббата Шапрона, пытаясь понять, не проболтался ли священник, но видя, как невозмутимо его кроткое и печальное лицо, успокоился.

— Это тем более удивительно, — продолжал мировой судья, — что судьба вас балует. Вы наконец заполучили Рувр, а в придачу к нему у вас есть Бордьеры и прочие фермы да еще мельницы, луга... Одни только облигации казначейства приносят вам сто тысяч ливров ренты.

— У меня нет облигаций казначейства, — быстро ответил Миноре.

— Ладно-ладно! — сказал мировой судья. — Это все равно как с любовью вашего сына к Урсуле: то он воротит от нее нос, то делает ей предложение. А вы, сударь! То вы хотите, чтоб Урсула умерла с горя, то собираетесь женить на ней сына! Что-то тут нечисто...

Миноре хотел ответить, напряг все свои умственные способности, но не придумал ничего лучше, чем сказать: «Странный вы человек, господин мировой судья. Прощайте, господа».

И он, еле переставляя ноги, отправился к себе на улицу Буржуа.

— Он обокрал нашу бедную Урсулу! Но как это доказать?

— С божьей помощью... — ответил кюре.

— Бог наделил нас чувством раскаяния, оно уже проснулось в груди этого человека. Однако на языке юристов это всего лишь презумпция — человеческому правосудию этого мало.

Аббат Шапрон, верный своему долгу священника, промолчал. Как это нередко бывает в подобных случаях, он гораздо чаще, чем хотел, размышлял о краже, в которой Миноре почти сознался, и о счастье Савиньена и Урсулы, единственным препятствием к которому была теперь бедность девушки, поскольку старая дама призналась на исповеди, как она раскаивается в том, что не позволила сыну жениться при жизни доктора. На следующий день, отслужив обедню и сходя с амвона, аббат вдруг остановился, как громом пораженный удивительной мыслью; он знаком попросил Урсулу подождать его и, даже не позавтракав, отправился к ней домой.

— Дитя мое, — сказал кюре девушке, — я хочу взглянуть на те два тома, где, по словам призрака, были спрятаны облигации и банковские билеты.

Урсула и кюре поднялись в библиотеку и сняли с полки третий том «Пандектов». Открыв его, старый священник не без удивления заметил, что страницы книги, гораздо более тонкие, чем переплет, до сих пор хранят отпечаток облигаций. В другом же томе страницы неплотно прилегали одна к другой, словно между ними долго лежал какой-то пакет.

— Что же вы не заходите, господин Бонгран? — крикнула тем временем тетушка Буживаль проходившему мимо мировому судье.

Бонгран вошел в библиотеку как раз в ту минуту, когда кюре надевал очки, чтоб разобрать цифры, записанные рукой покойного Миноре на форзаце из цветной веленовой бумаги, приклеенной к внутренней стороне переплета; их только что заметила Урсула.

— Что это значит? Наш дорогой доктор слишком любил книги, чтобы понапрасну портить форзац, — сказал аббат Шапрон. — Здесь пять номеров, перед первым стоит М, перед последним У, а средние три — без букв.

— Как вы сказали? — вскричал Бонгран. — Позвольте-ка мне взглянуть. Бог мой! Узрев это, даже безбожник уверовал бы во всемогущество Провидения. Человеческое правосудие, думаю я, — не что иное, как продолжение Божественного промысла, правящего мирами!

Он обнял Урсулу и поцеловал ее в лоб.

— О дитя мое! Вы будете счастливы и богаты, обещаю вам!

— Что с вами? — спросил кюре.

— Дорогой мой господин Бонгран, — закричала тетушка Буживаль, хватая судью за полу синего редингота, — да дайте же мне вас расцеловать за такие ваши слова!

— Чтобы мы не обольщались понапрасну, объясните нам, что случилось, — попросил кюре.

— Если чтобы стать богатой, мне придется причинить кому-то зло, — сказала Урсула, опасавшаяся уголовного процесса, — то...

— Да вы только подумайте, — перебил ее мировой судья, — как обрадуется наш дорогой Савиньен!

— Вы с ума сошли, — сказал кюре.

— Нет, милейший кюре, — возразил мировой судья, — я в здравом рассудке. Дело вот в чем: облигации казначейства делятся на серии, число которых равняется числу букв алфавита; на каждой облигации стоит буква серии, только на облигациях на предъявителя букв нет, поскольку они не записаны ни на чье имя. Следовательно, записи, которые вы видите, доказывают, что в тот день, когда наш покойный друг поместил свое состояние в государственную ренту, он записал номер своей облигации достоинством пятнадцать тысяч ливров с буквой М (Миноре), номера без букв — это три облигации на предъявителя, и номер облигации на имя Урсулы Мируэ — видите, ее номер 23 534 с буквой У, а номер облигации с буквой М — 23 533. Это совпадение доказывает, что перед нами — номера пяти облигаций, приобретенных в один и тот же день; доктор записал их на случай пропажи. Я посоветовал ему вложить состояние Урсулы в ренту на предъявителя, и он, должно быть, в один и тот же день поместил туда и сумму, принадлежавшую Урсуле, и ту, которую хотел ей оставить. Я сейчас же бегу к Дионису справиться с описью, и, если номер облигации доктора — в самом деле 23 533 М, мы сможем утверждать наверное, что в один и тот же день, при посредничестве одного и того же биржевого маклера доктор вложил в казну: primo[183], весь свой основной капитал, причем получил одну облигацию, secundo[184], все свои сбережения, причем получил три облигации на предъявителя с номером без буквенной серии, и, tertio[185] — капитал своей воспитанницы, неопровержимые доказательства чему мы отыщем в книге записей о переводе ценных бумаг на другое лицо. Ну, плут Миноре, вот ты и попался. Держите язык за зубами, друзья мои!

Мировой судья стремительно вышел, а кюре, тетушка Буживаль и Урсула, потрясенные до глубины души неисповедимостью путей, которыми Господь ведет невинных к счастью, стали обсуждать происшедшее.

— Это перст Божий! — воскликнул аббат Шапрон.

— Ах, барышня, — сказала тетушка Буживаль, — да я бы сама принесла веревку, чтоб его повесить.

Тем временем мировой судья, стараясь держаться как можно равнодушнее, вошел в контору Диониса, где теперь командовал его преемник Гупиль.

— Я хотел бы навести небольшую справку насчет наследства Миноре, — сказал он.

— Какую именно?

— Старик оставил одну или несколько облигаций трехпроцентной ренты?

— Он оставил одну-единственную облигацию трехпроцентной ренты достоинством пятнадцать тысяч ливров, — ответил Гупиль. — Я сам ее описывал.

— Все-таки загляните в опись, — попросил судья.

Гупиль взял папку, порылся в ней, отыскал подлинник описи, пробежал его глазами и прочел вслух нужное место: «Item[186], облигация... Вот видите?.. под номером 23 533 М».

— Сделайте одолжение, снимите мне теперь же копию с этой статьи описи, я подожду.

— На что вам она? — спросил Гупиль.

— Вы хотите быть нотариусом? — спросил судья, строго взглянув на новоиспеченного

преемника Диониса.

— Еще бы! — воскликнул Гупиль. — Мало что ли мной помыкали, прежде чем я выбился в люди. Прошу вас, не сомневайтесь, господин мировой судья, что между жалким клерком по имени Гупиль и господином Жаном Себастьяном Мари Гупилем, немурским нотариусом, супругом мадемуазель Массен, нет ровно ничего общего. Эти двое не знакомы друг с другом, они даже выглядят по-разному, вы разве не видите?

Тут только Бонгран заметил, что на Гупиле белый галстук, сверкающая белизной рубашка с рубиновыми пуговицами, красный бархатный жилет, сшитые в Париже сюртук и панталоны из добротного черного сукна. Обут он был в превосходные сапоги. Волосы, тщательно зачесанные назад, благоухали. Словом, перед Бонграном в самом деле был другой человек.

— Да вы совершенно переменялись! — воскликнул мировой судья.

— И физически, и нравственно, сударь! Контора в контрах с безрассудством, богатство — источник чистоты...

— И физически, и нравственно, — повторил мировой судья, поправляя очки.

— Ах, сударь, разве обладатель ренты в сто тысяч экю может быть демократом? Перед вами порядочный человек с тонким вкусом, рожденный для семейного счастья, — прибавил он, заметив, что в комнату вошла госпожа Гупиль. — Я так переменялся, — продолжал он, — что почитаю кухню Кремьер женщиной большого ума; я занимаюсь ее образованием, так что дочка ее теперь уже не толкует про пистоны. Да вот, кстати, хотя бы вчера, когда кухня сказала про собаку господина Савиньена, что она великолепна в бегах, я никому не стал пересказывать этот перл и тотчас разъяснил ей разницу между выражениями «в бегах», «на бегах» и «в беге». Короче говоря, я теперь стал другим человеком и никогда не унижусь до пакостей.

— Тогда поторопитесь, — ответил Бонгран, — выписка должна быть у меня через час; этим нотариус Гупиль искупит некоторые грехи старшего клерка.

Попросив городского врача дать ему на время лошадь и кабриолет, мировой судья взял разоблачительные тома «Пандектов», облигацию Урсулы и, получив у Гупиля выписку, отправился в Фонтенбло к королевскому прокурору. Там он без труда доказал, что кто-то — скорее всего, один из наследников — украл из дома доктора три облигации на предъявителя, а затем убедил прокурора, что вор этот — Миноре.

— Это многое объясняет в его поведении, — сказал прокурор.

На всякий случай он тотчас написал протест против передачи кому бы то ни было трех облигаций и, приказав отправить его в казначейство, попросил мирового судью выяснить, какова сумма, полученная по этим трем облигациям, и не проданы ли они. Пока мировой судья наводил справки в Париже, прокурор королевского суда вежливым письмом вызвал к себе госпожу Миноре. Зелия, боявшаяся за сына, оделась, велела запрячь лошадей и поскакала в Фонтенбло. План прокурора был гениально прост. Он намеревался, разлучив жену с мужем, припугнуть ее суровыми законами и добиться признания. Прокурор принял Зелию в своем кабинете и сразу приступил к делу; слова его как громом поразили бывшую почтмейстершу.

— Сударыня, я не считаю вас соучастницей кражи облигаций из наследства Миноре — преступления, расследованием которого занято сейчас правосудие; но муж ваш виновен, и только ваше полное и чистосердечное признание поможет ему избежать суда присяжных. Впрочем, суд над вашим мужем — далеко не единственное, что вам грозит; подумайте о том, что сын ваш может лишиться места и доброго имени. Еще несколько минут, и будет поздно;

жандармы уже седлают коней, чтобы отправиться в Немур с постановлением об аресте.

Зелия лишилась чувств. Придя в себя, она во всем призналась.

Без труда доказав ей, что в таком случае она тоже соучастница преступления, прокурор сказал, что если она хочет спасти сына и мужа, следует действовать осторожно.

— Я говорю с вами не как чиновник, а как человек. Жалоб ко мне не поступало, дело пока не предано огласке, но муж ваш повинен в ужасных преступлениях, подлежащих суду людей менее снисходительных, чем я. Дело зашло так далеко, что мне придется посадить вас под арест... О! в моем доме и под ваше честное слово, — поспешил он добавить, видя, что Зелия снова близка к обмороку. — Подумайте о том, что долг мой предписывает мне заключить вас под стражу и начать расследование, но в настоящий момент я выступаю в первую очередь как опекун мадемуазель Урсулы Мируэ, и в ее интересах я хочу договориться с вами по-хорошему.

— Ох! — выдохнула Зелия.

— Напишите вашему мужу вот что... — И он, усадив Зелию за свой письменный стол, продиктовал письмо, принявшее под ее пером следующий вид:

«Мой друг, миня ореставали, и я во всем презналась. Атдай аблегации, каторые дядя аставил гасподину де Портандюэру по завищанию, каторое ты зжег, патаму что гасподин каралефский пракурор сичас написал пратест в Козночество».

— Таким образом вы помешаете ему погубить себя заперательством, — сказал прокурор, посмеявшись над орфографией Зелии. — Мы поищем способ вернуть облигации, не поднимая шума. Жена моя постарается, чтобы пребывание в нашем доме было для вас как можно менее тягостным, а я прошу вас не говорить никому ни слова об этом деле и держаться как можно спокойнее.

Исповедав мать своего помощника и посадив ее под замок, прокурор вызвал к себе Дезире, рассказал ему во всех подробностях о краже, которую совершил его отец, нанеся тем самым ущерб Урсуле — тайно — и своим сонаследникам — явно, и дал ему прочесть письмо Зелии. Дезире вызвался сам поехать в Немур и заставить отца вернуть украденное.

— Дело очень серьезное, — сказал прокурор. — Завещание было уничтожено, и, если эта история получит огласку, ваши родственники Массен и Кремьер могут потребовать свою долю. У меня уже сполна улики против вашего отца. Сейчас я освобожу вашу мать, которой этот небольшой спектакль уже достаточно напомнил о ее долге. Перед ней я притворюсь, будто уступил вашим мольбам. Поезжайте в Немур вместе и доведите это дело до конца. Никого и ничего не бойтесь. Господин Бонгран слишком любит мадемуазель Мируэ, чтобы сболтнуть лишнее.

Зелия и Дезире немедленно отправились в Немур. Через три часа после отъезда своего помощника королевский прокурор получил с нарочным письмо, которое мы приводим, исправив орфографические ошибки, ибо грешно смеяться над человеком, с которым стряслась беда.

«

Господину прокурору королевского суда в Фонтенбло .

Сударь,

Господь обошелся с нами суровее, чем вы, и нас постигло непоправимое несчастье. На немурском мосту одна из постромок отстегнулась. Слуги на запятках не было, лошади уже чуяли стойло, и сын мой, опасаясь, как бы они не понесли, сам спрыгнул на землю, чтоб пристегнуть постромку. Он уже хотел взобраться в экипаж и снова сесть рядом с матерью, как вдруг лошади рванулись вперед, Дезире не успел схватиться за поручень, подножка кареты ударила его по ногам, он упал, и заднее колесо переехало его. Нарочный, посланный в Париж за самыми лучшими хирургами, передаст вам это письмо, которое сын мой, несмотря на свои мучения, велел мне написать вам, чтобы известить о том, что в деле, которое привело Дезире в Немур, мы полностью покорны вашей воле.

Я до последнего вздоха буду признателен вам за ваше обхождение с нами и не обману вашего доверия.

Франсуа Миноре ».

Ужасное происшествие потрясло весь Немур. Савиньен увидел перед домом Миноре бурлящую толпу и узнал, что рука более могущественная, чем его, отомстила за Урсулу. Молодой дворянин поспешил к своей невесте; девушку и аббата Шапрона несчастный случай ужаснул, но не удивил. На следующий день после того, как парижские врачи осмотрели больного и в один голос высказались за ампутацию обеих ног, Миноре, бледный, потерянный, убитый горем, пришел вместе с кюре к Урсуле, у которой сидели Бонгран и Савиньен.

— Мадемуазель, — сказал он девушке, — я очень виноват перед вами, не все зло, причиненное мною, можно исправить, но есть один грех, который я обязан искупить. Мы с женой дали обет подарить вам в безраздельную собственность наши Руврские владения и если сын наш останется жив, и если мы будем иметь несчастье потерять его.

Тут великан разрыдался.

— Уверю вас, дорогая Урсула, — сказал кюре, — что вы можете и даже обязаны принять часть этого дара.

— Прощаете ли вы нас? — смиренно спросил великан, опускаясь перед изумленной Урсулой на колени. — Через несколько часов главный хирург Парижской городской больницы начнет операцию, но я не доверяю человеческому умению, я уповаю на милосердие Господне! Если вы простите нас, если вы попросите Господа сохранить нам сына, у него хватит сил вынести эту муку, и он не покинет нас.

— Пойдемте все вместе в церковь! — сказала Урсула вставая.

Но не успела она подняться, как пронзительно вскрикнула и без чувств упала в кресло. Придя в себя, она увидела склонившиеся над ней лица; Миноре бросился за врачом, а друзья девушки, взволнованно глядя на нее, ждали, что она скажет. Слова ее вселили ужас во все сердца.

— Я увидела на пороге крестного, и он подал мне знак, что надежды нет.

В самом деле на следующий день Дезире скончался от послеоперационной горячки. Госпожа Миноре, из чьего сердца материнская любовь вытеснила все прочие чувства, похоронив сына, лишилась разума, и муж поместил ее в клинику доктора Бланша[187], где она умерла в 1841 году.

Через три месяца после описанных событий, в январе 1837 года, Урсула и Савиньен с согласия госпожи де Портандюэр поженились. Миноре дал в приданое за девушкой свои Руврские владения и двадцать четыре тысячи франков ренты в облигациях казначейства, оставив себе только дом дяди и шесть тысяч франков ренты. Он сделался самым

милосердным и благочестивым человеком во всем Немуре; он — церковный староста, и все несчастные молятся на него.

«Бедняки заменили мне сына», — говорит он.

Если вам случалось видеть на обочине дороги в тех краях, где дубам обрезают верхушки, старое, иссохшее и словно пораженное молнией дерево, все израненное и, несмотря на свежие побеги, взывающее, как к милости, к топору дровосека, то вы можете вообразить себе бывшего почтмейстера, седого, дряхлого, отощавшего старика, в котором даже немурские старожилы с трудом узнают того блаженного глупца, который в начале нашего повествования ожидал на мосту приезда сына; теперь он даже табак нюхает не так, как прежде, теперь он состоит не из одной только телесной оболочки. Одним словом, по всему видно, что перст Божий отметил этого человека, дабы он послужил миру грозным примером. Старик этот, прежде питавший к воспитаннице своего дяди звериную ненависть, ныне, как некогда доктор Миноре, всей душой привязался к Урсуле и даже взял на себя управление ее немурскими владениями.

Господин и госпожа де Портандюэр проводят пять месяцев в году в Париже, где приобрели в Сен-Жерменском предместье великолепный особняк. Госпожа де Портандюэр-старшая, пожертвовав свой немурский дом сестрам Милосердия, которые открыли там бесплатную школу, переселилась в Рувр, где всем хозяйством заправляет тетушка Буживаль. Старая кормилица, у которой помимо хорошего жалованья, положенного ей на новом месте, есть еще одна тысяча двести франков ренты, вышла замуж за старшего Кабироля, бывшего кондуктора «Дюклерши», — ему недавно исполнилось шестьдесят. Кабироль-сын служит кучером у господина де Портандюэра.

Если, оказавшись на Елисейских полях, вы увидите изящную маленькую карету из тех, что именуются «улитками», обитую роскошным светло-серым шелком с голубым узором, то ваше внимание наверняка привлечет сидящая внутри прелестная молодая женщина; она легонько опирается на руку своего очаровательного спутника, и на лице ее, обрамленном, словно листвою, тысячей белокурых завитков, светятся любовью голубые, как барвинки, глаза. Глядя на влюбленных, вы, возможно, испытаете укол зависти, но вспомните, что эта прекрасная пара, отмеченная Богом, уже испила свою горькую чашу. Эти нежные супруги — не кто иные, как виконт де Портандюэр и его жена. В Париже нет другой такой четы.

— Это самая обворожительная супружеская пара из всех, каких я знаю, — сказала про них недавно графиня де л'Эсторад[188].

Благословите же этих счастливых детей вместо того, чтобы завидовать им; и постарайтесь отыскать себе жену, подобную Урсуле Мируэ — девушке, воспитанной тремя стариками и лучшей из Матерей — Суровой судьбой.

Гупиль, старающийся быть полезным всем немурцам и по праву слывший самым остроумным человеком в городе, пользуется всеобщим уважением, но Господь покарал его в детях — они безобразны, страдают рахитом и водянкой головного мозга. Предшественник Гупиля Дионис являет собой украшение Палаты депутатов и блистает в ней, к вящей радости короля Франции, лицезрящего на всех балах госпожу Дионис. Госпожа Дионис рассказывает всему Немуру о приемах в Тюильри и о величии французского королевского двора; она царит в Немуре благодаря королю и помогает королю царить в умах немурцев.

Бонгран — председатель меленского суда, а сын его[189] — человек кристальной честности — вот-вот станет прокурором суда второй инстанции.

Госпожа Премьер по-прежнему изрекает восхитительные глупости. Вместо «кошмар» она пишет «кошмарт» — якобы оттого, что перо ставит кляксу. Напутствуя дочь накануне свадьбы, она сказала, что «женщина — главная тупица в домашней колеснице» и что у нее

должен быть «глаз-топаз». Кстати, Гупиль записывает весь вздор, который слышит от новой родственницы, в свою «Кремьериану»[190].

— Мы имели несчастье потерять доброго аббата Шапрона, — сказала этой зимой виконтесса де Портандюэр, ходившая за немурским кюре во время его болезни. — За гробом шла вся округа. Но Немуру повезло: преемником этого святого человека стал почтенный кюре из Сен-Ланжа[191].

Примечания

Роман входит в «Этюды о нравах» («Сцены провинциальной жизни»). Был предложен Бальзаком Дюранжелю, главному редактору газеты «Мессаже», в июне 1840 г. и опубликован в этой газете 25 августа — 23 сентября 1841 года.

«Урсула Мируэ» была любимым детищем Бальзака; в письме к Ганской от 5 января 1842 г., сравнивая два романа, вошедших в настоящее издание, он писал: «Воспоминания двух юных жен», опубликованные в «Пресс», имеют самый шумный успех, но прекраснейшее творение этого года — «Урсула Мируэ» (ПГ. Т.2. Р.36); встречаются в письмах Бальзака и другие восторженные отзывы о романе: «счастливая сестра «Евгении Гранде» (ПГ. Т.2. Р.110: письмо от 14 октября 1842 г.); «шедевр в изображении нравов» (ПГ. Т.2. Р.77: письмо от 1 мая 1842 г.).

Работа над романом шла в основном в июне — июле 1841 г. (ср. в письме к Ганской от 30 сентября 1841 г. признание, что «Урсула» написана за двадцать дней), однако самая идея романа о наследстве и наследниках восходит к середине 1830-х годов.

Первый набросок романа, где уже присутствует тема ожидания наследства, дано описание сложных родственных связей провинциальных буржуа и даже встречаются появившиеся затем в «Урсуле Мируэ» фамилии Массен, Миноре и Левро, относится к 1835 г. и носит название «Крупный землевладелец» (впоследствии из этого наброска развился другой роман Бальзака — «Крестьяне»). В 1836 г. персонажи «Крупного землевладельца» перешли в другой, также оставшийся незаконченным, набросок «Наследники Буаружа»; в этом романе Бальзак намеревался создать «общую теорию наследования»; упоминая «Наследников Буаружа» в предисловии к первому изданию романа «Музей древностей» (1839), Бальзак говорит о своем желании показать, «как дух современных законов разрушает семью» (Бальзак /15, Т.15. С.493). В «Наследниках Буаружа» появляется впервые имя Урсулы Мируэ.

С темой наследства скрестилась в романе «Урсула Мируэ» другая, не менее важная для Бальзака тема, связанная с его неосуществленным проектом, частичным воплощением которого стала повесть «Луи Ламбер» (1832—1835). Это «Опыт о человеческих силах», где Бальзак намеревался исследовать скрытые возможности человеческой психики, проявляющиеся прежде всего в открытом немецким врачом Ф.-А Месмером «животном магнетизме».

С «чудесами животного магнетизма» Бальзак, как он сам признается в этом же предисловии, «близко соприкасался начиная с 1820 года» (Бальзак /15. Т.1. С.13). В 1830-е гг. он часто посещал магнетизеров и верил, что сам наделен магнетической силой; он писал об этом Ганской (см., например, письмо от 28 апреля 1834) и рассказывал в салонах (см. дневниковую запись австрийского посла в Париже Родольфа Аппонии от 8 мая 1834 г. — Apponyi R. Journal. P., 1913. Т.2. Р.427-431). Бальзак внимательно изучал труды современных ему французских философов-мистиков: Э. Рише, чьими идеями вдохновлена повесть «Серафита» (1834), Ж. Эггера (Oegger) и др.; из них он почерпнул представления,

отразившиеся в «Урсуле Мируэ»: магнетизм восстанавливает изначальную гармонию духа и тела, и благодаря ему человек освобождается от власти времени и пространства; во время сна или же экстатического состояния в нас пробуждается «внутреннее я», «духовное тело», способное общаться с покойниками, и пр. Большое влияние оказали на Бальзака и теории шведского мистика Э. Сведенборга (1688—1772), которого Бальзак мог читать в многочисленных французских переводах конца XVIII — первой четверти XIX в. (назовем такие книги, как «Толкование Апокалипсиса» (Париж, 1823), «Учение о Новом Иерусалиме» (Лондон, 1787), «Чудеса небес и ада» (Берлин, 1782) или переложениях адептов, провозгласивших Сведенборга, в частности, пророком животного магнетизма, открытого уже после его смерти (см. вышедшую в 1788 г. в Стокгольме на французском языке книгу Дайяна де ла Туша «Избранные отрывки из сочинений Эмануэля Сведенборга»).

Первое отдельное издание «Урсулы Мируэ» вышло в 1842 г. у И. Суверена (поступило в продажу в начале мая 1842). Перевод выполнен по изд.: Balzac H. La Comedie humaine. P., 1976. Т.3. (Bibliothèque de la Pleiade), где опубликован последний авторский вариант с учетом позднейшей авторской правки на экземпляре «Человеческой комедии» в издании Фюрна, Дюбоше и Этцеля (т. 5, 1843).

На русский язык «Урсула Мируэ» переведена впервые в изд.: Бальзак О. Урсула Мируэ. Воспоминание двух юных жен. М., 1989 (перевод В. Мильчиной).

1

Софи Сюрвиль (1823—1877) — дочь сестры Бальзака Лоры Бальзак, по мужу Сюрвиль.

2

Немур — Бальзак не раз проезжал через этот город в 1829—1835 гг., направляясь в Ла Булоньер — имение своей возлюбленной госпожи де Берни. Общее описание города весьма точно, хотя для Бальзака главным была его типичность.

3

Поттер Пауль (1625—1654) — голландский художник.

4

Хоббема Мейндерт (1638—1709) — голландский художник.

5

Калибан — получеловек-полузверь, персонаж «Бури» Шекспира (1612).

6

Галль Франц Йозеф (1758—1828) — австрийский врач, создатель френологии — теории, согласно которой по форме черепа можно судить о психических особенностях человека. Бальзак в своих портретных характеристиках часто опирался на положения френологии Галля и физиогномики швейцарского философа И.-К. Лафатера (1741—1801).

7

...согласитесь со Стерном... — Эта любимая мысль Бальзака, которую он неоднократно цитировал (см. романы «Поиски абсолюта», 1834, и «Беатриса», 1839—1844), взята из романа Л. Стерна «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена» (1760—1767; ч. 1, гл. XIX).

8

Первая часть фамилии Миноре-Левро напоминает латинское minor — младший, вторая французское levrette — маленькая собачка-ливретка, либо levron — молодая борзая. (

Примеч. переводчика.)

9

Гатине — часть Парижского бассейна в долине реки Луэн.

10

...мифическую третью лошадь... — По инструкции на трудных участках пути почтмейстеры должны были либо запрягать третью, дополнительную лошадь, либо давать пассажирам двух, но более сильных лошадей. Как правило, они предпочитали этот последний вариант, что давало повод для злоупотреблений и шуток.

11

...толстую складку кожи... над... мозжечком... — Френологи вслед за Галлем помещали центр чувственности в задней части мозга, а сам Бальзак в эссе «Любовь, рассмотренная в профиль, в три четверти, анфас, вверх тормашками и даже задом наперед» (1831) намекал, что способность любить заключена в мозжечке (задней части ствола головного мозга).

12

Дюклерша — дилижанс парижской почтовой конторы Лелюара-Дюклера.

13

Кайярша — дилижанс почтовой конторы Лаффита и Кайяра.

14

Главная контора — контора почтовых дворов, основанная в 1828 г. Армаком Леконтом.

15

Игра слов: по-французски le comte (Леконт) — граф, а la comtesse — графиня. (

Примеч. переводчика.)

16

Все скверные лошади именуются Полиньяками. — Полиньяк Жюль Огюст Арман Мари де (1780—1847) — в 1829 г. премьер-министр Карла X, крайне непопулярный в народе; его реакционная политика привела к падению Бурбонов в июле 1830 г.

17

...XIV веке, когда Немур принадлежал герцогам де Гизам... — На самом деле Немур с 1404 г. принадлежал королю Наварры Карлу III, а прежде входил во французское королевство.

...прославленный литератор... — Луи Габриэль Амбруаз, виконт де Бональд (1754—1840), французский философ и публицист; Бальзак цитирует вторую главу его книги «Разыскания о первых предметах нравственного познания» (1818); та же мысль повторена и в «Философическом изъяснении основ общества» (1827). В своих лингвистических теориях Бональд отстаивал божественное происхождение способности думать и говорить (обе взаимосвязаны, так как мысль — это внутренняя речь).

...горб не снаружи, а внутри. — Горбуны были предметом специальных размышлений Бальзака: «Искривление позвоночника, обезображивая внешность человека, в то же время способствует более быстрому и энергичному развитию нервных флюидов, и они, вырываясь из глубины, где возникли и действуют, озаряют, подобно свету, весь внутренний облик горбунов. В результате этого рождаются силы, которые иногда проявляются в магнетизме, но чаще всего сосредоточиваются в сферах духовного мира. Попробуйте найти горбуна, который не был бы наделен каким-нибудь свойством, доведенным до крайности; если, скажем, он остроумен, то до ядовитости, если злобен, то безмерно, и если добр, то беспредельно. &t...&t; Вот источник многих суеверий, народных преданий, толкующих о гномах, страшных карликах и безобразных феях, обо всех этих, как говорил Рабле, людях-сосудах, содержащих в себе редчайшие эликсиры и бальзамы» (Бальзак /15. Т.1. С.492—493). В романе «Модеста Миньон» (1844), откуда взята эта цитата, действует «антипод» Гупиля — бесконечно добрый горбун Бутша.

...как у жителей Сардинии... — Бальзак в духе «народной этимологии» трактует сардоническую улыбку как улыбку жителей Сардинии, хотя на самом деле выражение это восходит к *herba sardonía* (сардинской траве), запах которой вызывает нервное подергивание губ.

Ариадна (греч. миф.) — дочь Миноса и Пасифаи; герой Тесей увез ее с собой с родного Крита, но затем покинул на острове Наксос.

Лампа Карселя — изобретенная в 1800 г. часовщиком Гийомом Бертраном Карселем масляная лампа.

23

Ошибка в речи (лат.).

24

Д'Эглемоны — История госпожи д'Эглемон и ее детей рассказана в «Тридцатилетней женщине» (1831—1834).

25

Маркиз дю Рувр — герой «Мнимой любовницы», разорившийся ради актрисы Флорины. Над «Мнимой любовницей» Бальзак работал в 1841 г., между выходом журнальной и книжной публикаций «Урсулы Мируэ».

26

Сен-Жерменское предместье — аристократический квартал Парижа, с которым Бальзак часто сравнивал дворянские салоны провинциальных городов (см. романы «Музей древностей», «Беатриса»).

27

...несколько местных родов... властвуют над краем... — В юности Бальзак сам наблюдал подобное явление в Туре; оно описано также в «Пьеретте» (1840) и «Крестьянах». Между прочим, Левро — реальная фамилия, семья Левро владела известной типографией и книжкой лавкой в Страсбурге, а затем в Париже.

28

Отец Ансельм (наст. имя и фам. Пьер де Гибур; 1625—1694) — член ордена «босоногих августинцев», автор «Генеалогической и хронологической истории французских родов», которую после его смерти продолжили собрать по ордену.

29

Готский альманах (1-е изд. — 1764) содержал генеалогию знатнейших семейств Европы.

30

Капетинги — династия французских королей (987—1328), основанная Гуго Капетом.

31

...противостоят своим неимущим родичам. — Эта тема, волновавшая Бальзака, лежит в основе романа «Крестьяне» (1844), в посвящении которого П.-С.-Б. Гаво сказано, что бедняки-крестьяне, «этот противообщественный элемент, созданный революцией, когда-нибудь поглотит буржуазию, как буржуазия в свое время пожрала дворянство» (Бальзак /15. Т.12. С.224).

32

Дюпон де Немур Пьер Самюэль (1739—1817) — французский экономист, философ, филантроп.

33

Морелле Андре (1727—1819) — французский писатель и философ, автор статей о религии в «Энциклопедии» Дидро и Д'Аламбера, известный своим антиклерикализмом.

34

Борде Теофиль де (1722—1776) — сотрудник Энциклопедии; выведен в диалоге Дидро «Сон

Д'Аламбера» (1769).

35

Бальзам Лельевра , или «эликсир долголетия», — реально существовавший препарат из алоэ, крайне популярный среди состоятельных французов в конце XVIII в.; его изобрел и распространял аптекарь Клод Лельевр.

36

Руэль Гийом Франсуа (1703—1770) — французский химик, член Академии наук.

37

«Юлия, или Новая Элоиза» (1761) — роман Ж.-Ж. Руссо.

38

...рассуждение на тему... — Такой конкурс в самом деле проводился в 1784 г., и Робеспьер получил за свое сочинение золотую медаль.

39

Госпожа Ролан — Ролан де ла Платьер (урожд. Флипон) Манон (1754—1793), жена жирондиста Ж.-М. Ролана де ла Платьера, хозяйка политического салона; казнена 9 ноября 1793 года.

40

О месмеризме — Месмер Франц Антон (1733—1815) — немецкий врач, с 1778 г. практиковавший в Париже; он утверждал, что всем живым существам присущ магнетический флюид и что его можно использовать для лечения разных болезней. Сеансы проходили вокруг большого деревянного чана; внутри него находились бутылки с водой, а в крышку были воткнуты металлические прутья, которые пациенты, соединенные веревкой-«проводником», прикладывали к больным местам.

41

...свидетелем обращения Лагарпа... — Лагарп Жан Франсуа де (1739—1803), французский критик и литератор, известный своим вольнодумством, в 1794 г. во время террора попал в тюрьму и под влиянием пережитого обратился в христианство.

42

Лебрен-Пиндар — Экушар-Лебрен Понс Дени (1729—1807), французский поэт, получивший за свои оды прозвище «Пиндар».

43

Шенье Мари Жозеф (1764—1811) — французский поэт и драматург, во время Революции член Конвента.

44

...похоронил <...> Морелле... — Морелле Андре (1727—1819) — французский писатель и философ, автор статей о религии в «Энциклопедии» Дидро и Д'Аламбера, известный своим антиклерикализмом. В 1813 г. был еще жив.

45

Гельвеций (урожд. де Линьивиль д'Отрикур) Анна Катрин (1719—1800) — жена философа-энциклопедиста Клода Адриена Гельвеция (1715—1771); после смерти мужа в ее доме в Отее собирались, как и прежде, философы-материалисты.

46

Жоффруа Жан Луи (1742—1814) — французский критик, издававший вслед за ярым противником Вольтера Эли Фрероном (1718—1776) журнал «Анне литерер» («Литературный год»), полный нападок на философию XVIII в. и, в частности, на Вольтера.

47

Монте-Легино — вымышленное название (возможно, искаженное Монтенотте, где 12 апреля 1796 г. французская армия разбила австрийскую, либо Монтебелло — другое итальянское местечко, где французы разбили австрийцев 9 июня 1800).

48

Эмигранты — Миноре-Левро хочет сказать, что дворяне Портандюэры покинули Францию во время Революции 1789—1794 гг. и вернулись либо при Наполеоне, либо в эпоху Реставрации.

49

...поблизости решалась судьба Наполеона. — В январе — марте 1814 г. бои наполеоновской армии с войсками России, Австрии, Пруссии и Швеции шли уже на территории Франции, в том числе и вблизи Немура.

50

Бри — плоскогорье на востоке Парижского бассейна, между реками Сена и Марна.

51

Институт — совокупность пяти академий (осн. 1795).

52

Ларрей Доминик Жан, барон (1766—1842) — главный хирург наполеоновской армии (Бальзак сказал о нем в письме скульптору Давиду д'Анже от 6 апреля 1844 г.: «благороднейший характер, прекраснейшая душа и совершеннейшая добродетель». — Переписка. Т.4. Р.686).

53

Орден Святого Михаила , созданный в 1469 г. и упраздненный в 1789 г., в начале Революции, был возрожден Людовиком XVIII в ноябре 1816 г.; следовательно, в 1815 г. доктор Миноре еще не мог быть кавалером этого ордена. Крест Святого Михаила получали лица, прославившиеся в науке, искусстве и словесности.

54

Фонтан Луи де (1757—1821) — французский литератор, в молодости близкий к энциклопедистам, при Наполеоне ректор Университета.

55

...человеку с черной перевязью... — Черную перевязь носили кавалеры ордена Святого Михаила.

56

...местным Фенелоном. — Франсуа де Салиньяк де ла Мот Фенелон (1651—1715), епископ в Камбре, был известен добротой и кротостью нрава.

57

...после восстановления католического культа во Франции — то есть после 1801 г., когда был заключен конкордат (договор) между Бонапартом и папой римским Пием VII.

58

...две тысячи ливров... — Ливр — название старинной денежной единицы, которое в бытовом языке XIX в., когда речь шла о доходах, употребляли вместо слова «франк».

59

...за отказ от присяги... — 2 ноября 1789 г. Учредительное собрание приняло решение о конфискации церковных имуществ; они были пущены в продажу, а священникам государство обязалось выплачивать жалованье; им было предписано принести присягу в верности нации,

закону и королю, однако папа римский осудил новое устройство и запретил приносить присягу, после чего французское духовенство распалось на «присягнувших» и «неприсягнувших»; последние подвергались гонениям.

60

«В руки Твои предаю»... — От Луки, 23, 46.

61

...такие... волосы были у короля-солдата Карла XII. — Карл XII (1682—1712) — шведский король с 1697 г.; его портрет Бальзак мальчиком видел в «Истории Карла XII» Вольтера, которую получил в Вандомском коллеже за лучший перевод с латинского.

62

«Христианин сам того не зная» — перефразированное название комедии М.-Ж. Седена «Философ сам того не зная» (1765).

63

Сложен он был, как граф д'Артуа... — Граф д'Артуа (1757—1836), младший брат Людовика XVI и Людовика XVIII, в 1824—1830 гг. французский король под именем Карла X, в молодости славился успехом у дам и галантными похождениями.

64

Дервиль — сквозной персонаж «Человеческой комедии» (действует в четырнадцати произведениях).

65

Буживаль — город в окрестностях Парижа.

...платя... всего сто франков налога... — По избирательному закону от 29 июня 1820 г. избиратели должны были платить не меньше трехсот франков налога, а кандидаты в депутаты — не меньше тысячи.

Мелье Жан (1677—1733) — французский священник, в бумагах которого после смерти нашли так называемое «Завещание» атеистического характера, которое активно пропагандировали Вольтер и Гольбах.

Фуа Максимильен Себастьян (1775—1825) — французский полководец, при Реставрации член Палаты депутатов, либерал; его речи были изданы в 1826 году.

...до 1822 года... вкладывал их в государственную ренту... — В 1822 г. министр финансов Виллель впервые предложил парламенту проект конверсии государственной ренты с целью понижения заемного процента, однако принят он был лишь в 1825 году.

...идет по сто шестнадцать франков. — То есть в данный момент казна платила по сто шестнадцать франков за каждые помещенные в нее сто франков капитала. Курс этот постоянно менялся, причем Бальзак, фиксируя эти изменения, очень точен (см.: Duberne B. // *Année balzacienne*. 1963. P., 1963. P.251—268).

Барбе-Марбуа Франсуа, маркиз де (1745—1837) — французский литератор и государственный деятель во времена Империи, Реставрации и Июльской монархии.

72

Буасси д'Англа Франсуа Антуан, граф де (1756—1826) — французский государственный деятель и литератор, президент термидорианского Конвента, сенатор со времени Империи, пэр Франции в эпоху Реставрации.

73

Фридрих Великий (1712—1786) — прусский король с 1740 года.

74

Флорина — актриса и куртизанка, действует в восемнадцати произведениях «Человеческой комедии»; ее связь с литератором Натаном, за которого она в конце концов вышла замуж, описана в «Дочери Евы» (1839). В журнальном варианте «Урсулы Мируэ» Дезире был влюблен в Эстер Гобсек, однако, согласно роману «Блеск и нищета куртизанок» (1838—1847), Эстер в это время жила в полном уединении, принимая только Люсьена де Рюбампре, поэтому, готовя «Урсулу» для переиздания в собрании сочинений Фюрна, Бальзак исправил Эстер на Флорину, однако кое-где по недосмотру остались следы прежнего варианта.

75

«Кенилворт» (1821) — роман В. Скотта. Варней, доверенное лицо фаворита королевы Елизаветы графа Лейчестера, злодейски умерщвляет его юную супругу Эми Робсар.

76

Эрар Себастьян (1752—1831) — знаменитый французский мастер музыкальных инструментов.

77

Гримм Фредерик Мельхиор, барон (1723—1807) — французский литератор из круга энциклопедистов.

78

Гофман Эрнст Теодор Амадей (1776—1822) — немецкий писатель, композитор и рисовальщик, не только и не столько описывавший, сколько сам ведущий жизнь богемы. В конце 1820 — начале 1830-х гг. его произведения широко переводились во Франции.

79

Благодаря столь мудрому воспитанию... — В молодые годы Бальзак ратовал за максимальную свободу девичьего воспитания (эти взгляды нашли наиболее полное выражение в «Физиологии брака», 1829); напротив, в начале 1840-х гг. писатель прославляет по преимуществу абсолютную чистоту и невинность девушки, ее полную покорность воспитателям, а затем мужу. Воспитание Урсулы, с точки зрения позднего Бальзака, образцовое; здесь все делается во имя общества, среды. Идеал воспитания свободного, но совершающегося под постоянным материнским надзором, исповедует также Рене де л'Эсторад в «Воспоминаниях двух юных жен».

80

Вольмар — муж главной героини романа Руссо «Юлия, или Новая Элоиза», атеист, который, однако, уважает религиозные убеждения жены.

81

Одно из френологических предсказаний... — Френология — теория, согласно которой по форме черепа можно судить о психических особенностях человека. Создана австрийским врачом Галлем Францем Йозефом (1758—1828).

82

Шмуке — один из сквозных персонажей «Человеческой комедии», особенно подробно изображенный в «Дочери Евы» и «Кузене Понсе» (1847).

83

...гимна на рождение святого Иоанна Крестителя. — Гимн «Ut queant laxis...» («Чтобы на легких струнах...» —

лат.) вошел в сборник церковных песнопений, составленный лангобардским историком Павлом Диаконом (IX в.); наименование нот по первым слогам первых строк этого гимна приписывают итальянскому бенедиктинцу Гвидо из Ареццо (ок. 992—1050).

84

...некоторые перемены в поведении Урсулы... — Бальзак, проявляя исключительную для своей эпохи смелость, не раз подчеркивал этот момент в жизни своих юных героинь (см. романы «Лилия долины», 1836, и «Пьеретта»).

85

Месмер Франц Антон (1733—1815) — немецкий врач, с 1778 г. практиковавший в Париже; он утверждал, что всем живым существам присущ магнетический флюид и что его можно использовать для лечения разных болезней. Сеансы проходили вокруг большого деревянного чана; внутри него находились бутылки с водой, а в крышку были воткнуты металлические прутья, которые пациенты, соединенные веревкой-«проводником», прикладывали к больным местам.

86

...чем Глюк в искусстве. — Немецкий композитор Кристоф Виллибальд Глюк (1714—1787) произвел революцию в оперном искусстве операми «Ифигения в Авлиде» (1773) и «Орфей» (1774); поклонникам Глюка и его стиля, отличавшегося простотой и естественностью, противостояли поклонники итальянского композитора Никколо Пиччинни (1728—1800), к которым принадлежало большинство парижан (в том числе энциклопедисты).

87

Ганнеман Самуэль (1755—1843) — немецкий врач, изобретатель гомеопатии, в 1835 г. женился вторым браком на француженке и поселился в Париже, где его методы стали очень популярны.

88

Меттерних Клеменс, князь (1773—1859) — австрийский государственный деятель, канцлер Австрии в 1821—1848 гг.

89

...медицинский факультет постановил... — Имеется в виду отчет комиссаров медицинского факультета Университета и Академии наук о животном магнетизме, составленный астрономом Байи в 1784 г. и осуждавший выводы Месмера как игру воображения (эту позицию медицинский факультет занимал вплоть до 1830-х гг.).

90

...выказав необузданное корыстолюбие. — Людовик XVI предложил Месмеру ренту и жалованье, но изобретатель магнетизма не удовлетворился предлагаемой суммой и организовал сбор денег по подписке.

91

Локк Джон (1632—1704) — английский философ-сенсуалист.

92

Кондильяк Этьенн Бонно де (1715—1780) — французский философ-сенсуалист.

93

Дьякон Парис Франсуа де (1690—1727) — французский янсенист, славившийся своей праведностью; на его могиле экзальтированных верующих из янсенистских кругов охватывали истерические конвульсии, оканчивавшиеся, по преданию, исцелением больных.

94

Карре де Монжерон Луи Базиль (1686—1754) — советник парламента, описавший исцеления на могиле дьякона Париса в книге 1737 г., за которую был заключен в Бастилию, где пробыл до конца жизни.

«Легче вообразить... «Энеиду» — Неточная цитата из Д. Дидро (Философские мысли, XXI).

Жоффруа Сент-Илер Этьен (1772—1844) — французский естествоиспытатель, кумир Бальзака; ср. в написанном через год после «Урсулы Мируэ» «Предисловии к «Человеческой комедии»: «Есть только одно живое существо. Создатель пользовался одним и тем же образцом для всех живых существ. Живое существо — это основа, получающая свою внешнюю форму или, говоря точнее, отличительные признаки этой формы, в той среде, где ей назначено развиваться. Животные виды определяются этими различиями. Провозглашение и обоснование этой системы, согласной, впрочем, с нашими представлениями о божьем могуществе, будет вечной заслугой Жоффруа Сент-Илера, одержавшего в этом вопросе высшей науки победу над Кювье, — победу, которую приветствовал великий Гете в последней написанной им статье» (Бальзак /15. Т.1. С.2). «Унитарное» видение мира, присущее Жоффруа Сент-Илеру, в высшей степени характерно для Бальзака.

Пюисегюр Арман Мари Жак Шастене, маркиз де (1751—1825) — ученик Месмера, полковник кавалерии, который предпочел военной карьере изучение сомнамбулизма.

Делез Жозеф Филипп Франсуа (1753—1835) — друг Пюисегюра, естествоиспытатель и филантроп, автор «Критической истории животного магнетизма» (1813), из которой Бальзак почерпнул много фактов; создавая образ доктора Миноре, Бальзак использовал некоторые детали биографии Делеза: и Делез, и Миноре пришли к христианству через магнетизм; оба в преклонном возрасте взяли на воспитание дальнюю родственницу — девочку-сироту.

...терпимость на вольтерьянский лад. — В предреволюционную пору в общественном мнении главенствовали не религиозные люди, но безбожники-вольтерьянцы; они относились к своим противникам-верующим с большой язвительностью, которую Бальзак иронически именует терпимостью на вольтерьянский лад.

100

Бувар — этот гонимый медицинским факультетом последователь Месмера, выведенный Бальзаком также в «Блеске и нищете куртизанок», носит фамилию реального лица, известного врача Мишеля Филиппа Бувара (1717—1787), противника Борде; впрочем, их споры не имели отношения к магнетизму.

101

Делон Шарль Никола (1750—1786) — французский врач, глава медицинского факультета, который едва не был изгнан оттуда за приверженность идеям Месмера, однако вскоре сам в них разочаровался.

102

Фермер Мартен Тома Иньяс (1783—1834) — 2 апреля 1816 г. был принят королем Людовиком XVIII, которому он сообщил, что ангелы велели ему, Мартену, предупредить короля: наследник престола Людовик XVII не умер в 1795 г., как принято считать; он жив, и потому Людовику XVIII не следует короноваться. После этого Мартен был заключен в лечебницу для умалишенных.

103

...удивительные прозрения... карточных гаданий... — Бальзак имеет в виду знаменитого прорицателя Балтазара, которого посещал в 1841 г. как раз во время работы над «Урсулой Мируэ» (письмо к Ганской от 15 июля 1841).

104

Четыре факультета — во французских университетах в XVIII в. было четыре факультета: богословский, правоведческий, медицинский и философский.

105

Комус (?—1820) — прозвище французского фокусника, специализировавшегося на трюках из области занимательной физики.

106

Конт Луи Кристиан Эмманюэль Аполлинер (1788—1859) — французский чревовещатель и фокусник.

107

Боско Бартоломео (1793—1862) — французский фокусник итальянского происхождения.

108

...необыкновенный человек... — Прототип этого персонажа — Луи Шамбеллан (1779—1852), с которым Бальзак был лично знаком (26 или 27 августа 1832 г. он писал матери о «Луи Ламбере»: «Это затмит господина Шамбеллана, а с ним и всех прочих поклонников Сведенборга» — Переписка. Т.2. Р.100). Бальзак точно воспроизводит детали его биографии и облика.

109

Каморочница — смысл этого слова разъяснен в «Истории тринадцати»: «Такое весьма знаменательное название парижане дали домам, составленным из построек, первоначально ничем не связанных между собой. <...> Каморочницы среди парижской архитектуры — то же, что содом в закоулке какой-нибудь квартиры, настоящий хаос, где нагроможден в беспорядке самый разнообразный хлам» (Бальзак /15. Т.7. С.88).

110

...с человека, покрытого лишаями, ручьями льется пот... — Бальзак мог прочесть в книге Ж.-Л. Алибера «Монография о болезнях кожи» (1832), что при лишаях нормальное дыхание кожи и выделение пота нарушается, восстановить же его может сильное потрясение; аналогичный случай описан в «Кузене Понсе»: у стряпчего Фрезье от волнения проступил на спине легкий пот — «а до сих пор никакое самое сильное потогонное не могло вызвать у Фрезье испарину, так как от ужасных болезней кожа его огрубела и все поры закупорились» (Бальзак /15. Т.10. С.627).

111

...смирись, гордый сикамбр! — Слова, сказанные епископом Реймским Святым Реми около 500 г. франкскому королю Хлодвигу I, которого он обратил в христианство (сикамбры — название германского племени, смешавшегося с франками).

112

Спиноза Барух (1632—1677) — голландский философ, различавший бесконечную мировую субстанцию и конечные ее модусы, каковыми являются умы и тела.

113

...Паскаля... Сен-Мартена... — перечислены религиозные философы, от отцов церкви (Блаженный Августин, 354—430) и ортодоксальных католиков (Жак Бенинь Боссюэ, 1627—1704) до янсенистов (Блез Паскаль, 1623—1662) и мистиков (Сведенборг и Луи Клод де Сен-Мартен, 1743—1803).

114

Кардано Джироламо (1501—1576) — итальянский философ, математик и врач, веривший предсказаниям астрологов и считавший себя ясновидцем.

115

...перечел Плотина. — Ср. в «Луи Ламбере»: «...Плотин, который почувствовал, что Порфирий <его друг и ученик> собирается убить себя, и прибежал к нему, чтобы его отговорить» (Бальзак /24. Т.19. С.255). Плотин (ок. 205—270) — греческий философ-неоплатоник.

116

Лигуори Альфонс Мария де (1696—1787) — неаполитанский богослов и проповедник; приведенный эпизод, на который Бальзак ссылается также в «Луи Ламбере», изложен в жизнеописании Лигуори, вышедшем в Париже в 1828 году.

117

Папа Климент XIV (Джованни Винченцо Ганганелли) — умер в 1774 году.

118

«Неера» — идиллия Андре Шенье (1762—1794), которую Бальзак очень любил (она упомянута также в «Утраченных иллюзиях», 1837—1843). Стихи Шенье, казненного во время Террора, впервые издал в 1819 г. старший друг и литературный наставник Бальзака А. де Латуш.

119

Гряди, создатель (лат.).

120

Вебер Карл Мария фон (1786—1826) — немецкий композитор-романтик.

121

...из орехового дерева... изразцовой печи... барометру. — Те же самые приметы интерьера приведены как проявление провинциального дурного вкуса в романе «Пьеретта».

122

Фидеикомисс — неформальное поручение наследователя наследнику о выдаче третьему лицу определенного имущества из наследства. Гражданский кодекс запрещал такие передачи, и они совершались тайно.

123

...с прекрасной Эстер... — Следует читать: «с прекрасной Флориной».

124

...консолидированная пятипроцентная рента... — Во время революции из-за инфляции, связанной с излишком бумажных ассигнаций, обращенных в ренту, произошло банкротство государственной казны; поэтому в 1797 г. было объявлено, что две трети вкладов казна может вернуть вкладчикам (хотя на самом деле такой возможности она не имела), а третья часть, оставшаяся в казне, составила так называемую трехпроцентную консолидированную (то есть гарантированную) ренту; в дальнейшем, в 1802 г. Бонапарт, чтобы загладить банкротство двух третей ренты, превратил консолидированную трехпроцентную ренту в пятипроцентную.

125

Жосс — реминисценция из Мольера («Любовь-лекарь», д. I, явл. 1), где ювелир уговаривает всех покупать драгоценности, на что ему отвечают: «Вы ювелир, господин Жосс».

126

Дерош — клерк в конторе Дервиля, затем стряпчий (действует в шестнадцати произведениях «Человеческой комедии»).

127

По-латыни ursus — медведь. (

Примеч. переводчика.)

128

...смешивая три сорта... — По воспоминаниям Л. Гозлана, так варил кофе сам Бальзак.

129

...брак — вечную основу общества. — Подробное раскрытие этого тезиса, унаследованного Бальзаком от Бональда, см. в «Воспоминаниях двух юных жен».

130

В последний момент, перед самой кончиной (лат.).

131

Сюффрен... Симез — Бальзак смешивает вымышленные имена с подлинными: если адмирал де Кергаруэт и вице-адмирал Симез существовали только в мире «Человеческой комедии» (см. «Загородный бал», 1830, «Темное дело», 1841, и др.), то Пьер Андре де Сюффрен де Сен-Тропез (1726—1788) и Люк Юрбен дю Буэксик, граф де Гишен (1712—1790) — реально существовавшие знаменитые мореплаватели; первый из них прославился в 1780-е гг. в Индии, второй — в период войны за независимость в Америке.

132

Закон Виллеля — названный по имени французского премьер-министра, при котором он был принят, закон от 27 апреля 1825 г. о возмещении (частичном) аристократам, эмигрировавшим из Франции во время революции и вернувшимся на родину в эпоху Реставрации, стоимости того недвижимого имущества, которое не могло быть им возвращено.

133

Вице-адмирал де Кергаруэт... женился на... племяннице... — См. «Загородный бал».

134

... приличную партию — девицу д'Эглемон... — Один из тех случаев, когда хронология одного романа «Человеческой комедии» противоречит другому: согласно «Тридцатилетней женщине» — роману, посвященному судьбе семейства д'Эглемон, Элен д'Эглемон в 1829 г. было всего двенадцать лет. Исчезновение Элен, ставшей женой корсара, описано в пятом эпизоде «Тридцатилетней женщины» («Две встречи»).

135

Растиньяк, Люсьен де Рюбампре, Максим де Трай, Эмиль Блонде — светские щеголя, сквозные персонажи «Человеческой комедии».

136

Фино — история его восхождения как публициста, а затем издателя журнала описана в «Истории величия и падения Цезаря Бирото» (1837), а затем в «Утраченных иллюзиях» (1837—1843); он действует в тринадцати произведениях «Человеческой комедии».

137

...строкой Лафонтена... — Неточная цитата из поэмы «Филемон и Бавкида» (1685).

138

...объявился граф д'Эгриньон... — История его неудавшейся попытки «завоевать» Париж и возвращения в родной Алансон рассказана в романе «Музей древностей».

139

...ему отмерен срок был фейерверка. — Реминисценция из прославленного стихотворения Ф. де Малерба «Утешение господина Дюперье» (1598—1599).

140

...по стране Нежности! — Реминисценция из галантно-героического романа Мадлен де Скюдери «Клелия» (1654—1660).

141

Де Люпо — крупный делец и политический шантажист, действует в тринадцати произведениях «Человеческой комедии».

142

...дожидаящиеся смерти старого мужа... — Эмилия де Кергаруэт вторично вышла замуж за Шарля де Ванденеса в 1836 г. («Дочь Евы»).

143

«Каштаны из огня» — драматическая поэма Альфреда де Мюссе, вошедшая в его сборник «Испанские и итальянские повести» (вышел в свет в конце декабря 1829).

144

...в его прекрасных черных глазах... — непоследовательность Бальзака: несколькими страницами выше де Марсе называл глаза Савиньена голубыми.

145

Ломбардцы — традиционное (со времен средневековья) название ростовщиков, объясняющееся тем, что ростовщичеством некогда занимались в основном выходцы из Ломбардии.

146

...забудьте на время, что вы урожденная Кергаруэт. — Черты бретонского характера, воплощенные в образе госпожи де Портандюэр, отмечал не только Бальзак; Мишле в «Истории Франции» писал: «Гений Бретани — это гений неукротимого, бесстрашного сопротивления», а Ренан замечал: «Все бретонцы... имеют одну общую черту: особенное нерасположение к современности. Это чувство зависит от могучего инстинкта, присущего их расе, который внушает им отвращение ко всему, что расходится со старинной доблестью — а о ней наш век заботится мало» (цит. по: Котляревский С. А. Ламенне и новейший католицизм. М., 1904, с. 48).

147

Словно цветок (
лат.). (Катулл, 62).

148

Мальзерб Кретьен Гийом де Ламуаньон де (1721—1794) — французский государственный деятель либеральных убеждений.

149

Бюффон Жорж Луи Леклерк, граф де (1707—1788) — французский естествоиспытатель.

150

Сен-Рош (Сан-Роке) — городок неподалеку от побережья Гибралтарского пролива, где испанцы, выступавшие в союзе с французами против англичан, обосновались лагерем и предприняли осаду Гибралтара (1782—1783 гг.), которая, однако, не увенчалась успехом.

151

«Бель-Пуль» — французский военный корабль, в июне 1778 г. обративший в бегство английский фрегат «Аретуза».

152

...распря между журналистами и двором... — Имеется в виду критика действий реакционного правительства Полиньяка в либеральных газетах, приведшая в конечном счете к Июльской революции 1830 года.

153

...бывшего монастыря, превращенного в тюрьму. — Сент-Пелажи, основанная в 1662 г. как

монастырь для «раскаявшихся блудниц», в 1790 г. была превращена в тюрьму (ныне разрушена).

154

...люди благородного происхождения перевелись... — Та же мысль разъясняется в «Музее древностей»: «Дворянства больше нет, существует лишь аристократия. Наполеоновский кодекс убил дворянские привилегии, как пушка убила феодализм. Имея деньги, вы станете гораздо знатней, чем прежде» (Бальзак /15. Т.4. С.365). Размышления Бальзака о судьбах дворянства восходят к статьям Бональда «Об аристократии» и «О дворянстве», напечатанным в октябре 1832 г. в легитимистской газете «Реноватер». В обеднении дворянства и уходе его с политической арены роялисты видели подрыв государственного устройства, поскольку опорой государства они считали принцип наследственности.

155

...Рода более не существует... — О семье как главной составляющей общества (идея, восходящая к Бональду) и ее разрушении см. подробнее в «Воспоминаниях двух юных жен».

156

Людовик XIV едва не женился на племяннице выскочки Мазарини. — Речь идет о влюбленности французского короля в Марию Манчини (1640 — ок. 1706—1715), племянницу кардинала Джулио Мазарини (1602—1661), французского государственного деятеля итальянского происхождения, чьи родители состояли в услужении у князей Колонна.

157

Вдова Скаррона — Франсуаза д'Обинье (1635—1719), внучка поэта Агриппы д'Обинье, жена бурлескного поэта Поля Скаррона (1610—1660), а затем, под именем маркизы де Ментенон, морганатическая супруга Людовика XIV.

158

Орден Святого Лазаря — был основан в 1120 г. в Иерусалиме крестоносцами. Сведениями о его слиянии с орденом Святого Михаила мы не располагаем. В Савойе существовал с 1572 г. орден Святых Маврикия и Лазаря, результат слияния ордена Святого Лазаря с орденом Святого Маврикия (осн. 1434).

159

...опасность, грозящую Карлу X в связи с назначением Полиньяка главой правительства. — Полиньяк Жюль Огюст Арман Мари де (1780—1847) — в 1829 г. премьер-министр Карла X, крайне непопулярный в народе; его реакционная политика привела к падению Бурбонов в июле 1830 г. Официально Полиньяк был назначен премьер-министром 17 ноября 1829 г., но король поручил ему вести дела уже 27 июля.

160

Герольд Фердинанд (1791—1833) — французский композитор (его фортепианные пьесы разучивала в детстве сестра Бальзака Лора).

161

...их недаром обложили налогом. — Налог на окна существовал во Франции до 1925 года.

162

...с алжирцами, против которых мы начали войну... — Франция вела войну с Алжиром с июня 1827 г.; предлогом послужил удар веером, который алжирский дей Хуссейн нанес французскому консулу. Французская эскадра отплыла к берегам Алжира 25 мая 1830 г. и прибыла туда 14 июня того же года.

163

Купер Фенимор (1789—1851) — был автором морских романов «Лоцман» (1823), «Красный корсар» (1828) и др.; Бальзак высоко ценил творчество этого американского писателя (см. «Письма о литературе, театре и искусстве», 1840).

164

...адмиралу, командующему эскадрой... — Походом против Алжира командовали маршал Луи Огюст Виктор де Бурмон (1773—1846) и адмирал Виктор Ги Дюперре (1775—1846).

165

...оказанном королем знаменитой Палате 1830 года... — 15 марта 1830 г. палата депутатов, большинство которой было недовольно действиями правительства Полиньяка, выразила ему недоверие, вследствие чего король эту палату распустил. Выборы в новую палату проходили в июне-июле 1830 г. и снова принесли большинство мест либералам, что повлекло за собой ордонансы (указы) Карла X, согласно которым и эту палату следовало распустить, а на ее место избрать другую, на новых, более жестких основаниях. В ответ разразилась Июльская революция; Карл X отрекся от престола в пользу своего малолетнего внука графа де Шамбора и 3 августа покинул Рамбуйе, а 16 августа отплыл из Шербура, навсегда оставив Францию.

166

...в штурме Алжира... — Алжир был взят 5 июля 1830 года.

167

...как говорил дон Базиль... — Реминисценция из «Севильского цирюльника» Бомарше (д. IV, явл. 1).

168

...маркизе д'Эглемон... для своего старшего сына. — Снова хронологическая неувязка: согласно «Тридцатилетней женщине», Гюстав д'Эглемон родился в 1820 г. и в описываемое время был еще слишком мал для женитьбы.

169

Хименес де Сиснерос Франсиско (1436—1517) — испанский кардинал-францисканец, главный инквизитор Толедо. Упомянутый случай произошел не с ним, а с другим кардиналом, французским государственным деятелем Дж. Мазарини: когда он был при смерти, челядь начала грабить дом; примеру слуг последовала обезьянка кардинала, и ужимки ее так насмешили умирающего, что нарыв у него в горле лопнул, и он поправился.

170

...крышку Булева буфета... — Буль Андре Шарль (1642—1732) — знаменитый французский краснодеревщик; Бальзак очень любил мебель его работы.

171

...Эстер умерла. — Следует читать: «Флорина», хотя по хронологии «Человеческой комедии» Флорина в этот момент была еще жива, а умерла (покончила с собой в 1830) именно Эстер.

172

Мадемуазель дю Рувр — Клементина, героиня повести «Мнимая любовница» (1841), где описан ее брак с графом Адамом Лагинским.

173

...как сказал Лафонтен. — Неточная цитата из басни «Влюбленный лев» (Басни, IV, 1).

174

...сын госпожи де Серизи... погиб в Алжире... — См. «Первые шаги в жизни» (1842).

175

Жан-Поль (наст. имя и фам. Жан Поль Рихтер, 1785—1849) — немецкий писатель; его фрагмент «Сон» был переведен на французский в книге Ж. де Сталь «О Германии» (ч. II, гл. 28).

176

Жозеф Бридо — первоначально здесь стояло имя не этого вымышленного художника, персонажа пятнадцатого произведения «Человеческой комедии», а Эжена Делакура (1798—1863) — французского живописца, автора серии литографий к «Фаусту» Гете (1828).

...букет... составленный так, чтобы выразить все его мысли. — Ср. в «Лилии долины»: «Никакое признание, никакое доказательство безумной любви не имело бы такой власти над ней, как эти симфонии цветов: ведь я вкладывал в них свои обманутые желания с необузданной страстностью Бетховена. <...> Этот восхитительный язык цветов было так же легко понять, как и проникнуть в дух поэзии Саади, прочтя отрывок его поэмы. <...> Поставьте это благоуханное признание на окно, чтобы еще ярче выступили его оттенки, контрасты и арабески, и когда ваша владычица заметит в букете пышно распустившийся цветок, в венчике которого блестит слезинка росы, она поддастся влечению своего сердца...» (Бальзак /24, Т.8. С.100—102).

Эю — старинная монета, равная трем ливрам; в XIX веке этим словом иногда обозначали сумму, равную трем франкам.

...Макиавелли с улицы Буржуа... — Имеется в виду репутация итальянского писателя и историка Никколо Макиавелли (1469—1527) как проповедника «макиавеллизма» — политики, пренебрегающей нормами морали и не гнушающейся никакими средствами для достижения цели.

Кларисса Гарлоу — героиня одноименного романа английского писателя Сэмюэла Ричардсона (1747—1748); Бальзак читал его в юности в переводе А. Прево, а затем неоднократно возвращался к нему, размышляя об искусстве романа. Кларисса — добродетельная девица, которую родители принуждают к браку с нелюбимым, поддается на уговоры соблазнителя Ловласа и соглашается бежать с ним из отчего дома.

Монморанси Анри, герцог де (1595—1632) — маршал Франции, казненный за подготовку восстания против кардинала Ришелье в провинции Лангедок; Бальзак цитирует второе издание его жизнеописания, сочиненного Симоном Дюкро (1665).

182

Прива — город в департаменте Ардеш на юго-востоке Франции; здесь в 1629 г. произошло восстание протестантов, подавленное королевской армией по приказу Ришелье; осада Прива длилась десять дней.

183

Во-первых (
лат.).

184

Во-вторых (
лат.).

185

В-третьих (
лат.).

186

Также (
лат.).

187

Бланш Эспри (1796—1852) — французский психиатр, владелец известной лечебницы для душевнобольных.

188

Графиня де л'Эсторад — Рене, одна из двух героинь «Воспоминаний двух юных жен»; ее дружба с Урсолой описана в неоконченном наброске романа «Прегрешения королевского прокурора» (1847), который должен был войти в «Сцены провинциальной жизни» как своего рода продолжение «Урсулы Мируэ».

189

Бонгран... сын его... — Вначале Бальзак в финале сделал сына Бонграна прокурором и женил на дочери бывшего немурского мэра, но затем, когда у него возник замысел «Прегрешений королевского прокурора», где Бонгран-младший должен был стать главным героем, уготовил ему другую партию, что и нашло отражение в последней правке текста «Урсулы Мируэ».

190

«Кремьериана» — сборник, названный по образцу многочисленных сборников остроумных или — реже — абсурдных высказываний того или иного лица, выходивших в XVII — начале XIX в.

191

Кюре из Сен-Ланжа — был прежде выведен Бальзаком во втором эпизоде «Тридцатилетней женщины».